

Леонид  
ГИРШОВИЧ

«Вий», вокальный цикл

# «Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя

ЛЕОНИД  
ГИРШОВИЧ



ТЕКСТ

tekt  
tekt



ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ  
«ВИЙ»,  
ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  
ШУБЕРТА  
НА СЛОВА ГОГОЛЯ

*Роман*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2005

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44  
Г51

*Художник А.П.Иващенко*

ISBN 5-7516-0446-6  
© Леонид Гиршович, 2005  
© «Текст», 2005

*Сусанночке, в ее нелегкий год*



*Капакабана, Бразилия, 1923 год. Утренний пляж полон купальщиков. Зина Стезин только что вышла из кабины и опустилась в шезлонг. Ее лицо выражает блаженство, глаза закрыты... И вдруг ее тело охватывают языки пламени. В считанные минуты на глазах у всех она сгорает, как спичка.*

*1911 год. Сорокапятiletний учитель Мори шел по одной из центральных улиц Иокагамы, когда внезапно ощутил страшную боль в плече. Рукав его хаори начал дымиться, сквозь ткань пробивался огонь. По чистой случайности рядом оказались рабочие с полными ведрами песка. Полуживой, Мори был доставлен в больницу: рука обуглилась, шее и грудь покрывали страшные ожоги. На всю жизнь он остался калекой.*

*Точно так же погибла мать знаменитого русского актера В. Давыдова. Стоя на балконе своего дома, она переговаривалась с соседкой, как вдруг с ног до головы ее обжало пламя. Это было в Аккермане, близ Одессы, в 1881 году. Та же судьба постигнет и жену одного фармацевта в соседнем с Аккерманом Овидиополе — фамилия фармацевта была Козодой.*

*Ковентри, 1938 год, выпускной бал в летном училище. Восемнадцатилетняя Иезавель Митчелл превратилась в горстку пепла, вальсируя с курсантом Джоном Рэхером, своим женихом.*

*Ученые бессильны перед этой тайной. Они не знают ни какие химические процессы приводят к самовозгоранию людей, ни как с этим бороться.*



С чего начинается Киев — с колоколов ли, когда ровно и полно льется на город со звонницы Успенского собора «Коль славен»? С весеннего ли ветерка, что разносит запахи, до которых так падок бываешь в зрелости, особенно на чужбине: чуете, паны добродии, это ж акации с нашего бульвара... а это... ну, прямо «Шато де флер», кондитерская, та, что на углу Левашовской и Шуваловского переулка.

Или Киев начинался с краеведческих восторгов, с «задирания» Подола до самой Владимирской горки? О, надо быть киевлянином, чтобы... (Впрочем, не надо быть киевлянином, чтобы...)

А может, все начинается со слов:

— Ба-аб, купишь мне червоного пивника на струке?

— Купиш уехал в Париж. Идем, идем, Панечка.

Они шли, стар и млад, в Александровский сад, где у входа чернавка торговала фигурной карамелью.

Но вообще уже много лет, как для Пани Лиходеевой Киев начинался со звонка будильника. Нет, нет, команда «подъем!» не подкреплялась угрозой расстрела. Паня стремительно, словно говорила «Есть, товарищ будильник!», впрыгивала в босоножки, предоставляя молоточку какое-то время бить ее по пальцу — вместо никелированного грибка. Это чтобы не разбудить маму.

Погода на улице была ослепительная, синее-синее небо, вряд ли вода за ночь очень остыла. Паня, зябко вбирая сквозь зубы воздух, стянула с себя майку и принялась умываться из железной в окалине бочки во дворе. Дворик был задний, маленький, отовсюду защищенный зеленой толщей кустов. За ночь вода покрывалась разными былинками-тычинками, мошками — все это Паня сняла ковшиком. Для нее «основной вопрос современности» не стоял, напрасно Скоробогатов старался: «Вы, Панечка, будете пить чай с сахаром или мыть руки с мылом?» Не касаясь того, что анекдот устарел в принципе — теперь не приходится выбирать даже между мылом и сахаром, Паня, однако, терпеливо объясняла: сахар портит зубы и фигуру, тогда как чистота залог здоровья.

— В Киеве дядько...

Нет уж, извините, дядя у нее как раз в Таганроге.

— А по утрам, — продолжала она, — кушать совсем и не хочется, это «завтрак отдай врагу» — не ужин.

Бабушка, в чьей постели Паня теперь спит, любила повторять: «Завтрак съешь сама, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». В то время враг в представлении Пани носил немецкую форму, был надменным и стройным арийцем. Друг, хлебавший с ней из одной тарелки густой жирный борщ, был добродушным казаком в вышитой ко-соворотке, у которого с кончиков долгих усов, клыками глядящих книзу, капали алые капли. А вот ужин хотелось съесть самой — даже очень хотелось.

Она оделась и принялась расчесывать волосы еще бабушкиным гребнем.

Если бабушкины максимы вызывали улыбку — о привлекательности полных женщин, и все такое прочее, — то мамин опыт мотался на ус. И был этот опыт совсем другим. Например: лучше две морщины на лице, чем одна на чулке. Вчера мама вернулась поздно, Паня даже не слышала как. Ну, а мамочка не услышит, как ушла на работу ее Панечка

В школе Паню многие звали Степой. «Степка-рас-трепка», — шутила историчка. Это раздражало. Историчка вообще действовала на нервы: фальшивая. Сейчас встретишь ее — оказывается, она была единственной в городе учительницей истории — некоммунисткой. Нашла, чем хвастаться — лицемерием.

Вот учитель литературы, тот действительно редкая птица. Мужчина. Словник. Барин. В него влюблялись все поголовно. Лаврентий Германович... С девятого класса обращался к Пане не иначе как «распрекраснейшая наша панна». Не врал, она была первой красавицей. Вернее, их было две таких — богини красоты: она и Софа Ялышева. Ялышева брала лицом: бесподобные васильковые глаза с загнутыми кверху черными ресницами, кудри, как ночь, темны. Нога же чуть-чуть полновата в икре. А у Пани фигурка точеная. Глаза тоже голубые, спичку на ресницы, может, и не положишь, но очень ласковые, тающий взгляд. Вообще-то ее богатство — пшеничная коса, кото-

рую она носила то узлом, как балерина, то — опуская на грудь. Кто-то предпочитал ее внешность, кто-то — ялышевскую. Пане всегда хотелось знать, в какой партии Словник.

Она тихо отворила дверь и прошла через мамину комнату. На пианино стоял листок с нотами и картинкой: девушка, закрыв ладонями лицо, бросается в пропасть. Слова:

«Прощай», — сказала, сама погибла,  
Туда, где плывут корабли,  
Упала в воду, и все затихло,  
Нашла притулище собі.

Чего только мама не исполняет! Она всегда гордилась маминой профессией. А теперь и мама гордится Паниной: мать в театре, дочь в газете — в глазах простых смертных одно другого стоит.

«Буйно зацвела головушка июня», — ни с того ни с сего произнеслось в Паниной головушке, когда она прикрывала калитку.

Недавно еще она спустилась бы к остановке третьего. Но... это было недавно, это было давно. После «ведомых подий» трамваи ходить почти перестали, только по центру. Вместо них транспортники пустили «баржу» — товарную платформу, ездить на которой неприятно и небезопасно, лучше уж «одиннадцатым номером»: двадцать минут — и ты в редакции. Паня поморщилась: босоножек жаль.

Она ходила быстро. При быстрой ходьбе и время экономится, и мысль целенаправленной, не разменивается на пустяки. О чем сегодня думаем? Значит, что бы было, приди она да и скажи:

— Аполлинария Григорьевна! Не поминайте лихом: я в Германию замельдовалась.

Все:

— Пань, да ты шо...

— Ну, дает!

— А писать будешь?

— Да погоди... О чем спрашивали-то? Верно, что зубной врач проверяет?

А за спиной, едва сядет за машинку, начнется «шу-шу-шу»:

— Везет же... Еще влюбится в нее миллионер: рестораны, подарки, а там... (По-комедийному слаженный бабий вздох.) Хорошо быть красавицей. Знаешь, как на нее все оборачиваются? Так и слышишь: хрусть, хрусть — шеи хрустят. Первым делом он ее, конечно, с ног до головы оденет. У них в магазин только войдешь, тебя тут же усадят, кофе сварят... с пеночкой... потом спрашивают, чего изволите. А ты положила ногу на ногу: «Мне нужен туалет для выходов в свет». Или: «Мне нужен туалет для прогулок в пасмурную погоду». Или... да мало ли чего. Пять человек обслуживает: один туфельки примеряет, другой модную кофточку предлагает, третий чулки на кулак: и такие, и сякие... А ты в это время со своим миленьким обсуждаешь, куда пойти ужинать. По вечерам всегда страшно хочется есть.

Не заметила, как и до Дубенской дошла. Здесь земля горела под ногами оккупантов. Это мальчишки поджигали осевший тополиный пух. Дубенская была обсажена огромными столетними тополями — уверяют, Потемкин посадил их к приезду Екатерины. В июне сама природа устраивала в этих местах погромчик: пух кружился в воздухе, сбивался на земле в невесомые комья, при малейшем дуновении ветра они шевелились, катились, росли. Достаточно чиркнуть спичкой — и улица, как бензином облитая, вспыхивает.

— Пань!

Это Слава Нечипуренко. От булочной они всегда шли вместе. Паня остановилась. Над окнами (заколоченными) сохранилась вывеска (золоченая): «Булочная-кондитерская». А приезжий прочтет, начнет дергать дверь: написано же, он привык написанному верить.

— Разогналася... как на ходулях...

Нечипуренко жила на Куреневке, и ей до работы было топать и топать, но, когда она однажды что-то такое вякнула, Паня сразу же отбрила: «Зато невысоко подыматься».

«Прапору» отвели бэльетаж, а москалей, «Вечерний Киев», значит, загнали на самый чердак, где летом было не продохнуть, а зимой зуб на зуб не попадал. Для русских на

Украине настали жовто-блакитные времена. Можно, конечно, податься в украинцы — ходила же она в первые недели с желто-голубой тряпицей на локте. Тогда все русские так ходили. Но Паня не такой человек, чтобы предать великое русское слово — «Так диво ль, что в память союза святого со Знаменем русским и русское Слово...» Небось они и «Слово о полку Игореве» теперь проходят по-украински. Интересно, Лаврентий Германович тоже выкрестился в украинську мову?

— Слыхала? — говорила Слава Пανε в спину — коротконогая, она все равно не поспевала за ней. — Слыхала? Музыкантская едет в Германию.

Паня молчала, она знала. Музыкантская закончила прошлым летом музучилище. Известно, музыкантам в Германии проще.

— Ты ж толковая, — продолжала Слава, подлизываясь. — Взяла б да и пошла на курсы переподготовки. Русская стенография и машинопись — то ж вчерашний день.

— Или завтрашний.

Пусть не воображает себе, что видит ее, Паню, насквозь.

— Зъихала с глузду.

— И не подумала даже.

Настроение тем не менее испорчено. Вдобавок на проходной сидел вахтер, который при виде ее неизменно протягивал свою единственную руку за ее удостоверение — тогда как у других никогда не проверял.

— Угу... Степанида Валентиновна Лиходеева... — нарочито вглядываясь. — Проходи, Степанида Валентиновна. — Усмешка и насмешка разом: ничего-ничего, доберемся. (В бородине у него был тайный ход, куда он то и дело отправлял щепоть с чем-нибудь съестным; запасы под столом не переводились, как если бы поступали прямой кишкой из деревни.)

Паня пришла, по обыкновению, раньше времени. Первым делом проверила, кому носить воду (Линевой), потом уселась на подоконник, растворила окно и принялась глазеть. Она высовывается наружу так, что замечающим ее прохожим становится дурно. По секрету: ей нравилось, что «Вечерний Киев» помещался на последнем

этаже. Всю жизнь она завидовала жильцам многоквартирных домов — с лестницами, с водопроводом... как назло, сейчас только «Прапор» имеет напор — выше напора нет. В «Вечернем Киеве» в туалете стояло ведро с водой, которое приходилось таскать всем сотрудникам — кроме Аполлинарии Григорьевны, ну, и Скоробогатова, разумеется.

Такими, должно быть, видит фигурки на шахматном поле прославленный Богатырчук — какими ей виделись из окна прохожие: каждый из них знал только свой ход. Но с высоты шестого этажа Пана (как и Богатырчуку) открывалась комбинация в целом — комбинация, в которой большинство фигурок друг против друга так и не окажется.

И еще: у людей, когда смотришь сверху, отсутствует рост. Для военных это куда ни шло, они сходят за оловянных солдатиков, остальные же — просто шляпки от гвоздей.

Полоса кровель обрывалась косогором; совсем близко, вся во вспыхивавших на солнце золотых звездах героя, синела маковка Макарьевской церкви — той, что в соседнем Телятинском переулке. Бог, он хоть и не от мира сего, а церкви ремонтируются — дома бы так!

Показалась Линева, сегодняшняя водоноша — работавшая еще вчера машинисткой в райкоме. С Телятинского свернула и перешла наискосок улицу. Прежде чем подняться, «бывшая» Линева сперва зайдет в бытовку — за ведром, потом в «Прапор» — за водой, заодно выслушает от Музыкантской-старшей, которая там бухгалтером, какие магазины в Германии, и тогда уж, вздыхая о своем светлом райкомовском прошлом, потащится с полным ведром на шестой этаж.

Обследовать, что ли, что у Скоробогатова на столе творится?

Паня вошла в кабинет, помещавшийся за фанерной перегородкой. Там половину места занимало кресло — забравшись в него в отсутствие владельца, можно было отколупывать последние сухие островки кожи. Другая половина кабинета — это стол, заваленный тем, чем и должен был быть завален стол главного редактора: рукописями, газетными вырезками, кипами платежных ведомостей,

схваченных бельевой прищепкой или нанизанных на шильце («...Когда, Панечка, даже в слове «бюстгальтер» мне слышится что-то счетоводческое...»). С прошлого раза ландшафт едва ли изменился. Разве что... Паня перелистнула несколько страниц и прочла: «Я против сакрализации инстинкта, Светлана. Вы можете сколько угодно негодовать и возмущаться, но жизнь в низовьях тела и жизнь в верховьях духа протекают каждая по своим законам. Я могу любить вашу маменьку чистой прекрасной любовью и при этом возжелать до безумия к юной шестнадцатилетней девушке...»

Она посмотрела на обложку: Николай Февр, «Солнце восходит на западе», роман. Не наша печать, сразу видно. Изданные за рубежом книги все еще были чудом. Бумага, обложка...

Шум на лестнице заставил ее отложить книжку и быстро уйти к себе.

Нет, послышалось.

Паня пробовала свои силы в литературе и поэтому много читала. Не как некоторые — что попало, а только те книги, которые могли обогатить ее внутренних мир. Эта книга, как ей показалось, могла. Она вернулась в скоробогатовский кабинет и стала читать — теперь уже с начала.

«Несмотря на раннюю осень, вечера над Городом стоят совсем летние. Из настезь распахнутых окон доносятся звуки рояля, пение. Фундуклеевская улица предстает тогда какой-то огромной консерваторией. (Фундуклеевская! Да это же Киев!) В этот час не видно ни ран Города, ни его убогого рубища. И чудится, что он по-прежнему прекрасен.

Сидящие на балкончиках горожане в темноте перекликаются друг с другом:

- Светлана, ау! — кричит кто-то с соседнего балкона.
- Ку-ку! — отвечает с другой стороны улицы Светлана.
- Кукушка, сколько тебе лет?

Из темноты раздается «ку-ку», повторяемое шестнадцать раз. Немного!.. Светлана может куковать...

А когда все стихает, слышно как ударяются о тротуар выпавшие из лопнувшей кожуры каштаны. Скоро упадет и последний. Потом облетят листья. И старинные кашта-

ны станут такими же оголенными и неприютными, как Город».

...Она поймала себя на том, что кончает уже сотую страницу: Светлана карабкается по кремнистым отрогам Аю-Дага, Иван Борисович — за ней. Почему-то ни Линева, ни кто другой из редакции «Вечернего Киева» так и не появился. И слава Богу! Какая книга... Ничего подобного она в жизни не читала. Щеки у Пани горели, глаза были широко раскрыты — как навстречу неведомой, но желанной опасности.

## II

Человек, по вине которого Валечка накануне вернулась поздно, был Лозинин. В свои — гм! гм! — лет (читатель легковверный) Валентина Степановна была очень привлекательна. Мы без труда вообразим себе маленькую шатенку с большими, молящими о пощаде глазами, со жгуче-яркими губами и таким же маникюром. Так что для Пани не было бы большой беды уродиться в мать, а не в проезжего молодца — да еще когда родство с ним стало смерти подобно...

Итак, Лозинин. Виновник позднего Валечкиного возвращения домой. (Пять утра — это поздно или рано?) Мы без труда вообразим себе мужчину в нестопанной обуви и в костюме, приличествующем главрежу Велькой Оперы. Им Лозинин сделался месяц назад — а с концертмейстером Лиходеевой контакты завязались и вовсе не далее как вчера, до этого Валечка была в контакте по преимуществу с заслуженным артистом Украинской ССР Петро Гайдабурой, которому аккомпанировала.

— Есть у меня одно желание, Валентина Степановна, — начал Лозинин с подкупающей откровенностью. — Взять «Фиделио» Бетховена и актуализировать. Чтоб зритель почувствовал: дело происходит не в каком-нибудь там средневековье, а в наши дни. При Советах это было невозможно. Я предложил оригинальное решение: перенести все в современную Испанию. Сцену окружить колючей проволокой. На переднем плане вышка с часо-



вым. Узники — бойцы интернациональной бригады. В шинелях, в пилотках. Их командир, Флорестан, помещен в штрафной изолятор. Но чтобы не получалось: министр-фашист — и олицетворяет идею справедливости, в финале была бы такая мизансцена: на министра набрасываются охранники. В следующую секунду он, как все, с бритой головой, а генерал Франко пожимает руку дону Пизарро. Ну, блеск!.. Так ведь, сволочи, усмотрели в этом попытку показать, что у нас всех министров пересажали. И пошло-поехало: рейхваргеровщина, формализм. На сцене колючая проволока, лагерь — сами понимаете. В таких случаях деды говорили: шел хлопек в ельник да попал в пчельник. Теперь ситуация коренным образом переменялась. Теперь психологически можно сделать все гораздо глубже. На сцене — не упадите... сумасшедший дом! В нем под видом больных коммунисты держат политических. Флорестан — в отдельной палате для буйнопомешанных, на нем смиренная рубашка. Дон Пизарро — главврач, Рокко — завхоз, «хаузмастер», как говорят немцы. Кстати, во всем мире оперы ставят на языке оригинала, итальянские по-итальянски, немецкие по-немецки. Нам тоже не миновать чаши сей. Так-то, Валентина Степановна. Ну, подниметесь ко мне, я вам кое-что покажу...

Раннее утро, кругом ни души. Только одинокий спивак в Большой Опере поет: «А-а-а-а-а-а-а-а-а...» — и снова, полутонем выше: «А-а-а-а-а-а-а-а-а...» Да на пустынной площади стоит женщина, может, любитесь прикосновением первых лучей к позолоте куполов. А може и нэ... Я не такая, жду трамвая.

Поскольку «баржи» пускали еще и под грузовые перевозы параллельно с пассажирскими — действительно параллельно, — то зигзагообразный их маршрут как шнурками стягивал разваливающийся город. Одной из первых «барж» Валечка возвращалась домой, некоторое время пребывая в опасном соседстве с чугунным якорем, покрытым почему-то толстым слоем земли. Потом якорь сгрузили на подводу, а его место заняли «матки с яйками» — крестьянки, обставленные ведрами, крынками, мешками. Когда «баржа» подымалась по Артемьевскому спуску, все

это поехало на Валечку, но не доехало, вопреки законам физики — зато в полном согласии с законами рынка, знаменитого Евбазы, куда — кровь из носа! — должно было быть довезено в целостности и сохранности. (Никто не говорил «Галицкий базар», по-прежнему говорилось «Евбаз».) Торговок сменили башни ящиков, точащих машинное масло, и горы каких-то тюков — тоже чудотворных, раз среди них, не боясь быть раздавленными, теснились пассажиры, все больше рабочий люд, черный от мазута и беспросветной жизни.

Сойдя на своей остановке, Валечка выбрала кратчайшую дорогу домой — крутой подъем, с приближением к концу которого дышалось все чаще и все громче. Ей вспомнился Лозинин. Но и Гайдабуря тоже.

— А теперь спать, — забираясь под одеяло, сказала она себе с чувством глубокого удовлетворения.

В рабочий полдень — он же раннее утро для творческой интеллигенции — Валечка пробудилась от стука, который, как и водится, задним числом скорректировал сюжетную линию сна. Но вот она понимает, что это не огромный таран, который, мерно раскачиваясь, ударяет в ворота испанской тюрьмы, — это стучат в дверь.

— Кто там? — спросила Валя, со сна да с перепугу не находя своего голоса — так рука не находит в волнении рукав.

— Валечка, открой. — Яновская тоже отвечала не своим голосом. В Вале все так и оборвалось: Яновская жила на Дубенской в соседнем с редакцией доме.

— Ну, говори... — Она зажмурилась и сжала кулаки.

— Да ты не бойся. Просто хотела тебе сказать, что в газету никого не пускают и оттуда никого не выпускают. Улица перекрыта, солдат до фига... Дай попить... А то я к тебе всю дорогу бежала.

Яновская сама сходила в кухоньку во дворе и вернулась с алюминиевой кружкой. Валя была как в столбняке: неподвижно сидела на табуретке — с лицом цвета рубашки.

— Только без паники. На, попей...

Понимаешь, — рассказывала она по дороге, — я ничего тоже не слышала. Вдруг Лизавета: «Комсомолыцы, —

говорит, — хотели газету спалить. Солдат понаехало. Всех проверяют». Ни фиги, думаю... Смотрю в окно — улица правда пустая. Ну, вышла, тихонечко по стеночке — и к тебе.

(«Та яки ж воны комсомольци, воны фулюганы», — та же Лизавета, как бы с советских позиций обрушиваясь на советских патриотов, ходивших в сапогах с шипами: специально, чтобы наступать на шланги, качавшие воду из Днепра, — это когда город остался без воды. Тогда одно-го-двух таких голубчиков схватили.)

«Боже-Боже-Боже-Боже...» — пульсировало в мозгу у Вали. Вот и Дубенская, ну...

Она подбежала к стилизованному Тарасу Бульбе, который, как известно, был куренным полковником:

— Пане полковник, умоляю, за рады Бога, що случилось? Моя дочка працуе в газете «Вечерний Киев».

Тот посмотрел на Валью, огромный усатый человек — на хорошенькую женщину с огромными, умоляющими о пощаде глазами.

— Отут такэ трапылось, що ваши москали, — для «западenceв» Киев с такими вот вальечками всегда был Москвией, — хотели вашу дочку пидирвати. Показить-ка папэры.

Солдат поблизости, видя, что Валя открывает сумку, дернулся было, но «сечевик» — как их еще называли по старой памяти — отрицательно покачал головой. Валины пальчики забегали среди ключев подкладки. Она не успела дополнительно умереть со страху, так как сразу нашла сложенный пополам картонный квадратик.

— Артистка? В опери спиваете?

Сколько раз этот кусочек картона ее выручал. Опера и сама-то по себе обеспечивала статус, а тут не исключено еще личное покровительство на любом уровне. О чем свидетельствовала печать — не какой-нибудь управы, а киевского городского комиссариата. Тем не менее, войдя в здание, Валя оказалась в положении полуподозреваемой-полузаложенницы, другими словами, в положении всех, кто в этом здании уже находился. Автоматчик глазами указал на «Прапор», дверь которого за нею немедленно затворилась: мол, оставь всякое упование. Подобно Данте, Валя

встретила здесь немало знакомых лиц. Были среди них и маститые личности, если не Гомер с Горацием, то, во всяком случае, выдающаяся украинская поэтесса Пидвода, главный редактор «Прапора» Ворковецкий, его русский коллега Скоробогатов. Причем сильные мира сего и слабые мира сего уже больше не разделялись по вышеназванному признаку. Например, кто-то однорукий в форменной тужурке развалился в кресле... тут Валя заметила остатки борща в его бороде. (Прибавим к этому взгляд агнца, пережившего собственное заклание.) Увидела она и Музыкантскую, чье счастье было несколько омрачено и спряталось за тучку; и горбунью Лакиевич, работавшую машинисткой в «Вечернем Киеве» еще о ту пору, когда он назывался «Киевлянином»; и многих-многих других: знакомых, малознакомых, вовсе не знакомых. Их собрали — вероятно, со всех этажей — в одну комнату. Но, простите, где же... где же Паня?!

— Аполлинария Григорьевна! — кинулась она к Лакиевич. — Вы моей Панечки... — И замолчала, боясь продолжить.

Лакиевич, некогда печатавшая под диктовку самого Шульгина, даже не посмотрела в ее сторону, даже головы не повернула — только седая старушечья косица чуть качнулась.

— Что же это делается... Что же это делается... — причитала Валечка. Ей доходчиво объяснили, что же делается.

— Тетя Валя, мы с Паней вместе пришли, она, значит, пошла к себе, а я — к себе. Она еще говорит, — понизив голос, — вот увидишь, советская власть вернется. Ну, людына наша повильно сбирається. Потом слышу: чужие голоса. Выглянула, в приемной дед — весь в крови. Какой-то парень его пинает, у самого кастет. И кто входит в дом — их, значит, к нам. Всех затолкали в приемную: и кооперацию, и тех, кто над нами, и вечерошников. Двери позакрывали, как сейчас. Их было-то двое. Один говорит: «Смерть фашистам! За все ответите перед родиной, самостийники проклятые. Взорвем вас», — и «ерш» кажет. Сами сразу за дверь, а бутылку — бац! — в потолок. Я до пола прильнула, потом смотрю: «ерш» вроде б ненастоящий. Остальные зенки тоже пооткрывали, нюхают.

Первосортна горилка. А с улицы, наверное, заметили и успели диду подкрепление вызвать, потому что тут уже и солдаты, овчарки. Нам велели на месте сидеть. А может, пособника среди нас доищутся. Два часа как сидим, нема чем дышать. Пока доискалися, чья горилка — дидова же. В уголку, говорит, стояла. Парни, видать, ее приметили и, чем самим-то выпить, давай пугать. Ну, точно комсомольцы.

(А в это самое время в развалинах водонапорной башни, обнесенных чахлой проволокой, велся шепотом разговор:

— Ну ты, Кирпатый, даешь... Теперь они небось закусывают. Зато как красиво сказал... тост получился.

— Ну лох я, ну хошь, дай в морду.

— Что в морде мне твоей? Понять хочу...

— Да я и сам не понимаю... Руки перепутал. Первака как притырил в правую, так и держу. А бросать — руку-то не поменял. Эх, дурак...

— Да уж. А то б проскочили на взвоз, отогрелись бы у Сычихи. Теперь терпи, товарищ Немоляка, терпи. Хоть помнишь, куда «ерша»-то поставил?

— Там приступочек такой, а за ним место — ни одна сволочь не найдет. Не журысь, Немоляка, мы в другой раз их запалим.

А внизу патрули, патрули, патрули.

— Ну как, Кирпатый, рискнем? Может, проскочим?

— Тикаем. Нехорошо на Горке.)

— А что Панечка? Панечка где? — вопрошает всех Валя.

О Панечке ни слуху ни духу.

И тут Валя — чей взгляд, казалось, всегда говорил: я слабая женщина, господа, — в вас, таких сильных, мое спасение, — Валя принялась барабанить в Дантовы ворота, как настоящая барабанщица, а никакая не пианистка. Ее не успели оттащить. Дверь предостерегающе приоткрылась — но только те аргументы, к которым прибегла Валя, имели, очевидно, полкило свинца в перчатке. Снова пущено в ход оперное удостоверение. Тыча алым пятнышком ноготка в витиеватый росчерк под печатью, Ва-

лечка грозила именем того, кто удостоил ее своего автографа.

Солдат с невозмутимостью чужака, не склонного к излишней доверчивости, отобрал у нее удостоверение. О происходившем за дверью можно догадаться. Когда она открылась вновь, то перед Валею стоял другой — в фуражке, с кобурой на ремне, не только выполняющий приказы, но и отдающий их. Валя и ему всыпала, с пылу с жару по-русски — именем обладателя самых широких в Киеве лампасов и столь же исключительного по витиеватости своей позумента в красных уголках воротника.

Скоробогатов переводил с русского на бесовский:

— Она говорит, что хочет знать, где ее дочь. Она говорит, что...

Привели «пана полковника» — за могучие усы, что корнями уходили в родную Галычину.

— Як так дэ? Вси, хто був у будинку, — тут, у ций кимнати. Мои хлопци кожний куточок обшукалы, на усах поверхах. Нэ знаю, куды вона подилася. Мабуть, з ними побигла...

— Как вы можете это говорить! Вы с ума сошли!

— Она меня предупредила, что нападение будет, — влезла Слава Нечипуренко, никем не спрошенная. Но Скоробогатов всеми десятью пудами своего веса стал ей на ногу:

— Ты что, дура, брешешь? Господин лейтенант, — Скоробогатов понизил голос, — это очень красивая девушка. Могло что угодно случиться... Вы меня понимаете.

Понимает. И приказывает — уже не этому сброду, а своим автоматчикам — все снова осмотреть. Не проходит пяти минут, как те спускаются по лестнице в прелестном обществе. Глаза златоволосой небожительницы лучились слезами в четыре карата каждая.

Паня как раз кончила читать роман:

«— Прощай, Светлана, — безутешно шептали губы Ивана Борисовича. Первые комья земли глухо забарабанили по закрытой навеки крышке. А чудилось: это, словно в ответ, кто-то изнутри бьет маленькими кулачками, тщетно умоляя открыть. — Прощай, грех мой, душа моя...»

Тут-то доблестные воины, Панины овободители, и обнаружили за фанерной загородкой потерявшую счет времени Паню.

— Доченька! — закричала Валя.

Офицер громко высморкался.

— Я иметь тоше один дочь. — Обычно они еще при этом показывают фотографию.

Все были растроганы, за исключением «Тараса Бульбы», который склеротически уставился в одну точку — обмозговывал страшную месть?

### III

А, так это пахли ноги коня Розы!..

Уже давно «баржа» доставила по назначению Валечку, а Лозинин все ворочался с боку на бок, безуспешно хватаясь за тот или иной зрительный образ, благоприятствующий долгожданному выпадению в сон. Им могли быть новые темно-красные полуботинки фирмы «Батя» с простроченным носком в умиротворяющем сочетании с темно-серой фланелью штанины. Но предстоящий обед с немецким дирижером все равно бил в набат.

Они уже встречались. Он представил труппе и музыкантам Мюнстера, который явился в мундире.

— Мы имеем честь приветствовать сегодня в стенах Велькой Оперы ее нового генерал-музик-директора, капитана доблестной германской армии Георга Мюнстера.

Оказывается, остзейскому детству Мюнстер был обязан родным русским.

— Здравствуйте, вы можете называть меня Егор Яковлевич. У меня большой опыт работы капельмейстером в цирке Кроне, где под музыку дрессировали хищных зверей. Это поможет нам найти общий язык.

Никто не засмеялся.

Лозинину передавали, что на первой репетиции оркестра бывший цирковой капельмейстер положил на пульт пистолет со взведенным курком.

— Кто вступит не по руке, того застрелю. — После такого «ауфтакта» ни одна живая душа вообще не вступила. Тогда Мюнстер сказал: — Это была шутка. Но, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, в ней намек, добрым молодцам урок.

После этого его прозвали «Капитан Монстр».

Сон не брал Лозинина. Гонишь ее, мысль о предстоящем обеде, в дверь, а она в окно. Мюнстер был зван по-русски, к половине третьего. Лозинин послал записку с приглашением, где мимоходом упомянул о прислуге, умеющей готовить грузинские блюда. «Капитан Монстр» велел на словах передать, что придет, — даже не поблагодарил.

Эх, великая культурная нация! Подобно всем, кто остался «под немцем», Лозинин прошел крестным путем жесточайшего разочарования и теперь почти ненавидел своих благодетелей. Перечень обид, нанесенных ему лично, был невелик, по нынешним временам просто ничтожен — да еще в сравнении с пролившимся на него дождем благодетений, да еще после того, что было пережито при Советах. Главное в другом: мотивы, по которым он, русский интеллигент, избрал европейский шаг, воспринимались ими в оскорбительном для него свете. Потребовалось время, чтобы с удивлением констатировать: они судили по себе. Да, он жестоко обманулся в своих надеждах — встретить одетых в непрístupную броню Марбург и Иену. Он жаждал припасть к святому источнику, полный уверенности, что найдет понимание, — и он его нашел: бочка варенья и мешок печенья. Лижи и служи.

Уж можете не сомневаться, ему было что сказать о тех, кто на прощанье шелкает каблуками, говоря «майне гершафтен!» — с таким видом, будто уходом своим предполагает воодушевить присутствующих.

Еще недавно, замороженный, смотрел Лозинин, как переговариваются в «вохеншау» города:

«...Кто ты?» — «Я Майнц, я Гуттенберга печать, я слава двух рек, а кто ты?» — «Кенигсберг, гордый прахом великим, хранит его мой собор». — «Привет передай стенам священным от кельнского брата, что над светлым просто-



ром царит. А кто ты будешь, брат?» — «Я Мюнстер мятежный, а ты?» — «Аахен, весельем торжественным шумный».

— И догадал же меня черт...

Еще недавно, не задумываясь, пригласил бы Лозинин Мюнстера вместе с Майнцером. То время прошло — когда он держал за чистую монету их взаимную приязнь и доброжелательство, проявлявшиеся так естественно, как в России и лучший актер не сыграет. Наблюдаешь их в компании: раскованны, доверительны, смеются. А как только никто не видит — ну, разве что в сапог друг дружке не мочатся. И еще не стесняются тебе этим похвалиться. Это для них нормально. Крысиный яд со взбитыми сливками!.. В двух вещах не лицемеры: открыто просят у дамы позволения отлучиться в туалет и открыто считают каждую марку, не боясь прослыть скупердяями. Умора: немец, приценивающийся к ковру (на коврах они положительно свихнулись). И конечно, самому надо быть очень осторожным в выражениях. При всех этих кофейных церемониях: «битте... битте данке», при всей показной шутиливости всё понимают буквально. Назовешь того же Гайдабуру «минером» — он для виду засмеется, а про себя — узелок на память. Или брякнешь, что еще не успел проголодаться, тебе уже ни кусочка больше не предложат, не спросят: а может, все-таки? Не различают полутонов. Зато мастера расписывать, что ели да как. Слушаешь — прямо Гарольд в Италии. А попробуешь — ей-Богу, диетический стол в Доме Отдыха Политкаторжанина. Бесспорно, человек есть то, что он ест. Вот что сегодня будут есть у Лозинина? Кальтес бюффэ: макрель под соусом сациви, лобио из белой фасоли, обержинии по-тифлисски. Ну, зелень, белый сыр, маринованный чеснок. Потом по тарелочке харчо, Дарья разольет в серебряную посуду. И основное блюдо — спесиалитэ де ла мэзон: цыпльята табака. Десерт простенький, но со вкусом: холодный кисель из отборных полтавских черешен. Дарья вчера ведро их принесла — Серова не было рядом! Новые туфли цвета этих черешен. И тот же блеск носков. Черешня — блеснит. Это кабинет красного дерева — нет, а мягкая, дорогой отделки кожа поблескивает. Обувь — лицо человека. По черешенке встречают, прислушиваются к походке, к шагам

в гулком коридоре... шаги все ближе... европейские шаги капитана Мюнстера, эхо их прокатывается от Адриатики до Обержинии... Что! Что такое!

— Иван Борисович, извините, что я стучусь. К вам уже второй раз из оперы приходят. Художник. Вы ему назначили.

— Хорошо... — От резкого пробуждения он тяжело дышал. — Хорошо, сейчас.

— Я кипятку подолью, а то ванна уже остыла.

Дарья Свиридовна знала, что к обеду будет знаменитый дирижер из Германии (она не допускала мысли, что дирижер из Германии может быть не знаменит). Стряпня началась с вечера, шла полным ходом до полуночи и утром продолжилась. Скумбрия... тьфу ты, макрель, уже очищенная от костей и политая маслом, для нежности была проложена чуть подрумянившимися матвеевскими сметочками, дух от которых — как дух Лауры! Но долго выветривается, потому жарить их надо загодя. Иван Борисович спал — все равно нельзя было ни отбивать цыплят, ни колоть орехи на соус. Но пока Дарья Свиридовна варила черешню, пока сцеживала отвар, пока он остужался, поставленный в таз со льдом, пока растирала ягодную мякоть, ходики в кухне прокуковали магическое число двенадцать, возраст первых поцелуев: «Вже час, красуня, прокыдайсь».

Уже дважды приходил Гурьян с папкой, где лежали эскизы костюмов к новой постановке «Тараса Бульбы»: горбоносые ляхи в сутанах, похожих на лапсердаки, сечевые стрельцы, осадившие дубенскую цитадель, — в серых немецких шинелях, что отдавало восемнадцатым годом. Оковалок, купленный вчера на Житном, уже сваренный, был извлечен из бульона, заметим, застывшего, как Даная в ожидании Зевса — на сей раз в образе помидоров, риса, перца, лука и увенчанного лавровым листом. Этакого Зевса, созданного фантазией Арчимбольди. Обержинии, предварительно обжаренные в мукe с разными специями, уже томились в каленом застенке.

На своем пути в ванную Лозинин потянул носом воздух, Дарья Свиридовна замерла.

— Недурно пахнет, а, Дарья Свиридовна?

Она расцвела.

Надо Дарью хвалить. Он знает эту породу. Для них похвала — лучи солнца, к которым, как глупые мордастые подсолнухи, они тянутся, и тянутся, и тянутся, и ничего им больше не надобно в жизни, кроме похвал. Сколько таких дур он встречал на своем пути... в ванную. («Ага...» — Он сообразил, почему так поздно встал.)

С Гурьяном же все наоборот. Парень способен творить, только когда в перспективе у него Дарница. Это тип художника-мазохиста. В страданиях, в нищете, в болезни они рожают шедевры. Поэтому глупо жалеть гениев: не будь они страдальцами, от их гениальности не осталось бы и следа. Лозинин обожает разговоры о необходимости создать кому-то условия для работы. Условия для работы в пяти случаях из десяти создает плетка. Широкое признание на девяносто процентов влечет за собой творческую смерть. Обыкновенно сама судьба мудро распоряжается на этот счет, но бывает, что ей надо немножко помочь.

Лозинин вылез из ванны, растерся.

— Дарья Свиридовна! — крикнул он в дверной проем, пропиливший зашторенную комнату солнечным лобзиком. — Зовите-ка его сюда.

Он выглядел патрищем, минутой раньше бравшим ванну и не очень-то озабоченным расходящимися полами халата, что должно было ранить непризнанного гения, каковым, может, Гурьян и является, как знать? «Признанный гений» — в любом случае эвфемизм. Признанные гении, они тут недалеко лежат.

— А, Володя, ну-ка, ну-ка... Подходите ближе, не бойтесь, я вас насиловать не собираюсь. Кладите папочку сюда. Да, скажите, когда вы вошли, в квартире сильно пахло рыбой?

Гурьян — длинношей, узкогрудый, со скудной растительностью, призванной изображать бороду; на свое счастье, не похожий на армянина (от греха подальше), впрочем, он и был им лишь на четвертушку. Лет, ну, двадцати пяти от силы. Тогда в Дарнице перед Лозинным построили, наверное, сотню художников, и он обходил этот почетный караул, состоявший из грязных, заросших, оголодавших, а все же, что ни говори, солдат,

каждый из которых, на движение его указательного пальца, такое, будто он хотел их всех пересчитать, произносил в ответ: Академия художеств, ВХУТЕМАС, Суриковский, Свободные художественные мастерские в Харькове, Одесский государственный институт живописи и ваяния, Строгановка.

Гурьян неожиданно сказал:

— Штиглиц.

— Кто, по-вашему, лучше, Рындин или Акимов?

— Добужинский.

Лозинин выбрал Гурьяна просто так — хотя и подчиняясь неизбежному, о чем смутно подозревал. Добужинский, белая акация — цветы эмиграции... сладко пахнет белый нафталин... Неважно. Говоря «заверните» — о седлке — не очень-то напрягаешься с выбором. Дело не в Лозинине, а в тех, кто стоял за прилавком. С ними, хочешь не хочешь, приходилось считаться. Лозинин никогда не узнает, выиграл он или проиграл оттого, что предпочел Гурьяна... кому? То-то.

— Нет, совсем не пахло рыбой. Пахнет чем-то печеным, вроде горячих беляшей.

Гурьян всегда голодный.

— Холодно. Ну ладно, штору отдерните.

Лозинин просмотрел эскизы молча. Закончив, так ни слова и не проронил. Гурьян никогда не знал, чего ждать в таких случаях, а поскольку других случаев припомнить не мог, то верней было бы сказать: Гурьян никогда не знал, чего ждать, — точка. Лозинину он был обязан вторым рождением, но разве у того же Лысенка не говорится: «Я тебя породил, я тебя и убью». При одном звуке этого имени — «Лозинин», — от одной этой комбинации «лозы» и «нины» в нем надувался огромный пузырь страха, много больший, чем могло вместить его тщедушное тельце. Или это была не «Нина», а «Зина» и некая неведомая «Ло» в придачу? В театре его иначе как «Лохзинин» не называли. А то и «Зинин Лох». («Что Зинин Лох?» — «Как всегда. Каблуками щелкает».)

— Володя... — Гурьян в ужасе сжался. — Скажите, у вас женщины были в жизни? Ну, отвечайте. Я серьезно спрашиваю.

— Да.

— Вы в этом уверены? А ради шутки они никогда не переодевали вас в свое платье? Хорошо, не хотите говорить, я не неволю. Неволят — сами знаете где.

— Иван Борисович!

— Посмотрите, здесь... — Лозинин с внезапной силой шмякнул тыльной стороной кисти по либретто, — сказано: Марильца для забавы наряжает Андрия девушкой. Что это значит? Да то, что в ней самой проявляется активное начало, мужское. Этот эпизод для нас глубоко символичен, он задает тон всей опере. Украина унижена, поставлена на колени и... в общем, понятно, как с нею забавляться: спиной повернись и прогнись. А у вас нарисованы две пансионеры, того и гляди, запоят «Уж вечер...». (Кадый, выпиравший из белой шеи Гурьяна, дрогнул.) Шершавым языком костюма можно много чего сказать. Ваши костюмы — немые. В одежде Марильцы должен преобладать мужской элемент. Например, она набрасывает на себя в эту минуту черный местечковый сюртук... Кстати, отличная идея!

Гурьян вздохнул облегченно:

— Иван Борисович, тут я несколько видоизменил Остапа...

— Так. А как раньше было? Ага, понял. Ничего, неплохо. А вот это лишнее. То, что компонист Лысенко закончил лейпцигскую консерваторию, отнюдь не означает, что Остап был награжден железным крестом. Чувство меры хромает. Вы бы еще Тарасу монокль в глаз вставили.

Ответом был нервный смехок. С кухни доносились удары молотка: Дарья Свиридовна отбивала молоденьких цыплят.

— Я вас больше не задерживаю. Папку оставьте здесь.

Гурьян покачнулся. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.

— Ну-ну, что еще за фокусы? У меня обедает Мюнстер, хочу ему показать. Знаете, ступайте на кухню, пусть вас угостят. Скажете, я велел.

Он усмехнулся: в каких уж там выражениях Гурьян передаст это Дарье — его дело, Лозинину пора одеваться и морально подготовиться. Он надел носки, подвязки, без-

звучно разъял крахмальную сплюсненность рубашки. И вздохнул. От таких, как Мюнстер, зависит его творческая судьба. Эх!.. Дать второе рождение бетховенскому «Фиделио», превратив его из набора музыкальных номеров в настоящий спектакль, — и ты сразу европейская знаменитость, Пискатор.

Он застегнул пуговицу на ширинке. А вот на сцене, чтобы реалистическое не обернулось неприглядным, прежде следовало бы надеть брюки — молниеносным движением, и так же быстро заправить спереди рубашку (позабыв сделать это сзади), после чего, задрав подбородок, неторопливо завязывать галстук, переговариваясь с кем-то.

Он постоял лицом к лицу со своим отражением, посмотрел на себя через левое плечо, через правое плечо, достал из кармана часы — четверть второго, — снова повесил пиджак на фигурную скобку вешалки, развязал галстук, заменив его шейным платком, предохранявшим воротничок от соприкосновения с кожей, и аккуратно один раз подвернул рукава, так чтобы не смять манжеты. В человеке не может быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, — приходится выбирать. А кому-то и выбирать не приходится.

На кухне никого не оказалось. Окно было распахнуто настежь, ветер играл занавеской. Уж не поступила ли Дарья по примеру французского повара, у которого что-то подгорело? И он тихонько выглянул наружу — так живо себе это представил. Нет, на дворе никаких признаков того, что из окна кто-то выбросился. А может, она вознеслась? Такое бывает... говорят. Или ее соблазнил Гурьян, и они вместе бежали в Рио-де-Жанейро. Гурьян признался, что ни по эту сторону фронта, ни по ту сторону фронта быть не желает, а желает жить в Испании, в Южной Америке — в какой-нибудь нейтральной стране. Чего захотел. Нет, тут уж или — или, третьего не дано.

А вот и Дарья. Прифифилась. В розовом оборчатом переднике, туфли с бантом, волосы уложены валиком.

— А я, Дарья Свиридовна, подумал, грешным делом, что вы с Володей сбежали. Он парень молодой.

— Ну, скажете, Иван Борисович, прямо...

Дарья кокетливо сконфузилась. И при этом покраснела. Было бы и впрямь обидно ее лишиться: чистота, послушание, оставляются на столе отчеты, что сколько стоило, — правда, знает, что он их не читает. Тем усердней строчит. Несколько раз приказывал ей делать то, что не всякая женщина соглашается делать. И потом вкусно, черт подери!

— Но хоть закусить-то ему, Дарья Свиридовна, дали?

— Дала. Немножко. Раз вы велели. Армянам вообще нечего давать, они и сами устроятся прекрасно. Я их немало навидалась. Народ неплохой, но хитрый. И деньгам счет знают, не то что вы. Такой обед ему бы обошелся в десять марок, а фасону было бы на триста рублей. — Когда Дарья говорила о непомерных тратах, то всегда считала в рублях.

Лозинин заметил пару чугунных утюгов, которым предстояло быть использованными в качестве пресса.

— Сколько цыплятам жариться?

— Этим? Сорок минут. Я поставлю их через полчаса после того, как подам... — она забыла слово, — тьфу ты... обезжирнии.

— Вы умница. Есть вещи, которые можете только вы. Она расцвела.

#### IV

Ой-ой-ой!

Я боюсь сидеть на стуле —  
Потому что он висит  
Над зияющею бездной!

*Е. Шварц*

А Гурьян уже сворачивал на Левашовскую, сделавшуюся отныне немецкой слободой. Это был оазис европейской культуры: намытые стекла аж поскрипывали, когда по ним плыли белые облака. Кругом латиница, ходит настоящий трамвай. Знаменитое еще в старые времена «Шато де флер», над дверями крендель из золота. Konditorei. (Ну, почему не по-испански! Господи, сделай так!..)

В кармане у Гурьяна «аусвайс», легко оправдывавший его нахождение здесь, на этой улице. И все же он не останавливается перед витриной, лишь замедляет шаг, чтобы глазами слизнуть крем с торта «Весенние голоса», который сейчас, по кусочку да по клинышку, отправится в plombированный немецким золотом рот унтершарфюрера Яшке: унтершарфюрер Яшке приехал на вохенэнде к фрейляйн Гальке. Кроме дарницкого унтершарфюрера Яшке, в глубине за столиками чернели еще какие-то фигуры, но их заслоняли отражение улицы, прохожих — и страх, страх, страх. Парадоксальным образом сам Гурьян держал себя за большого героя, просто свой героизм он берег, как берегут силы — для будущих подвигов.

Противоречивость — свойство гения, Гурьян же бесспорно личность противоречивая: он знал все, не прочитав ничего, был гением, не создавшим ни одного шедевра, был бабником, ведущим целомудренный образ жизни, был — ну, это мы уже слышали — отчаянным смельчаком, дрожащим по любому поводу, а то и без повода, был страшным обжорой, который по целым дням ничего не ест. Его всегда подташнивало — от голода или от страха, трудно решить. По крайней мере, в настоящий момент одно из этих противоречий несколько сгладилось благодаря булке с кунстхонигом и хорошему глотку киселя — а еще... Лозинин сказал, что покажет Мюнстеру его работы. Этот Мюнстер, конечно, такая же гадина как и Яшке, и столько же смыслит в искусстве — а все-таки...

В господские Липки ходил настоящий трамвай: с передней площадки вход для господ оккупантов, с задней — для их прихвостней, другие в этом районе не водятся. А в заведении справа работают разные фрейляйн Гальки. Не горюй, Тулуза-Лотрека сюда бы тоже не пустили. Из трамвая вышли две немки — обе в форме. Чтоб одна в пилотке, а другая в шляпке со стеклярусом — такого не бывает. Немка в платье, выгуливающая здоровенную собаку, — мужняя жена, причем такого мужа, что его самого можно выгуливать вместо немецкой овчарки. Гурьян видел этих андерсеновских королев: в шелках, как в снегах. Одно непонятно: это театр, или они действительно такие — даже и не скажешь русским языком какие. Те, что в



пилотках, еще куда ни шло, подневольные сучки... Ха, гляди! Подвернула каблук. Сломала? Нет, пошла дальше, злая как собака. Интересно, а правда, что они носят мужские трусы? Скорей всего, брехня. Он и в сапогах-то их ни разу не встречал, это наши «пэпэже» в кирзе да в портянках поверх чулка. Да что говорить, против немок наши бабы — другой пол. Но немцы бисексуальны, могут и с теми и с другими.

Ну и что! А Гурьян бы смог зато перетравить всех собак на земле, всё, что лает. Немецким овчаркам давал бы медленно действующий яд — пусть помучаются. (Прошел солдат с одной из тех милых собачек, которым в республике Гурьяна полагался мышьячок. Фриц выгуливает Пеца?)

Окончательному решению собачьего вопроса воспрепятствовал патруль: двое солдат и трое полицейских выборочно проверяли документы. «Выборочно»... Физиогномические понятия у немцев и у хохлов не совпадают — останавливали же прохожих по своему благоусмотрению и те и другие. Для Гурьяна проверка была неизбежна. Мы помним чудодейственную силу оперного удостоверения: подписанное собственноручно штадткомиссаром Ансельми и снабженное пометкой: «Kiew-Großoper. Im Dienste des Großdeutschen Reiches» («Киевська Велька Опера на службе у Великой Германской Империи»), оно стоило любой иконки. А все равно, едва услышал Гурьян: «Эй, стой!», как в очах у него померкло, в ушах забил отбойный молоток.

— Кто — я?

— Не-е, Пушкин. А ну, кажи документы!

Но испробовать их магическую силу на блюстителях нового порядка так и не удалось. Одновременно прозвучал другой голос — голос друга:

— Госпотин Гуриан! Госпотин Гуриан! — И негромко, в виде ремарки, что-то было сказано патрульным.

Судя по их реакции, говоривший имел право на такого рода ремарки — не важно, что одет был в гражданское: серо-голубой спортивный пиджак (с партийным значком на лацкане) и того же цвета брюки-гольф, на голове тирольская шляпа. Фервальтунгс-директор Велькой Опе-

ры оберст Майнцер редко носил полковничий мундир, а тут еще погостить приехала фрау Майнцер, и картинка мирной жизни, залитой каникулярным светом, вышла нежной гладью сама собой.

— Хайди, это театральный художник господин Гурьян, большой талант... Госпотин Гуриан, моя шена, познайте.

Познать не выйдет. В унтерменше Гурьяне такие немки рождали тараканий позыв забиться в какую-нибудь щель — поскольку отвращение их к нему непредсказуемо по своим последствиям.

Фрау Майнцер протягивает ему руку в пикейной перчатке и что-то такое говорит. На ней белое в голубой горошек платье («аргус») с пышными пуфами, которые она каждые несколько минут невзначай шипком поправляет — так время от времени пощипывают себе мочки ушей, чтоб придать им свежесть роз.

— Мы стелаль заметшательни экскурсия, мы хотиль в Лавра... Хайди, как называется кирха, где мы были?

— Успенски-катедрале... О, дас вар вундербар!

— Моя шена в восторге, панорама вошьшебни...

— Дизэр анблик, дизэр флюс, — повторяла фрау Майнцер, как заведенная, — словно была детищем гениального Спаланцани. Подле нее господин фервальтунгс-директор отличался прямо-таки трогательным теплокровием: говоря по-русски, он так воодушевлялся, что компенсировал этим недостаточное знание языка, в свою очередь позволявшее скрыть... а вот иди пойми, ум или скудоумие?

Восторги цивилизованных путешественников посреди Киева сорок второго года были дикостью. Им, возвращавшимся с осмотра местных достопримечательностей (одной из которых через несколько дней предстояло взлететь на воздух), нечаянная встреча с Гурьяном, однако, доставила приятное ощущение того, что и здесь уже есть знакомые. Гурьян, сам декоратор, вдруг сделался декорацией чего-то, вдруг оказался нарисованным.

— Да, мать городов, — сказал этот приветливый туземец с рекламного проспекта и, обращаясь к мэм-сагиб, добавил, очевидно призвав на помощь всю свою эрудицию: — Мутер эрбэ... эрдэ...

— Он мил. Может, пригласить его?

Было три часа — немецкий файф-о-клок, и супруги Майнцер, как и положено беззаботным путешественникам, направлялись выпить чашечку кофе и съесть блюдечко торта. Гурьян, на предложение поддержать компанию, всем своим видом изобразил, что польщен невероятно. Когда полковники угощают рядовых тортом, те берут под козырек и набивают себе рот кремом. В действительности Гурьян предпочел бы под благовидным предлогом увильнуть: они направлялись в Konditorei «Шато де флер» — когда даже представить себя входящим в этот бандиторай ему было невмоготу. Как невмоготу кому-то представить себя движущимся по карнизу дома. Бывает страх, с которым здравый смысл ничего не может поделать.

Они шли медленно, наслаждаясь чудесным днем. Для полноты блаженства господину фервальтунгс-директору не хватало только одного: закурить трубку. Что он и сделал. Теперь числитель действительного равнялся знаменателю желаемого — формула абсолютного блаженства.

«Театр или не театр?»

Ну конечно, театр. Все выдавало в Майнцере эту страсть: курение трубки, перверсия. Офицерской форме приличествует стек.

Гурьяна обвевал душистый дым. Сам он не курил, выменивая свои сигаретен-шайны на еду, которой ему катастрофически не хватало. В войну отсутствие вредных привычек кормит.

От запаха трубочного табака ноздри его зашевелились как жабры. У Майнцера была черешневая трубка. Такая же точно хранилась у бабушки в Пушкине: дед Гурьяна, ничем не примечательный петербургский чиновник по фамилии Собинов, курил ее когда-то, еще до наступления эры славных годов. Этому ли совпадению, иному ль чему, например, тому, что дела обстояли не так уж и плохо, Гурьян был обязан минутным умиротворением, давным-давно позабытым.

Хайди Майнцер о чем-то спрашивала Гурьяна — герр фервальтунгс-директор «переводил». Гурьян отвечал — герр фервальтунгс-директор «переводил». Но поскольку кавычки на кавычки дают раскавычивание (как минус на минус дает плюс), видимость разговора была полной. А

что еще нужно рыцарю Мельпомены, в каковые герр Майнцер был посвящен министерством по восточным территориям Альфреда Розенберга?

— Мой шена спрашивал, что вы когда-то слышали о чудо-ребенок Вилли Мейстер, который рисует сразу двумя руками? Он получил *Großer Preis der Berliner Kunstammer*.

— Нет. Я знаю, были сиамские близнецы — целых три сестры, тоже в кунсткамере.

— Дорогая, он советует посмотреть Чехова в местном театре.

— В анатомическом театре их бы разняли.

— Сняли? О, какой шалость! Но есть русский газет, и там есть культурный гид. Что, дорогая?.. Мой шена говорить, что это большой радость, что ваш газет не взорвался.

Тут выясняется, не сразу, конечно — но постепенно даже озеро Лохнесс открывает свои тайны, — так что выясняется худо-бедно, почему в городе столько патрулей: в редакцию газеты кинули бомбу, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

— Эти бандиты провоцировать репрессалии против простых человек. Это ужасно, люди без сердца. Наша армия тоше не мошет слошить руки. Когда люди без сердца, тогда война без правил. А ви что думать, госпотин Гурриан?

Они как раз входили в кафе, герр Майнцер, его фрау супруга и последним Гурьян. Монументальный швейцар в бордовой ливрее держал дверь, гардеробщик спешил принять тирольку из рук господина Майнцера, метрдотель с прилизанными волосиками, разделенными прямым пробором, по-собачьи вилял фалдами, пролагая путь к столику, где трое официантов уже отодвигали стулья.

Türisch: окружить вас на азиатский манер множеством раболепствующих слуг, как бы в оправдание повсеместного варварства.

Типаж: унтершарфюрер Яшке... где он? Еще тут? Уже ушел? Гурьян не в силах поднять глаза. Он смотрит ближним взглядом, чтоб не видеть ничего. А все равно боковое зрение было затянато немецким ломберным сукном. А все равно спиною, затылком — литыми, чугунными — чуешь,

что заарканен всеобщим умыслом против тебя; что будешь опрокинут в бездну, у которой нет ни верха, ни низа; что уже накренился. Сохраняешь неподвижность членов ценою мозгового инсульта. Из последних сил удерживаешься от того, чтобы не обхватить руками столик. Пытаешься вдавить ступни в пол, цепляешься за него пальцами ног. Вскочить? Бежать? Выстрелят, собаки, скажут: убит при попытке к бегству. Нет, даже виду нельзя подавать.

— Госпотин Гуриан, ви не сказали, что ви думать? (Весение голоса: да-да, вот именно, что он думает — он, который видел этих бандитов вблизи, так близко, что знает, как пахнет у каждого изо рта.)

Официант принес отпечатанное по-немецки меню (зато меню было одно на троих). Другой приготовился записывать ответ Гурьяна.

— Торт «Фрюлингс-штиммен»... Дорогая, они пишут, что это традиционный украинский торт.

— Покажи-ка.

— А что хотеть ви, госпотин Гуриан? «Фрюлингс-штиммен»?

— Да, пожалуй, я возьму себе «Фрюлингс-штиммен», — сказала фрау Майнцер, прочитав, что написано в меню.

— Хорошо, драй «Фрюлингс-штиммен». Чай? Кафе? Что это такой?

— Украинский национальный напиток «Ландыш», — отвечает официант и уточняет: — Майблюме.

— Чай, — уверенно сказала фрау Майнцер.

— Ви тоше чай? Три чай.

— Яволь, — и дальше, младшему по званию, сквозь зубы: — Три чая и три «голоса», — и снова: — Яволь.

— На красный террор неизбежен белый террор, — изрек наконец Гурьян.

— Белый террор? Отличный, ви отличный сказали! Хайди, ты слышишь? Белый террор — великолепно! Террор. Но белый. Ага, это и есть «Фрюлингс-штиммен»... «Весени голос»... — Господин фервальтунгс-директор взял вилочку (зато к тарту подавались вилочки) и поддел ею гору крема. Так работник поддевает вилами высоченную гору компоста, груза подводу. — О... советую, шац.

Фрау Майнцер вняла совету.

— О...

Гурьян поднес мини-вилы с удобрением к закрытому рту, скомандовал ему приоткрыться и вывалил все на язык.

— Нежни, совсем как в кафе на Ку-Дамм. Это очень шикарни улица в Берлин... — Вдруг лицо герра Майнцера затрепетало каждой своей черточкой. Так бывает с людьми, собирающимися чихнуть. — Нет... Хайди, посмотри! Это же Пец!.. Госпотин Гуриан, я прошу вас, вы дольшен это посмотреть. Он увидель нас, нюхаль. Бедный животный, ему здесь нельзя. Только гулять с Фрицем на улица. Госпотин Гуриан, ви дольшен, дольшен это посмотреть.

И Гурьян неловко, сбивая взглядом физиономии с соседних столиков, поворачивается к окну. Оттуда на него, разинув пасть, упираясь в стекло передними лапами, смотрела огромная немецкая овчарка — с белым двубортным брюхом.

Они еще изрядно посидели в «Шато де флер», съели все до последней крошки, выпили все до последней капли и расстались, потому что, в конце концов, не бывает встречи без расставания.

— Да, было очень мило, — повторил господин фервальтунгс-директор вслед за женой, которая, присев на корточки, долго целовала в морду верного Печа.

И так же долго за кустами Гурьяна рвало «Весенними голосами», кунстхонигом, черешневым киселем, чаем, булкой. Потом он в изнеможении повалился на землю.

## V

В 2.25 обеденный стол в квартире Лозинина был бел четьрьмя первоэлементами белизны: серебром, фаянсом, хрусталем и полотном. Крахмальные конусы салфеток напоминали ученические гипсы, по-молочному бликовал фаянс, горел пламень клинков, и горел лед бокалов. Все ожидало только одного: команды «заряжай!». В 2.29 Дарья вбежала к Лозинину, держа в руке пуншевый уполовничек

в форме утиной головки, который предназначался для черешневого киселя.

— Иван Борисович! Приехал...

Уже сменивший «хальстух» на галстук, Лозинин быстро надел пиджак и вышел в переднюю. Спустя минуту раздался звонок.

Георг Мюнстер, гауптман Вооруженных Сил Великогерманской Империи, генерал-музик-директор Велькой Оперы.

Он входит в сиянии хромовых голенищ, галифе раздуваются от важности, стек прижат локтем к туловищу, мундир сидит как влитой, над козырьком оплешник кокарды, под козырьком лицо каменного гостя. Во всем этом правдоподобия не больше, чем в черешневой трубке оберста Майнцера.

— Хайль Гитлер!

Так пугают друг друга дети — резким жестом, неожиданным хлопком. Лозинин моргнул и тоже выбросил протуберанец руки.

— Гы-ы-ы! Испугались, а? Я люблю пошутить. Я такой же наци, как и вы. — И сдав Дарье фуражку вместе с «дирижерской палочкой», шутник проследовал в указанную ему дверь, вполне довольный произведенным эффектом. — Живете, как Христос за пазухой, — заметил он Ивану Борисовичу, обводя глазами столовую и задерживаясь взглядом на огромной яркой вазе с фруктами, выполненной в пастозной манере.

— Бурмистров, — назвал хозяин имя художника, Мюнстер же, ослышавшись, сказал — со свойственной ему рубящей с плеча пронизательностью:

— Никаких «геррмюнстеров». Зовут меня Егор Яковлевич. Тут я русский, там немецкий. Ласковый теленок двух маток сосет.

— Я вам завидую, Егор Яковлевич. Быть сыном двух великих культур — это как прожить две жизни.

— За двумя зайцами охотиться — патронов не хватит. Правда, великий заяц у нас только один. Советую об этом всегда помнить.

— Я об этом помню. Смею вас заверить, что всегда. Не забываю ни на одну секунду.

— Но-но! Точите зуб на Великую Германию? Умные люди из двух зол выбирают меньшее. Вы правильно выбрали.

— Егор Яковлевич, что это мы все Жомини да Жомини...

— Жо?.. пардон?

— Это старинная шутка: «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова».

— Ах, о водке...

— Только фигурально выражаясь. Что вы предпочитаете, донское? Крымскую «Массандру»? Пока Грузия не освобождена, мы лишены киндзмараули, мукузани, хванчкары.

— Не беда, я — пивное брюхо. Француз рассказывает, как пьет шампанское из пупка любовницы. Тогда немец спрашивает: «Нельзя ли то же самое, только с пивом?»

Лозинин тонко улыбнулся. Мюнстер посмотрел на него, посмотрел — да как расхохочется:

— Хорошо! Я буду пить то же, что и вы, из той же самой бутылки, а то вы меня еще отравите.

— В таком случае хозяин просит дорогих гостей пожаловать к столу. Дарья Свиридовна! Запрягайте, голубушка, хлопцы кони. — И тут же от двери в направлении кухни ускакала пара ног. — Я могу вам предложить, — доверительно проговорил Лозинин, — вот такую фляжечку. — За стеклянной дверцей виднелось несколько горлышек, залитых сургучом, словно это был подвал гестапо. — «Массандровское» урожая тридцать восьмого года.

Наклейка, почти полностью обернутая вокруг бутылки, целомудренно доходила ей до самого донышка — как юбка на классной даме. Там голубело море, пузырился виноград, зеленел зубчик горы.

Лозинин поднял одну бровь, голос же понизил:

— Плод моих связей в городской управе, — и совсем шепотом: — Бастард.

— И на управу нашлась управа, — сказал Мюнстер. — У Бандеры в Берлине рука, а у Коха в Ровно клыки.

Мюнстер имел в виду соперничество двух параллельных оккупационных ведомств, в результате которого идея



«незалежности» стояла многим ее идеологам самого дорогого, что дается человеку — жизни.

— Меня от этих шаровар тоже воротит, — поспешил согласиться Лозинин, сбивавший с горлышка сургуч над медным листом на паркете перед устьем фигурного изразца печи. Потом он ввинтил штопор в пробку, напрягся до красноты — и со специальным звуком откупорил бутылку. — «Каждый сверчок знай свой горшок», — учили еще в детском саду.

Обтерев салфеткой коричневую крошку, он немного отлил себе, пригубил и, поиграв бровями, наполнил фужеры на две трети.

— За великую... — он сделал паузу, — оперу.

— За великую оперу, — сказал Мюнстер и не спеша вылил за нижнюю губу жидкий рубин, фальшивый или настоящий — этого не узнает никто.

— И ведь никто их хуторской гордости не ранит, — продолжал Лозинин. — Сами же всегда бежали со своего корабля, а кто плавать не умеет, тому, конечно... Сейчас мы с Прусаком, Львом Николаевичем, ставим Лысенка...

При упоминании тезки великого писателя земли русской лицо Мюнстера расплылось в улыбке: хормейстер Пруsak метил в шеф-дирижеры, да проворонил: послал Бог ему гауптмана Мюнстера.

На большом блюде Дарья внесла поджаренный молодой сыр в обрамлении пунцовых лент болгарского перца, внесла нарезанный крупными ломтями пшеничный хлеб, ноздреватый, словно сам себя вдыхавший, и масло, только что с маслобойки, — оно было не в белой сервизной масленке, а в терракотовой криночке. А еще — много маленьких тарелочек с разносолами, зелень. По какому-то там заходу появились горячие хачапури, не сухие и плоские, а пышные, лоснящиеся. Лозинин оторвал прямо перстами кусок, отрезал сулгуни, оказавшийся сливочно-желтым внутри.

— Ага, это то, что ест Сталин, — сказал Мюнстер, заложил за ворот салфетку и принялся есть, запивая вином, то одно, то другое, то третье.

— Это зовется лобио. И простую крестьянскую фасоль наша Дарья Искусница может вознести на уровень высочайшей поэзии.

Польщенная Дарья не поскупилась на цитату из нее.

— Дарья Свиридовна, побойтесь Бога, еще будет сациви, еще будет... Егор Яковлевич лишь у подножья Кавказских гор.

Мюнстер отправил в рот ложечку лобио, сопроводив ее хрустящей корочкой белого хлеба.

— Немудрено, что грузины плохо воюют. Так есть нельзя — если хочешь победить. Почему немецкая армия непобедима? Немец-перец-колбаса, кислая капуста, съел мышонка без хвоста и сказал, что вкусно, — вот почему. Он был раньше хормейстером, что ли, — этот Прусак?

— Кажется, да. Когда все только организовывалось, он подал докладную в отдел пропаганды об украинизации репертуара. Знаете, как будет по-украински: пора, красавица, проснись? Уже час, красуня, прокыдайсь.

Но каждый шутит по-своему, не свои же шутки — не смешны.

— Генерал-мужик-директор! — покатывался со смеху Мюнстер, воскрешая каламбур еще времен Направника. — Поют на языке победителей, дурак! Я собираюсь Девятой симфонией встретить Новый год, тысяча девятьсот сорок третий. «О братья, не нужно печали!» К тому времени это будет уместно. Наши герои, вскормленные бесхвостыми мышами, разобьют большевистскую орду.

— Ваши речи да Богу в уши, Егор Яковлевич. Победа добра над злом, света над тьмой...

— Гитлера над Сталиным, гы-ы! А это что?

— Это — рыбное сациви.

— Рыба?

— Особым способом приготовленная. В ореховом соусе, очищенная от костей. Собственно, здесь два сорта рыбы. Позвольте? — Лозинин сам положил гостю сациви — серебряной лопаткой в виде русалки с великокняжеским вензелем взамен хвоста. — Я бы прямо хлебом вымакивал этот соус, вот так. Лучшая из ложек — хлеб.

Мюнстер пробует. И вдруг как ударит кулаком по столу:

— Товарищ Лозинин!.. — После паузы: — Но я-то знаю, кто вы на самом деле. Вы пытаетесь меня завербовать в гепеу. Мне так вкусно, что считайте, это вам удалось.

— Приятно слышать. Полковника Майнцера я уже завербовал, прямо с супругой.

— Этого вегетария? Он даже рыбы не ест.

— Ест другое.

Дарья как раз внесла съедобнейшие в мире серсо: лакированный иссиня-черный ободок, а в нем тающая под языком золотистая вкуснятина. «Обезжирнии...»

— Вы имеете что-то против вегетарианцев?

— В цирке Кроне, где я работал капельмейстером, — отвечал Мюнстер, уписывая сей баклажан-вульгарис, — был укротитель морских свинок, он выступал только под трауэрмарш из «Гибели богов». И артисты у него в труппе носили имена: Зигфрид, Вотан, Брунгильда.

— Это притча? Он что же, много о себе воображает — герр Майнцер?

— Киевская опера открылась не по приказу Розенберга, а по приказу германского командования и находится под личным покровительством штадткомиссара Ансельми. Поэтому прежде всего мы должны брать во внимание интересы и вкусы немецких солдат. То, что в репертуаре у нас, кроме Бизе, Верди и Чайковского, будет этот самый Лысенко, объясняется уступкой украинскому лобби в Берлине...

— «Тарас Бульба» инсценирован с учетом завоеваний национал-социалистической революции. Мне художник только что принес эскизы некоторых костюмов. Остроумно...

Мюнстер пропустил это мимо ушей.

— А победами в этой войне мы обязаны меньше всего министерству восточных земель. Надо подумать, черт возьми, и о тех, кто стреляет не из бумажных ружей.

— Это так. У нас нет немецкого репертуара. Девятая Бетховена — когда еще это будет. И потом, мы же опера. Где «Волшебная флейта»? Где «Фиделио»? «Фиделио» — это вообще лицо оперного театра. Нам надо учиться петь по-немецки.

— Да! Да! — горячо поддержал Мюнстер.

Горячо, на подходе харчо — Лозинин удивился: гибтс айн проблем?

Лозинин встречал среди немцев «либералов», вроде вкрадчивого Майнцера, который с придыханием произносит: «Чехов... Достоевский... Дама-пик...» Не верьте! К нему вполне применимо сказанное Томасом Манном об Иоахиме Цимсене: «Изучал русский язык, предполагая, что знание русского ему пригодится на службе».

Встречал Лозинин большевиков от национал-социализма, для которых мерой всех вещей была целесообразность: им понятней идея создания исследовательского центра по оживлению мошей Юрия Долгорукого или отправка товарными составами украинского чернозема в люнебургскую степь, чем та, казалось бы, самоочевидная истина — не укладывавшаяся, однако, в рамки целесообразности — что пленных надо кормить.

Наконец встречал Лозинин и антифашистов — даже не тайных, по меркам НКВД. По их словам, Гитлер изначально оказался в геополитической ловушке. Он не мог отречься от немецких территорий на востоке, для чего был вынужден пойти на создание генерал-губернаторства, что означало неизбежную войну на западе, а та в свою очередь развязывала руки Сталину, обрекая Германию на превентивный удар. «Ибо, — повторяли они официальную точку зрения, — есть все данные полагать, что примерно в августе 1941 года Красная армия, уже с весны стянутая к германским границам, должна была моторизованной лавиной залить Европу. Решение Адольфа Гитлера, отдавшего 22 июня приказ о наступлении на Восточном фронте, предупредило преступные замыслы большевиков. Красная армия, это орудие порабощения Европы, была отброшена на тысячу километров от германо-советских границ» (конец цитаты, здесь — из передовицы берлинской газеты «Новое слово» от 30.1.44). А поскольку, продолжали антифашисты, приход Гитлера к власти был обусловлен этим безумным, безумным Версальским миром, то разрубить роковую цепь предопределенностей возможно лишь волевым усилием, наподобие имевшего место девятого ноября тридцать девятого года.

Но ни в одной из вышеперечисленных категорий, равно как и среди многочисленных их разновидностей, Лозинину не встречались убежденные противники исполнения Моцарта или Вагнера на языке оригинала.

Однако горячо харчо. Настолько, что, разлитое в тарелки, оно заставляло лишь трепетать крылья носа, откуда ложка исследовала его многообещающие глубины.

— Восхитительный аромат...

— Ноги коня Розы.

У работавших в цирке Кроне был такой «виц». Едет в берлинском метро cowboy. Рядом с ним невозможно находиться. За плечами у него рюкзак. «На целом свете, — говорит он, — у меня был один-единственный друг, конь Роза. Когда конь Роза умер, я отрезал у него ноги, и теперь они всегда со мной». — «А, так это пахнут ноги коня Розы!» — закричали все. «Нет, это пахнут мои ноги».

— Что, не смешно? А в цирке Кроне было не так уж и весело, должен вам сказать.

Венценосное серебро долго не давало харчо остыть. И Лозинин и Мюнстер одинаково подносили ложку ко рту: не пароходиком, на миг всплывавшим в воротики шлюза, а бочком — по-крестьянски и по-господски одновременно.

— Я не понимаю, Егор Яковлевич. Нынче в Киеве немецкому языку зеленая улица. Все упирается в то, чтобы выучить текст.

И тут — ложка за ложкой — выясняется, что Мюнстер хотел выписать одного юношу, до недавнего времени изучавшего историю театра в Майнце, а теперь взамен стражи на Рейне несущего стражу на Волге: этот будущий историк искусств, как никто другой, мог бы поставить здешним певцам произношение. Однако он имеет несчастье доводиться Мюнстеру родным племянником, он сын его сестры Елены, в замужестве Тальберг. Герр фервальтунгс-директор, как ищейка, все разнюхал и подал рапорт Ансельми, обвинив Мюнстера в nepoтизме. Ничего, этот «пец» запомит, что сам отправил на родину вагон карельской березы, о чем стараниями Мюнстера ему скоро напомнят.

Когда ложка лязгнула о донышко, гостю... рыгнулось. Нет, негромко. При этом подпрыгнули брови, как бы демонстративно вопрошая: не пора ли остановиться?

Между тем Дарья переменяла посуду, поставив перед каждым прибором по соуснице, из которой воспарял, ввинчиваясь в ноздри, аппетитнейший чесночный дух. Затем на середину стола легла толстая деревянная доска с разложенными на ней цыплятами «табака». Лозинин пояснил, что грузины птицу едят руками, кропя маслянисто-прозрачным соусом поджаристые кусочки и заедая их sprysnutymi уксусом колечками лука.

— Перед этим грех не опрокинуть по рюмочке. Это снимает тяжесть и позволяет изыскать ресурс. А вы что скажете, Дарья Свиридовна?

Вмиг появились две граненые стопки на ножках — среди монограмм и поющих венецианских бокалов этикие вострушки из народа. А следом и мужиковатый штоф неровного толстого стекла, внутри которого голубело глубокое холодное озеро.

— Дарья Свиридовна, что пил Иберия? Она ведь служила в Тифлисе не у кого-нибудь — у Нестора Иберия, наркома внутренних дел... ваше драгоценнейшее!

Они чокнулись.

— Чиста, как первая любовь.

Мюнстер отвечал не сразу — и то больше движениями лицевых мышц.

— Градусов шестьдесят пять будет. Народное творчество.

Мюнстер кивнул и, искупав в соуснице немного белой древесинки, пригревшей под крылышком, деловито отправил ее в рот.

Дарья, осмелевшая после выпитой — пусть и не ею — горилки, припомнила, как угощали одного иностранного дирижера. Он тогда только-только поселился в Тбилиси, и начальство наперебой звало его в гости, оказывало гостеприимство. А он был старый и плохо ел... как же его звали? Оскар... Оскар... а фамилии не помнит. Но тоже знаменитый дирижер и тоже из Германии.

Лозинин знал, о ком речь, и сидел с непроницаемым лицом.

— Писали, что Сталин всех своих сородичей в Грузии — пэнг! пэнг! пэнг! — Мюнстер трижды взмахнул ножкой, с которой потом зубами сорвал золотисто-розовый чулочек (а не хромовый сапожок).

— Про сородичей не знаю, а министров у себя в Грузии перестрелял всех. Дарье моей крупно повезло: Иберия арестовали летом на даче, когда она ездила к сестре в Житомир. Два года бедная пряталась и теперь в немцах души не чаёт.

Съев лакомую шкварку и закусив тонким колечком лука, Мюнстер промокнул салфеткой лоснящиеся губы.

— Еще по одной, Егор Яковлевич?

— Нет-нет, для моих немецких мозгов достаточно, я же не канатоходец, черт возьми!

— Может быть, благословенной лозы?

— Лоза... Лозинин... Лозы? Пожалуй. — Он отпил масандровского. — Сладко умереть за отечество. — Отпил еще и презрительно прищурился. — А кому это горько, те пьют свои...

— Ворошиловские сто грамм, — подсказал Лозинин.

— Вот-вот...

Мюнстера как-то внезапно развезло. Он извинился, встал из-за стола и вышел — и вдруг вернулся.

— Не трогать! — указал на недоеденного цыпленка — и тогда уж скрылся надолго.

«Лабух, — подумал Лозинин. — Лабух в волчьей шкуре. Вот и суди по первому впечатлению. Майнцер его сожрет, даром что вегетарианец. Полный нейтралитет, Иван Борисыч. Швейцария духа». Он криво усмехнулся: *Швейцария брюха*.

Мюнстер знал, что говорит. Вернувшись, он доел то, что оставалось у него в тарелке, — правда, пить больше не пил. Садясь, сказал: «Извиняюсь» — и шелкнул каблуками.

— Думает, это тайна, что у него дома парижская антикварная лавка. — Мюнстера занимало сейчас только одно. — У него полным-полно и этих, — постучал вилкой по стеклу толщиной с оболочку мыльного пузыря (Лозинин застыл), — и этих, — кивок на Бурмистрова («геррмюнстера»), — и вообще всего этого, — подразумевался интерьер лозининской квартиры в целом: старинная бронза, китай-

ские вазы, мебель, ковры, разные безделушки и т.п. — Откуда? От верблюда.

От верблюда, которому в Бердичеве стригут яйца. Лозинину не по душе эта тема: потом иди доказывай, что ты не верблюд. Он-то все приобретал уже с рук, брошенных квартир не грабил — что являлось покушением на прерогативу рейха и потому нещадно каралось.

— Известно, — продолжал Мюнстер, — опись делал его денщик, а внизу дожидался грузовик. Такому вору доверить «гранд опера» в Киеве — значит, половины люстр недосчитаться... и занавеса в придачу, гы-ы-ы! гы-ы!

Нет, Лозинину был положительно неприятен разговор о разграбленных квартирах, хотя, подчеркиваем, он лично все покупал. Грехи за ним водились иные: мурлыча себе под нос «Любви все возрасты покорны», он разумел *свою* любовь, которой покорны все возрасты, включая самый нежный, в косичках и белых фартучках, тэк-с. Но в чем не было его греха — в том, что многие киевские квартиры сделались добычей «тупой бессмысленной толпы», каковую добычу эта толпа потом за копейки пропивала. И все же майнцеровские слабости представлялись ему — милее? нет — симпатичней? нет — сподручней!.. мюнстеровских угроз. Правда, дирижировать «Фиделио» будет не Майнцер, а Мюнстер. Если только не Прусак. Так или иначе, наша задача — по мере сил дрейфовать в нейтральных водах.

Как пьянеют на глазах, так гость на глазах трезвел. Как меняют затекшую руку, так хозяин сменил тему. Симметрия полная. Конечно же, необходимо учиться петь по-немецки, а заодно и говорить. Оказывается, при театре вот-вот начнут действовать шпрахкурсы и те же учителя, которые обучают фольксдейчей, будут обучать артистов.

— Сейчас появилась возможность поработать в Германии, надо пройти отбор. Многие этим бредят.

— Бредят больные. На здоровых будут бреднем ходить.

От своего каламбура Мюнстер пришел в восторг. Сперва бабахнул обычным своим фрикативным «гы-ы-ы-ы!», потом — верно, мысленным оком узрев, как это будет, — стал бить себя по коленкам, стучать каблуками:



дескать, и рад перестать — не могу. Он наполовину уже сполз со стула, по лицу текли слезы.

Лозинин терпеливо ждал, когда это безобразие закончится. Но морды, которые при этом строил Мюнстер, выглядели до того кретинскими, что не расхохотаться, видя их, было невозможно. Лозинин прыснул. Хохот разбирал его все сильнее. В конце концов оба корчились от смеха так, что кисель из чашек выплескивался на скатерть.

О киселях. У Лозинина мелькнула было мысль: не потчевать ли Мюнстера тем, другим Дарьиным десертом? Нет, рискованно. Протестант.

## VI

«Вечерка» неудавшийся бандитский налет расписывала и так и этак, публиковала из номера в номер письма читателей к «дорогой редакции», а то и лично к «глубокоуважаемому господину Скоробогатову». И мусолилось сие, покуда правдоподобие не было вымыто до той степени хрупкости, когда чуть что — и перелом.

— Все, инцидент исчерпан, — сказал Скоробогатов. — А кто старое помянет, тому... — Он потряс палкой — не иначе как вслед пустившемуся наутек домовому.

Скоробогатов, тридцатилетний мужчина с болезненно гипертрофированным тазом, тоже носил обувь цвета отборной полтавской черешни, только ортопедическую. Когда Паня представляла себе, что красно-коричневые копыта Скоробогатова повторяют форму его пяток, ей делалось страшно за его жену.

Летом однообразие сменяющих друг друга дней, имеваемое повседневностью, не тяготит, даже наоборот, оно дышит оптимизмом. А Паня была по натуре оптимист, с ее оптимизмом да с ее внешностью только в кино сниматься. Она так и жила — под воображаемое стрекотанье камеры. Каждое ее движение, слово, мысль — все находилось в фокусе. Команда «съемка!» раздалась в момент ее рождения, и до сих пор не прозвучало «стоп». Горнист-будильник, водные процедуры, огородами в газету, фантазируя дорóгой приятное, Нечипуренко, плетушаяся от бу-

лочной за нею... Чем не начало веселой комедии с Паней в главной роли?

Как-то утром, насмотревшись на движущиеся по тротуару пешки, Паня от нечего делать взяла со стола сигнал. На первой полосе в центре, в рамочке, был помещен стих:

Еврейским слухам вы не верьте,  
Что вас колоть будут в плену.  
Немцы — герои, а не черти,  
Они спасли нашу страну.

Бойцы наземных войск и флота,  
Вас в пропасть шлет грузинский пень,  
Я, делегат всего народа,  
Вас призываю сдать в плен.

*В. Шестопал, слесарь-сантехник*

«Ну, это еще по-божески», — подумала Паня, когда прочла набранное ниже жирным шрифтом: «Запретные часы хождения по улицам. На август устанавливаются следующие запретные часы: с 22 часов вечера до 3 часов 30 минут утра». После взрыва в Лавре поговаривали, что шперштунде сделают с восьмью. Так... «Новости городской управы» можно не читать. Это, конечно, страшно важно, что при городской управе будет действовать страховой отдел или что комитет взаимопомощи расширяет свою работу.

Она отыскала глазами «Уголок Настасьи Филипповны»:

«Для тех, у кого нет или мало материи, я советую сшить или переделать себе не платье, а очень теперь модную тунику. Туники (длинные блузки) очень распространены. Их можно носить не только с шелковой, но и с шерстяной юбкой, а главное, на них идет меньше материи, чем на платье. Туники теперь делают прямыми или с широкой баской с годэ, начинающимися от талии. Нарядные туники делают из ламэ, бархата, блестящего шелка».

Мама права, надо всегда быть в курсе. А это что за мистика? «Исчезновение полутора миллионов поляков в Советском Союзе». Кого это интересует. Не маленькие дети, отыщутся. Скоробогатов вечно печатает всякую чепуху.

Ага, телеграммы из-за границы: «Тунисский Бей сформировал правительство народного единства...», «Чилийский президент оправдывается...», «Еще раз о плане Бевериджа...», «Итальянские генералы Страделла, Галуппи, Гретри и Корелли награждены высокими итальянскими знаками отличия...».

Вот должно быть интересное сообщение:

«Сенсация. Парижская газета «Матэн» помещает отчет о состоявшемся в Париже сенсационном докладе бывшего французского депутата Филиппа Анрио...»

При слове «Париж» у Пани замирает сердце.

«И в эту минуту, — читает она, — в кабинете польского посла в Париже раздался звонок телефона. Говорит громкий, разносящийся по всему кабинету голос, слышно каждое слово: “Как так? Франция еще не объявила войну? Это невероятно. Я тотчас вызову Даладье и скажу ему, что, если он не примет немедленного решения, Франция будет обещана”».

Как у Дюма! «Франция будет обещана...» Паня на все лады повторяет: «Франция — будет — обещана». Вот это да! Это вам не «безуспешная атака красных в районе Маныча». Маныч — морда просит кирпича... Тоска зеленая. Ладно, что на культурном фронте? «Гастроли оперного артиста Н. К. Печковского в Остланде. Известный русский оперный артист бывшего Мариинского театра в Петербурге Н. К. Печковский, благополучно выбравшийся из советского Ленинграда, дал ряд концертов в Риге, Таллине, Нарве и других городах Остланда. Все концерты прошли с большим успехом. В ноябре талантливого артиста собирается посетить Керчь, Симферополь и Одессу».

Культурная жизнь бьет ключом и в Керчи, и в Симферополе, и в Одессе — где угодно, только не у них в Киеве.

И вдруг!.. Паня глазам своим не поверила. «Вечер-встреча. В понедельник 6 июля в зале киевской городской управы состоится вечер-встреча с прославленным зарубежным писателем, специальным корреспондентом берлинской газеты «Новое слово» по Украине, Транснистрии и Крыму, Николаем Февром. Начало в 17 часов. Входная плата 10 карбованцев».

Паня зажмурилась. Это было такое чувство — ну как если б сбылось величайшее упование всей ее жизни. Николай Февр, написавший «Солнце восходит на западе» — гениальнейший роман — приезжает из Берлина. Наверное, в «Европейской» остановится.

Она открыла глаза и перечитала. Нет, не сон. Снова закрыла. В понедельник... понедельник — день тяжелый... завтра, завтра, не сегодня...

Хлопнула дверь, послышались голоса. Паня оставалась ко всему безучастной.

— Панюша, тебе что, плохо?

Паня узнала голос Лакиевич.

«Сказать им? Они и имени-то такого не знают».

— Аполлинария Григорьевна, а в Киев приезжает писатель Николай Февр. Из Берлина.

Лакиевич что-то пробормотала типа «приезжает и хорошо».

Откуда им знать... Нет, гляди-ка, слышали звон, одна тихонько говорит другой:

— Это у него — как мать и дочь с любовником в одной кровати забавляются.

«Ну что ты мелешь, — хотелось сказать Пане. — Ты же не читала. Вот я...» Но это значило выдать себя — тем более что Скоробогатов уже появился. Он стоял в дверях, опершись обеими руками на палку и отдуваясь. Позади было многотрудное восхождение калеки на Эльбрус. Небылицы о гениальном романе он слушал с видом человека посвященного, но давшего обет молчания.

— А вы читали, Виталий Арсеньевич?

— Читал.

Все взоры обратились на него.

— И что вы скажете?

— Что не всем из присутствующих я бы рекомендовал читать эту книгу. Однако Николай Февр не только большой, хотя и спорный писатель, он видный в эмиграции публицист. Так что встреча с ним сулит много интересного.

— Он уже в Киеве? — полюбопытствовал кто-то.

— Да.

Тогда Паня отважилась спросить:

— А где он остановился?

— У меня.

Никто не скажет, что у машинисток работа — не бей лежачего. Но по субботам даже они били баклуши. Паня давно кончила статью под названием «Восстановление рыболовного промысла на Днестре» («В результате четкого взаимодействия сельскохозяйственного и продовольственного секторов при генеральном комиссаре гор. Киева созданы основные предпосылки для успешного развития рыболовного промысла на Днестре»). День был жаркий, крыша раскалилась. В бездеятельности время неподвижно, как воздух в редакции. Отчасти работа заменяла отсутствующую вентиляционную систему.

Паня, хотя сама и не курила (мама тоже не курила), со всеми бегала в «курилку» — на этаж ниже, к наборным кассам.

— Ну что, дивчата, выпить нема? — шутили ручные наборщицы Кóмар и Макарёнко. Помимо профессии, их спаивало еще и то, что у обоих мужья были на флоте. — Тогда закурим.

Рассказывались всякие страсти: купили на Сенном колбасы, домой принесли, стали есть, а там — ноготь. Вообще жизнь вернулась к тому естественному состоянию, когда все происходило на базарах.

— У нас на Туровском в четверг две бабы сцепились. И за волосы, и по земле катаются. Бесплатное кино. Полиции тоже стоят, глядят. Ну, конечно, забрали их после. В полиции они друг на дружку все валить стали. Кончилось тем, что надели им боксерские перчатки, место отгородили: божий суд, бейтесь. Перчатки же эти, сами понимаете: ни царапаться, ни за волосы таскать... Зато тяжелые, как бомбовозы. Без привычки в них и руками долго не поможешь. Ну, начали. Полиции от смеха корчатся. Потом явился офицер, немец, обозвал всех кретинскими мордами и велел это прекратить. Тогда полиция бабам говорит: «Ах, вы такие? Катитесь, чтоб духу вашего здесь не было!» А время — после одиннадцати, на патруль нарваться ничего не стоит. Вот идут они, трясутся обе, — закончили ручные свой рассказ.

Такое за полициями водилось, продержаться до полуночи, а после сказать: проваливай на все четыре. Это называлось «послать в штрафбат».

В обед был суп со шрапнелью, гороховое пюре, а на третье — «немецкая радость» («кюнстлихе лимонаде мит кюнстлихем зюс»). «Вечерку» прикрепили к столовой при Макарьевской церкви, где питалась последняя голь: старики, калеки, юроды. Слепые лирники со всей округи. Тогда как «Прапор» был на привилегированном положении. Их приравняли к управским, делегация от них ежедневно направлялась с судками на «Молдаванку» — как в сороковом окрестили Бессарабку. Там открылась кухмистерская, напрямую связанная с управой. Гордое слово «незалежность» все еще озаряло лица обедавших в ней — хоть и отблеском прежнего сияния, когда несбыточное прикидывалось сбывшимся. В ответ как бы звучало жалобное «Бог для всех один» — тех, кому Бессарабка не полагалась. Звучало разочарованием в Боге.

Сегодня в раздачу ходило «машининное отделение», машинистки. Когда не видишь этого отвратительного помойного заведения, и — что еще важнее — не обоняешь, и не думаешь, что «прапорщикам» дают еще кусочек маслица, тогда, может, оно и терпимо. Но где взять такого слепого, безносого и в придачу безмозглого? Нет, машинистки позвякивали порожними суденышками — и страдали; возвращались с налитым и наложенным в них — и еще хуже прежнего страдали. Больше других мучилась язычница Линева, даже в бедственном положении не допускавшая мысли, что Бог для всех один. Меньше других мучилась Паня. «Либо ты ублажаешь свое тело, либо твое тело ублажает тебя». И Паня свой выбор сделала.

Мама говорит много такого, чего другой не скажет. Когда над бывшим Верховным Советом был поднят флаг свободной Украины и Киев ликовал, мама сказала: «Все зависит от тебя. Нет власти, которая отдает предпочтение уродливым женщинам перед красивыми». В те дни Паня предалась всеобщему настроению. Две сшитые ленточки, повязанные чуть выше локотка, для киевлян тогда, двадцать первого утром, значили то же, что и триколор на шляпах парижан в день взятия Бастилии. Разгром бесхоз-

ных витрин и магазинов был как проводы старого и встреча нового, в битье стекол чудился звон сдвигаемых бокалов. То, что прибиралось к рукам, воспринималось как аванс в счет феерического будущего, предчувствие которого охватило всех. По Крещатику гуляли толпы, правила уличного движения отменялись. Пожилые петлюровцы христосовались с бывшими читателями «Киевлянина». «Христос воскресе, родненькие. Нынче какое у нас, двадцать первое?» — «Воистину, сыне, воистину».

Хотя отсчет следовало вести с девятнадцатого. В тот день только слепцам была неясна ситуация: танки, девятнадцатого появившиеся на улицах, были уже *не те* танки.

Паня вместе со всеми глядела на проходящие через город войска, и рука сама собой начинала махать им. Кто думал тогда о взрывах, о полицейском часе, о виселицах на Думской — о том, что за восемьдесят девятым годом рано или поздно наступает год девяносто третий. Вот идут молодцы егеря, вот идут старики гренадеры. Конечно, жаль, что не французы, но уж юнкерам они точно не уступят. Недаром немцев мама вспоминала как «образчик корректности и порядочности». К тому же — как больших ценителей искусства.

— Мама! — закричала Паня с порога удивленно и радостно.

Мама — дома. Валя играла что-то безумно знакомое, проворные пальчики журчали мельничным ручьем.

— Ах, мама...

Она сыграла еще несколько тактов и резко оборвала. Обернулась к Пане. В огромных глазах, по обыкновению, мольба, переходящая в безбрежное счастье. (Гурьян, тот бы сразу припомнил зеленоватый рефлекс на подбородке: «Кружок «Зеленая Лампа» Ван-Донгена».)

— У меня сногшибательная новость, к нам приехал Февр!

Первое, что пришло Вале в голову, это книга «Нравы насекомых», которая, заложенная, всегда лежала на крышке рояля у ее учительницы Феодоры Гореславовны. Второе — унылого вида животное в азбуке Веселовского против кудрявой буквы З: «Зубр».

— Это великий писатель, мама. Он живет в Берлине.

— А у меня тоже новость, — сказала Валечка, развернувшись на крутящейся табуретке и коленями сжав кисти рук. — Петр Степанович будет выступать... — она не сразу сказала где, — в Берлине! А знаешь, кто будет ему аккомпанировать?

— Ты?!

— Но, Паня, это под большим секретом. Никому ни слова. Пока что мы приглашены к Ансельми.

— Штадткомиссару...

— Да, солнышко, к штадткомиссару Ансельми. Это будет маленький, как они говорят, «лидерабенд».

— Это тоже тайна?

— Ну, как тебе сказать. Лучше не афишировать. Мир полон завистников. Пусть люди думают, что им лучше, чем тебе. Ненамного — чуть-чуть.

— В понедельник в пять состоится вечер-встреча с Февром. Не хочешь пойти? Это в управе.

— Нет, доченька. В понедельник я встречаюсь с Петром Степановичем, будем репетировать до глубокой ночи.

Паня помолчала.

— Знаешь, мама, вот ты едешь в Берлин. Февр, наоборот, приехал из Берлина. И вахтера того больше нет, однорукого. Ах, мама... буйно зацвела головушка июня!

## VII

— Думку думкае.

— Не думкае, а гадае, думкопф.

Впервые за всю историю своего существования опера работала летом. Давалось как минимум три представления в неделю. На этой неделе шли «Травиата», «Корневильски дзвоны» и «Пиковая дама». Лозинин не пропустил ни одного спектакля. Проходя в антракте мимо того места, где раздался исторический выстрел, он приостанавливался, обводил взглядом галерку в поисках Паустовского и шел дальше. Он был в смокинге. По-булгаковски поблескивал шелк лацканов и лак туфель. Серебряная запонка пристегивала воротничок с загнутыми уголками. Это было ребя-



чеством: он немножко играл в Столыпина — подыгрывал новейшим бомбистам.

Понедельник — день тяжелый, так лентяи говорят — имея в виду себя, но никак не артистов Великой Оперы. Последняя, верней, последние спокон веку по понедельникам вкушали субботний покой, даже «ведомы подии» оказались бессильны что-либо изменить: у артистов суббота начинается в понедельник. Словом, ничто не мешало Лозинину пойти на вечер этого, как он слышал, нового Арцыбашева — наверняка там соберется весь Киев и смазливых мордочек будет, что румяных яблочек.

Лозинин жил в двух шагах от оперы, в Верхнеподвальном, управа размещалась на Бибиковском бульваре, стенка в стенку с гестапо.

Будешь помнить здание  
Возле горуправы... —

писала Оксана Пидвода. Когда предыдущего городского голову уводили в гестапо, то выглядело это, как если б его препровождали из Вестминстера в Тауэр на сцене шекспировского театра (и, надо сказать, бедняга Охримюк исполнил роль герцога Кларенса до конца).

Прав оказался Лозинин — а не Паня, о Февре краем уха слышали все: в зале яблоку было негде упасть. Передние ряды занимали именитые гости. Лозинин, довольный, что в последнюю минуту отказался от идеи надеть шляпу и взять трость, сидел рядом с четой Богатырчуков; он представил себе, как левой рукой приподымает шляпу, правой касается пальцев Богатырчукчихи, почтительно склоняясь над ними, при этом с жонглерской ловкостью, одним лишь вращательным движением носка, удерживает трость в вертикальном положении — на языке циркачей это называлось «замешкать у гардероба».

— Какие намечаются интересные постановки? — спросил у Лозинина знаменитый гроссмейстер. Врач по профессии, он ставил на животных опыты по омолаживанию и этим сумел заинтересовать дряхлеющую Валгаллу.

— Готовится принципиально новая версия «Тараса Бульбы»...

Богатырчук сделался как глухонемой. Это могло быть выражением предельной неучтивости. Или наоборот, что еще хуже, запредельной учтивости. Но только не одобрения.

— ...ну и, конечно, необходимо расширять кругозор нашего слушателя во всем, что касается немецкого оперного наследия. Кто помнит, когда у нас ставился в последний раз «Фиделио».

Богатырчук помнил.

— Это было в тридцать четвертом году. Приезжал такой Пискатор, из немецких эмигрантов. Адепт левого искусства, которое тогда было в моде. Вместо традиционных декораций квадраты, треугольники. Занавес, как дамская прическа, — книзу вширь, сверху валик. Дон Пизарро был одет «желтым фазаном», со свастикой на рукаве.

— Я, к сожалению, работал тогда в Кременчуге, — сказал Лозинин сухо. — В Советском Союзе нам были недоступны по большому счету достижения западной культуры, все отпускалось в гомеопатических дозах. К примеру, Февр — что мы о нем знаем?

И снова Богатырчук уже порывался что-то ответить — как его обскакали на хромой кобылке. Хромой — в буквальном смысле слова. Скоробогатов взошел на эстраду, переваливаясь с одного красно-коричневого котурна на другой и при каждом движении налегая на палку всем корпусом. Лозинин лишний раз порадовался, что явился без трости. А то б узрел себя в кривом зеркале.

— Дорогие друзья, — начал Скоробогатов; он был уродлив не только телом, но и лицом: крошечные, едва прорезавшиеся глазки дауна, под поросычьим пятачком пробивается квадратик щетины, свидетельствующий о лояльности новому порядку. Ну, а душа... душа человеческая — потемки. — Дорогие друзья русской литературы, — и, помолчав, прибавил: — Друзья русского языка. Прекрасно, что вас так много. Когда в последней битве решается судьба Европы, и в том числе нашего отечества, разве может русская словесность оставаться безучастной к великим свершениям и безвольно ждать их исхода, даже если он со всей очевидностью предрешен?

Богатырчук больше не лез со своими ответами, он одобрительно слушал.

— Анна Радлова, большой русский поэт и большая моя подруга, любила повторять: у нас украли мир. Да, нас всех втиснули в коммуналку, окружили ее проволокой и сказали: вот так надо жить. И мы жили, не ведая стыда, не ведая жалости ни к себе, ни к другим. Во мраке. С лампочкой Ильича. А там, за колючей проволокой, росли цветы, сияло солнце. Рейн, Луара, Арно несли отражения дворцов и соборов... Что видели мы? Что знали? Как скупомыслились нам знания о мире, о духовных исканиях Запада! Нас загоняли в Азию, делали из нас вторую орду, чтобы пугать ею просвещенные народы. Судя по некоторым признакам, они своего добились. Теперь первоочередная наша задача — доказать Европе, что это не так, что подлинная Россия не имеет ничего общего со сталинским чудовищем.

Раздались аплодисменты. Сперва громко и настойчиво аплодировал один только Богатырчук. Лозинину не оставалось ничего другого, как вяло вторить его могучим хлопкам. И лежавший было в штиле зал уже дружно рукоплескал у них за спиной.

— Однако меньше всего знали мы, может быть, о самом важном для нас — о русской эмиграции. Ее попросту не существовало, oprичь кучки злобных диверсантов. В лучшем, в либеральнейшем случае к ним подверстывалось несколько опустившихся, снедаемых тоской по быломu гнилых интеллигентов. И это в то время, когда русская Прага, русский Берлин, русский Париж, русский Белград держали на своих плечах астральное тело России. И не только хранили в неприкосновенности для будущих поколений великое наследие, но и активно создавали новое, возводя его на том священном фундаменте, которого нас бессовестно лишили. Но пробил час, встретились две России, и одна взглянула в глаза другой... Я счастлив приветствовать от вашего лица Николая Николаевича Февра. Навряд ли многие из нас до известных событий могли похвастаться тем, что слышали имя Николая Николаевича, не говоря уж о том, что в условиях строжайшей маскировки читали его произведения. Единицы.

Меньше единицы. Между тем как Николай Николаевич по праву занимает выдающееся место в литературе русского зарубежья, наряду с Мережковским, Гиппиус, Ильиным, Шмелевым. Известно, что музы молчат, когда говорят пушки. Но в такие минуты, минуты роковые, поэт преображается в публициста, перо сменяет каретка и насущному отдается предпочтение перед вечным. Поэтому здесь перед нами выступит не Николай Февр, русский прозаик, а Николай Февр-публицист, ведущий сотрудник газеты «Новое слово», издающейся в Берлине с тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Николай Николаевич, милости просим.

Аплодисменты — уже без подсказки.

«Эк он его стреножил, — подумал Лозинин. — Не порезвишься в наших краях».

Паня тоже сникла в своем каком-то там ряду. Ей не хотелось про газету, про «ундервуды». Хотелось про Светлану...

Ведущий поместился за столиком в глубине эстрады, имея в своем распоряжении граненый стакан и графин, куда было налито грамм триста воды, — а его место занял гастролер из Берлина.

С большим любопытством озирали все иностранца: во что одет, каков из себя. Валечка в своем наитии не так уж и ошиблась: если героев *Фабра* увеличить до размеров *зубра*, то получится *Февр*. Чернявый, угреватый, похоже, он и сам не был в восторге от навязанной ему роли — поэта, покинутого своей музой и пробавляющегося журналистикой. Недаром первые слова его походили скорее на шпильку, чем на шутку.

— Итак, область творческих интересов моей музы — отныне запретная зона. Беруфсфербот.

По залу пробежал смехок: на картах сорокового года, изъятых с началом войны, вместо Польши писалось: «Область государственных интересов Германии».

— Помилуйте, Николай Николаевич, какой же беруфсфербот, — запротестовал со своего места Скоробогатов, что на первый взгляд создало симпатичную атмосферу — большей непосредственности.

— Нет-нет, все логично. Но все же я хочу уточнить. Когда пушки говорят, то музы не просто молчат — они слушают. Слушают и запоминают. Однако, здравствуйте. Как было замечено, советская цензура в виде либеральнейших исключений допускала вывести в печати и на сцене эмигранта — блудного сына. Я честно должен признать, эмиграция знала таких. Я не о профессиональных большевиках, этим кормившихся. Я о несчастных, обреченных сгинуť во мраке ложных идей. Велик Господь наш! Пятнадцатилетним воспитанником мичманской школы покинул я Одессу — и с той поры для меня остается тайной за семью печатями: как ценою отречения от России можно обрести родину? А ведь сколько утешных голосов призывало к этому! Но я мечтал вернуться иначе:

Несбыточного не бывает, нет!  
Дерзай, призвавши в помощь арбалет!

Провидение вняло. На арбалете стояло клеймо заводов Круппа, что обнадеживало. Я возвратился. Пусть не увенчанный писательской славой — кто читал меня на родине! Хауптзахэ, я вернулся, как честный сын России. (Честный сын России не заметил шпионской проговорки.) Иные на моем месте предпочли внушительные тиражи и всенародное в кавычках признание. Бог им судия. Несколько дней назад мой поезд пересек бывшую границу бывшей империи. Как замечательно сказал Виталий Арсеньевич, встретились две России и одна взглянула в глаза другой. Не выразить, что прочел я в этих глазах. И не надо, не время. Еще не отпустило горло. Лучше рассказ об этом прибереечь для моих берлинских читателей, пусть знают, что им предстоит. Вот стою я перед вами и не верю, что вокруг Россия, что я в матери городов русских...

Устная речь — птичка, которую «не споймаешь». Сам Февр в отношении других — амбициознейший стилист, на его примере можно было писать диссертацию на тему «Эмиграция как борьба за чистоту речи». *Это не по-русски*. Взгляд василиска. После чего печатно изничтожал так, словно преследовал тайную цель довести свою жертву до самоубийства. (Последний тому пример: проживающий в Эстотии русский поэт написал цикл стихов «Эстотийский

дивертимент» и посвятил его местному поэту Томасу Минцлова. О, кто б слышал рык одинокого Февра! *Это не по-русски*: следует писать «Томасу Минцлове».) Можно быть уверенным: окажись «в матери городов русских» кто-то другой, уж он бы, Февр, не преминул самоутвердиться за счет незадачливого путешественника.

— Мне бы повиниться перед вами, перед киевлянами, хотя не знаю, вина это или беда. Слишком рано я оказался в эмиграции, чтобы лично свидетельствовать подлинность описываемого мною, по крайней мере, в восьмидесяти случаях из ста. Упомянув какой-нибудь Купеческий или Царский сад, насадив вдоль улиц акаций и введя в повествование обрыв, я в общих чертах добивался ощущения юга России, о частностях же предоставлял читателю заботиться самому. Так, произносящий в разговоре «ваша матушка» знает: родимые черты его собеседник дорисует мысленно. Прежде, чем побывать в *вашем* Киеве, я выдумал *свой* Киев. Выдумал не из головы. Из названия. В соответствующем томе энциклопедического словаря «Брокгауз» имеется штатплан: Фундуклеевская, Бибиковский бульвар, Шуваловская, таинственный «Шато де флер». Вполне достаточно при моем методе. А что у меня трамваи бороздят Киев, как море корабли, то, знаете, сегодня городской трамвай ходит так, завтра по-другому, а послезавтра не ходит вообще, и уж никто не помнит, как он ходил позавчера. Главное — люди, сильные характеры, сюжетные линии... а не трамвайные. Я разглашаю маленькие секреты моего ремесла не затем, чтобы скандализировать общественный вкус, как сказали бы футуристы. И даже не в нарушение запрета на профессию...

Оборачивается к Скоробогатову, замахавшему на него обеими руками.

— Шучу, шучу. Дело в том, что сколько уже, три... четыре дня, как я открываю для себя Киев-*город*, постоянно накладывая его на Киев-*слово*. Результатами своего опыта я делюсь — с кем бы вы думали? С тем, другим Николаем Февром, который не что иное, как отбрасываемая мною назад тень — на неделю назад, на месяц назад, на годы. В Киеве Февр никогда не бывал и жаден до моих впечатлений: ну что, похоже? каков *он* на самом деле? Да погоди

ты, я еще не разобрался — говорить бессмысленно. Ему не терпится, его не смутят и самые скороспелые выводы. Ну, хорошо, отвечаю. По первом прочтении в Киеве есть что-то от Генуи. Мнится, он подбит атласом, брока́, муарэ. Женщины его стройны и не лезут за словом в карман. Киевляне народ сложно сочиненный: они лишены генуэзского коварства, но простачкам с севера дадут вперед полсотни очков. Тем ничего другого не остается, как повторять: «Человеческое, слишком человеческое», слабым манием руки указывая на Киев — не в пример им полнокровный, чья земная краса неотделима от сокровищ в его кладовых. Вопрос только, где они, эти сундуки, полные злата и драгоценных тканей? Виталий Арсеньевич упомянул своего друга, прекрасную петербургскую поэтессу Анну Радлову. Я вспоминаю строки другого петербургского поэта, тоже Анны — Анны Ахматовой:

Он не знал, на каком пороге  
Он стоит и какой дороги  
Перед ним откроется вид...

Слова, прямо обращенные к Киеву. Место, откуда есть пошла русская земля. Едва не ставший стольным градом в царствование Александра III, Киев менее всего ожидал в грядущем глада, мора, истребления святынь. Но Батый нашего времени ненавидел его пуще других городов русских. Большевизм справедливо считал, что здесь корни неприятия Россией безбожной Марксовой доктрины. Неслучайна оппозиция: с одной стороны Киев, купель России, с другой стороны Харьков, с его угрюмой серой архитектурой, заимствованной у тех, кого до недавнего времени превозносили местечковые умы. Это противостояние хорошо продумано большевистским мозговым трестом. Харьков гордился своим сомнительного происхождения интеллектом, верно служившим машинерии красных. Но разве мог он противостоять Киеву? Бог мой, как выпячивали свою птичью грудь эти вчерашние ученики «хедеров» в попытке сравняться с былинным богатырем. Они преуспели в одном: от своих «штетлов» им было ближе до соседнего хутора, было проще столкнуться с хуторянином на его языке. На этом по-

ле они одержали победу. Пиррову, заметим. Однако плодами ее кое-кто счел за благо воспользоваться. И вот я брожу по Киеву, я слышу вокруг родные голоса: родители разговаривают с детьми, молодежь шумит, нищие просят подаяние — гул русского речевого приборя ни на миг не смолкает. Но то, что фиксирует ухо, опровергает глаз: ни одного письменного подтверждения повсеместно звучащей русской речи. Городское население оставлено без письменности. Ему предложена письменность от другого языка, настолько похожего, что смысловые сигналы, которые время от времени имеют довести до его сведения «магистраты», им уже грамматически не дифференцируются. Еще немного, и различить языковую принадлежность этих сигналов станет невозможно. Так, по авторитетнейшему свидетельству, сто тысяч горожан не различало между правой и левой рукой. Это, если угодно, как отправиться на прогулку вдвоем, но в одной паре брюк — в первый раз неловко, во второй раз неловко, а потом привыкаешь и не замечаешь.

Февр выдержал паузу — подобно комику, оставляющему прореху для смеха. Но тишина стояла гробовая.

— Никто не застрахован от ошибок. «Но не от скоропелых выводов, — скажут мне, — с ними-то можно было повременить, первое впечатление обманчиво». — «Напротив, — возражаю я, — первое впечатление редко обманывает. Да и со стороны многое виднее». — «За три дня? За три дня все видно только тому, кто предубежден. Негоже русскому патриоту повторять вслед за клеветником России, французом де Кюстином: я мало видел, но о многом догадался. Ты пристрастен, того не подозревая. Газета, которую ты представляешь, хоть и называется «Новое слово», но это “Новое *русское* слово”... (Другим голосом.) Так вот, категорически не согласен. Совершенно не важно, русское оно, или украинское, или еще какое-то. Слова, лишённые своего буквенного начертания, можно смело отнести к разряду беспозвоночных. Человек, исключительно ими оперирующий, и сам становится интеллектуально бесхребетен, утрачивает ясность мысли и ею обусловленную четкость восприятия жизни. Он дичает. Когда целый город состоит из подоб-



ных людей... Я не хочу продолжать, ибо не верю в месть нибелунгов.

«А коли не веришь, то зачем было трогать? — подумал Лозинин раздраженно. — Или бабушка надвое работала?» Лозинин, как человек с самомнением и не терпящий чужого превосходство, искал к чему бы придраться, — больно не хотелось пасовать перед этим явно недюжинным умом, к тому же соединявшим в себе старорежимную непринужденность с европейской образованностью.

Февр коснулся и других тем, живо отозвавшихся в сердцах его слушателей. Рассказывал о жизни в Берлине, о чистоте в эсбанах, о том, как берлинцы проводят свой досуг в кафе и локалях, среди которых не последнее место занимает русский ресторан «Медведь». Рассказывал о магазине «Кауфхауз дес Вестенс», где один лишь рыбный отдел насчитывает несколько залов. На его сверкающих чистотой прилавках есть все, от балтийских угрей и тающего во рту «шиллерлокона» — что в переводе означает «локон Шиллера» — до сицилийских скампий и североафриканских мидий. А выйдя на улицу, обремененный пакетами и кулками покупатель снова оказывается окружен потоками легковых автомобилей, над которыми, как айсберги, возвышаются двухэтажные омнибусы.

С неменьшим смаком Февр описывал жизнь русского Берлина, тех десятков тысяч русских, что после революции нашли себе убежище в столице Германского рейха. Они далеко не бедствуют, как это пытается изобразить советская пропаганда, и в большинстве своем не менее зажиточны, чем местные жители. Но главное их богатство — речь, та прекрасная русская речь, которую в Советском Союзе, пожалуй, больше и не услышишь. К их услугам русские библиотеки, театры. Чтоб не быть голословным...

Февр достает газету.

— «Стакан воды», комедия Скриба под управлением Блюм-Гринева... Очередной спектакль театральной группы русского юношества, будут исполнены сцены из произведений русских классиков... Шуберт-зааль, фортепианный вечер г-жи Борисевич, в программе Метнер, Рахманинов... Известная исполнительница цыганских романсов Варвара Королева, — ее фамилию он произнес

через е, — при участии хора... А вот, извольте... Русская библиотека на Тирштрассе открыта по вторникам, четвергам и пятницам... Русские евангельские собрания, Берлин-Шпандау...

А зал, как один человек, пожирает глазами оборотную сторону газетного листа, на котором лишь самым дальнотзорким из публики удастся разобрать напечатанное большими буквами: «Большой свет при большей экономии. Требуйте лампочки Осрам-Д. Осрам-Д дает дешевый свет».

Свое выступление Февр закончил так:

— Когда-то я написал роман. В предпоследней главе героиня, настигаемая языками пламени, выбрасывается из горящего дома. Но раньше, чем разожмутся ее пальцы, впившиеся в раскаленные перила балкона, запрокидывается ее голова. И в это последнее мгновение она видит мир перевернутым. Заходящее солнце представляется ей восходящим, только на западе. Книга так и называется: «Солнце восходит на западе». Ныне это название обрело совершенно иной смысл. Нет, мы отнюдь не висим вниз головой, как моя бедная Светлана. Наоборот, наконец мы обрели под ногами твердую почву, впереди у нас благословенный путь созидания, во славу Господа, во славу России. Осознать это *ici et maintenant* — шестого июля тысяча девятьсот сорок второго года в Киеве — завидная участь. Я закрываю глаза...

Февр прикрыл глаза ладонью; после провел ею по лицу, движением, которым и в правду закрывают глаза — покойникам.

— ...закрываю глаза и вижу: по Крещатитскому яру святой равноапостольный князь Владимир ведет народ к Днепру.

Благодарю вас.

Под сильные ровные аплодисменты Скоробогатов пошел, вихляя торсом («фригийский король»), к Февру и долго жал ему руку: де-превзошло все ожидания.

— Дорогие друзья, я уверен, что выражу общие чувства, сказав Николаю Николаевичу: этот день останется в нашей памяти, как день великого открытия. Николай Февр говорит, что открывает для себя Киев. Что ж! А Киев от-

крывает для себя Николая Февра. — Снова аплодисменты и горячее рукопожатие. — Быть может, Николай Николаевич согласен ответить на вопросы, которые могли в ходе его выступления у кого-то возникнуть?

Февр гостеприимно развел руками:

— Конечно, охотно, если есть желающие, — но не удержался, добавил: — Обычно вопрос либо предполагает в числе возможных ответов один как бы правильный, по мнению того, кто спрашивает. Либо спрашивающий нам даже этого выбора не оставляет.

Желающие-то были...

— Кажется, вопросов нет, — сказал Скоробогатов.

Это как на аукционе. Вопросы нет — раз. Вопросы нет — два. Вопросы нет — в таком случае, дорогой Николай Николаевич...

Поднялся человек, выглядевший совершенным замушкой: маленький, давно небритый, в очках — больше, чем он сам. Его острое желание сказать «о самом главном» прорывалось сквозь тернии косноязычия и смущения. Февр участливо слушал.

— Я только хотел бы внести одно маленькое уточнение, указав в связи с этим на весьма распространенное заблуждение. Крещатитский яр еще относительно недавно представлял собой лесистый овраг между двумя холмами и названием своим был обязан росшим в нем так называемым крестовидным соснам, а вовсе не Крещению Руси, как ошибочно полагают многие. Их вырубка началась лишь в конце восемнадцатого века, точнее, сразу после взятия Очакова, в тысяча семьсот девяносто первом году, по приказанию графа Каховского, которому было вверено командование украинской армией. Срубленные сосны сплавлялись в Днепровский лиман и использовались при строительстве днепровской речной флотилии. Жителям же древнего Киева, обживавшим склоны Ведмятина, ставшего позднее называться Владимирской Горкой, не было нужно продираться к Днепру Крещатитским яром... Вот.

Продрался.

Встала девушка-кубышка:

— Вы не могли бы подробнее рассказать о жизни наших волонтеров?

Февр кивнул в знак уместности вопроса — это всегда льстит тому, кто спрашивает, — вместо того, чтобы насто-рожить его, дурака.

— Вопрос очень интересный. Мы знаем, как много наших людей желает непосредственно помочь Герман-скому рейху. И это только начало, их число будет расти, оно вырастет в десятки, может быть, в сотни раз. Кому не хочется внести свою лепту в дело великой победы. Но до сих пор отбор производился очень строго, говорят, в от-дельных случаях даже неоправданно строго. Скоро, вот увидите, все изменится к лучшему, и каждый, желающий уехать в Германию, сможет это сделать. Но учтите, куда большие возможности открываются перед теми, кто при-езжает раньше, а не попадает уже к шапочному разбору. Оно и понятно. Поэтому тем из вас, кто всерьез задумы-вает об отъезде, я бы советовал поторопиться. Говоря об уехавших, об их жизни (если я правильно понял ваш во-прос, вас интересует это), я могу ответить словами не-мецкой поговорки: всякое начало — трудно. Они и в Гер-мании-то без году неделя, еще немецкий толком не выучили. Вращение в новую жизнь, где все новое, все незнакомое, не дается просто. Но это даже интересно. По крайней мере, никто не унывает. Знаете, как они се-бя называют в шутку? Осси. От слова «ост», восток. Мо-лодые люди живут мечтами о будущем, в том числе и о будущих встречах, приятных знакомствах, у многих еще нет подружек. В общем, приезжайте, я думаю, вы не по-жалееете.

В Панае происходила борьба. О каких глупостях его здесь спрашивают, они не представляют себе, кто перед ними. Тогда как ее столько связывает с этим человеком, и она не может дать ему это понять... О, как хотелось ей обратить на себя его внимание! Но чем, каким вопро-сом? Спросить, знает ли он о сенсационном сообщении газеты «Матэн», объясняющей вступление Франции в войну страхом бесчестия? Можно спросить, любит ли он музыку... или каких он любит поэтов. Но о главном, о его романе, она даже не смеет заикнуться, Скоробогатов все сразу поймет. Она рылась в его бумагах, как Мата Хари.

О Февре Паня думает: нет, красавцем его не назовешь, *культура лица* — это есть. Культура лица выдавала в чело- веке иностранца. У наших она отсутствует напрочь, даже среди образованных, интеллигентных. Посмотреть на немцев — там культуры лица до черта, почти у всех. Быва- ло, в прежние времена приезжает делегация английских горняков — тоже у каждого культура лица. Трудно пове- рить, что это горняки. И такой же Февр... Господи, живой Февр! Он здесь. К нему можно обратиться... Пускай по- гибну я!..

— Николай Николаевич, — сказала Паня строго, даже с некоторою укоризною, очень отчетливо, немножко раз- дельно произнося его имя и отчество — так из зала к не- му еще не обращались. — А вот вы говорите, что «Солнце восходит на западе» никто из нас не читал. Я не могу с этим согласиться и потому хотела бы вас сразу спросить. То место, где Иван Борисович поджигает квартиру Бу- бельникова, в которой прячется Светлана. Языки пламе- ни, лижущие тело Светланы, — это аллегория запретной страсти, но ведь следователь-то этого не может знать. Почему он, думая о поджоге, вдруг вспоминает ту древ- нерусскую песню: «Крила ея, крила огня, уголье огненно пламы ея»?

Паня добилаь своего. Какою ценой? Сейчас она об этом не думала. Февр смотрел на нее — ей показалось — открывши рот. Весь зал смотрел на нее, открывши рот. Совсем рядом у кого-то вырвалось: «Ну, распрекрасней- шая наша панна...»

«У кого-то...» Этим «кем-то» мог быть только один- единственный человек: Словник, Лаврентий Германович.

Но им и не пахло.

Ближайшие к ней мужчины — если держать их за муж- чин — были: батюшка, волосы схвачены по-старушечьи на затылке в седенький пучок, такая же юбка, зато боро- да — как у вахтера! (Кстати, вахту сняли — не оправдала себя. И сразу жить стало лучше, жить стало веселей.) Чуть подальше сидел замухрышка-краевед в мотоциклетных очках. А в основном всё женщины, женщины... Ряды жен- щин, пожилых, молодых — красивых или нет, это уже не играло роли. Панина мама ошибалась.

## VIII

Во время войны спрос на мужчин в тылу возрастает. Даже подростки и инвалиды пользуются успехом на переднем крае в тылу. О, Марс! Ниспошли войну на нашу провинцию и назначь меня не претором, не квестором, но подростком!

— В этом что-то есть. — Скоробогатов раскрыл наугад одно из нескольких эмигрантских изданий, лежавших перед ним на столике, как на стенде.

— Один пражский поэт, — заметил Февр небрежно. Но не пренебрежительно, а в смысле — знай наших, эмиграцию.

Скоробогатов захватил большим пальцем уголок сболтика и прошелестел колодой страниц. Перед тем он машинально прочитал адрес типографии: Гжатска, 21.

Они находились на эстраде, как на мелеющем берегу. Публика медленно сочилась наружу — до последнего, что ли, лелея надежду на перерастание культурного мероприятия в банкет, танцевальный вечер, показ кино?

Но как во время отлива на берегу всегда что-то остается, так возле эстрады осталось стоять несколько человек: Богатырчук с супругой, дама, вооруженная честным взглядом и тяжелой косой — весом с якорную цепь, изрядно, правда, посеребренную (это за нее, за эту даму, делалось страшно Пане, когда мысленно она разувала Скоробогатова, — Паня, хоть и училась в советской школе, не понимала значения слова «соратница»). Остался Лозинин, которому еще перед началом вечера соратница сказала:

— После не заглянете, Иван Борисович, к нам попить чайку? У нас соберутся люди.

Не могла же она сказать при Богатырчуке: «Приходите, будет Февр» — когда гроссмейстер герр доктор Богатырчук *будут тоже*.

Богатырчуков, верно, позвали загодя — между собой все они накоротке. Это Лозинин в Киеве варяжил. За приглашение он поблагодарил... запнулся... Александру Филипповну; и теперь, в ожидании дальнейшего — чтоб не

обсуждать с этим старым ослом, Богатырчуком, новинки оперного сезона, — спросил у него, как продвигаются опыты по омолаживанию.

— Экспериментируем на животных, уже разработан препарат «Фрейя».

Публика полностью схлынула, и вышло, что пьют чай с Февром всего-то — не считая хозяев — Богатырчуки, да Лозинин, да еще одна особа, оказавшаяся при ближайшем знакомстве свояченицей Скоробогатова, проживающей вместе с ним и со старшей сестрой.

— Настасья Филипповна, — подавая Лозинину руку, сказала она басом. И пояснила, жарко прошептав: — Уголок Настасьи Филипповны.

Лозинин улыбнулся — мягкой улыбкой человека, который чего-то не понял, а спросить неловко.

— Иван Борисович.

Когда он представился Февру, тот почему-то опешил: «В самом деле?» Лозинин улыбнулся еще мягче.

Было семь вечера, нянечка закрыла за ними дверь зала на ключ:

— Будьте ласкави, а то мени до дому треба.

Жара, стоявшая весь конец недели, спала. Температура воздуха опустилась до двадцати пяти градусов, с Днепра подул любезный сердцу ветерок. Это левобережье, Черниговская губерния оведали Киев своим дыханием.

— Естественно, что управа безропотно предоставила зал берлинскому русскому, но при этом сами управленцы демонстративно от русских дел держатся в стороне, — сказал Скоробогатов. — Правда, без прежней враждебности.

— Еще бы, когда господа указали им на их место. Теперь во всех мельдунгах слышишь: «Судьба Европы решается...» — Богатырчук указал перстом туда, откуда дул ласковый ветерок. — Время работает на нас. Баронам становится ясно, что победить Советы может только Россия. Надо мыслить философски.

Это была философия общего места, приправленная гроссмейстерским апломбом.

Февр вежливо кивал. Скоробогатов, поминутно останавливавшийся, свои вынужденные остановки облакал в форму объяснений насчет того или иного здания, места,

etc. В точности как Лотрек, гуляющий с Ван Гогом по Парижу. И каждый раз сокрушался: летом оценить архитектурные достоинства бульвара невозможно, настолько все утопает в зелени.

К счастью, до них от гестапо было рукой подать: они жили на Бессарабке, в большом четырехэтажном доме со стандартными украшениями по бледно-желтому кирпичному фасаду и тремя колонками неперенных балкончиков. К парадному прибит «показчик д.у. 1055 пл. Богдана Хмельницкого дома № 7». «Скоробогатов» было *свежесве-*  
*ведено* поверх чего-то *свежесведенного*.

Когда они вошли в трехкомнатную квартиру, Лозинин прикинул: их здесь трое, он же в своих трех — один (Дарья, пущенная Христа ради, не в счет). Что ж, одно дело быть редактором какого-то там русского листка и совсем другое — интендантом киевского «Большого театра», «Гранд Опера», «Украинской Скалы». Лозинин знал цену своему интендантству, но все равно где-то в глубине души сам с собою немножко торговался.

Гостиная, служившая столовой (столовая, служившая гостиной), была обклеена обоями с крупным красно-синим-лиловым узором. Над продолговатым столом, прямо над усыхающим фикусом, словно он был бесценным экспонатом, нуждавшимся в особом освещении, висела люстра о пяти хрустальных колокольчиках.

— Дед Виталия Арсеньевича, — сказала Лозинину Александра Филипповна, подразумевалась фотография какого-то высокопревосходительства в шитом мундире с орденской лентой, стоявшая на пианино в очень большой красивой раме. Это была сильно увеличенная копия подклеенного снимка, которая явно закрывала другую фотографию. Можно, конечно, возразить, что и прежние хозяева, скорей всего, обживали чужое добро, — но вот нужно ли? Уместно ли? Где тот Радамонт — подать сюда коллегу Тяпкина-Ляпкина, и пусть судит. Пусть на чашах весов взвешивает десятки тысяч, скошенных в этом же Киеве в ночь предыдущего десятилетия, и десятки тысяч, скошенных из пулемета немецкого образца. А те сидят, глазастые, как воины на старинных кораблях, чаша против чаши, одна Россия, глядящая в глаза другой. А ежели



кто возразит, что одна — вовсе не Россия, тем, конечно, типун на язык.

Пока обе Филипповны накрывали на стол, разговор роился — фонарь, мошки, лето — вокруг выступления Февра и вечера в целом: как было все замечательно, полный зал, а как слушали... (Мечтательное отточие.)

— Николай Николаевич, я мечтаю прочесть вашу книгу, хоть с маскировкой, хоть без, — сказал Лозинин. — На одну ночь...

Скоробогатов протянул ему экземпляр феврского «Солнца»:

— На одну ночь. По опыту знаю, что с петухами закончите.

— Эта девушка с внешностью ангела, — сказал Февр, — представляете себе, она меня читала. Я, ей-Богу, смутился.

— Я бы тоже на вашем месте смутился, — сказал Богатырчук и засмеялся.

— Это наша записная красуня, машинистка. Приходит в редакцию ни свет ни заря и учиняет ревизию.

— Да что ты! — воскликнула соратница, хлопотавшая на заднем плане, тем не менее ничего не упускавшая.

— Любопытная, как сорока. Чуть что сверкнет — уж тут как тут. Я имел неосторожность вашу книгу оставить у себя на столе. Вот вам результат. Кстати, Иван Борисович, ее мать в оперном театре работает. Тоже хороша собой, но в другом стиле.

— Певица? Хористка?

— Пианистка, насколько мне известно. Лиходеева.

— Ва... Валентина Степановна? Это ее мать? Подумайте, как тесен мир. — Лозинин взглянул на обложку книги и положил в карман — чтоб не забыть. Книга была *in quarto*, тогда как карманы пиджака были по последней моде — *in folio*.

— Прошу за стол, — позвала Александра Филипповна, ставя на место горшка с лишенным жизненных соков фикусом — тоже горшок, но что за прелесть был этот дымящийся горшок, в котором кипела жизнь, да так кипела, что без рушника и притронуться нельзя было.

— А вы говорили «чай».

— Всею свое время, Иван Борисович. Сперва попробуйте это, а потом уж чайку.

— Это вареники с черешнями, — пробасила сестрица Настасья Филипповна, спеша закончить вечерний звон посуды. — Садитесь, садитесь, кушайте, пока не остыло.

В присутствии новых людей она всегда стеснялась. Виталий Арсеньевич придумал название для ее уголка, а теперь хоть имя-отчество меняй, потому что всякий норовит заметить ей: «А, Настасья Филипповна, та самая, знаменитая»

Все оживились, окружили стол, задвигали стульями.

— Таких черешен, как в этот год, еще не было, — продолжала она, а Лозинину объяснила: — Мяса мы не едим, оно не здорово, и никогда не знаешь, что тебе подсунут.

— Вот по чему душа русская тоскует, — сказал Февр, трижды прослеживая колючим взглядом траекторию, по которой вареники переносились в его тарелку. — Ах, что вы, достаточно.

— И сметанки обязательно. Для тех, кому будет не сладко, я советую с сахарком. («Для тех, у кого мало материи, я советую переделать себе не платье, а очень теперь модную тунику». Настасья Филипповна — мастерица на все руки.)

Пронзенный вилкой вареник кровоточил сквозь сметану. Южное лицо Февра выразило такую страсть, которая не могла не польстить хозяйке — хотя бы даже в жизни и была менее уместна, чем на страницах его писаний. Последовавшее затем блаженство носило столь же аффектированный характер. Эмигрант демонстрирует тоску по родине.

— Вкусовая ностальгия составляет важнейший элемент общей ностальгии, — сказал он.

Лозинин попробовал — размешав вареником сметану, немедленно окрасившуюся в цвет начинки. Да-а, и впрямь объединение... Нет-нет, мимические экзерсисы Февра отнюдь не являлись преувеличением.

— Вкусно до чертиков! — воскликнул он. — Не обижайтесь, Николай Николаевич, но ваше потрясающее описание гастрономических утех Берлина меркнет.

— А я про что? — со смехом отвечал Февр.

— Но рассказывать об этих деликатесах было жестоко по отношению к большинству присутствующих, — сказала Александра Филипповна, глядя своими честными глазами прямо в глаза Февру — действительно жестокие, с некошерной кровинкой в белке.

За Февра вступился Богатырчук:

— Правда всегда жестока... — вынужденная пауза: тридцать три жевательных движения, потом одно глотательное. — У нас, у медиков, существует такое понятие, как шоковая терапия.

Скоробогатов молча поедал вареники, словно собирался с силами. Не все было так уж безоблачно в их отношениях с Февром — что от внимательного взгляда не могло ускользнуть. Признавая за романом Февра серьезные литературные достоинства, он отказывал ему в том, что, по его мнению, являлось стержнем и отличительной чертой русской прозы: он отказывал ему в духовном поиске; этот поиск ведется разными средствами, от сопереживания всем униженным и страждущим до самозабвенного растворения себя в красоте, в многоголосом *Te Deum*, который и есть дыхание всего живого. Не всякий поиск благотворен, последствия его бывают трагическими, чему немало примеров, но полное и сознательное пренебрежение им означает для писателя уход из нашей великой литературы. Лучшее, что при этом писатель может сделать — перейти на язык другого народа. Но когда он, как ни в чем не бывало, продолжает писать по-русски, это абсурд. Литературы не существует вне национальной культуры, вне национальных особенностей мышления, поскольку под их влиянием формируется язык — или, говоря другими словами, писательский инструментарий во всей своей совокупности.

Так, обстоятельно и спокойно объяснял Скоробогатов жене и соратнице Александре Филипповне, почему роман Февра — дерево сухое.

Неприятие произведения по принципиально-идейным соображениям — по существу, идейно-нравственным — не способствует росту личных симпатий у читателя к автору. И будь ты даже самый гостеприимный человек на свете, а автор — твой гость, особой симфонии между вами не возникнет.

Но это только одна сторона пробежавшего между ними облака — облака нередко принимают очертания животных, а следовательно, и кошек.

Скоробогатов был из числа тех киевлян, чей муниципальный патриотизм — по самоироническому выражению автора «Пятерых» — восставал против патриотизма великодержавного. Но столь же невыносима была ему и нэнька Украина — вся эта хлопомания с ее «любощами», «вишневыми садками», «соловейками», «дивчатами» и прочими щирыми дядьками. Несмотря на предка с орденской лентой, что было чревато семейной мифологией а la «пасюшай-ка, любезный», Скоробогатов в иных обстоятельствах строчил бы рукою, униженной ценностями народничества. Это допускало поощрение культурных амбиций малых сих «от моря Черного до моря Балтийского» — по крайней мере, покуда те были согласны на роль наших четвероногих друзей. А пылкая влюбленность в малую родину (юношеская, старческая, первая — и последняя) не обходила своей благосклонностью и сподобившихся славить ее по-иному, на ином наречии, которое хотя бы уже за одно это не полагалось давать в обиду. Грозно: а ну, кто еще там из своего высокомерного далёка, покрывавшегося на зиму трехметровым слоем льда, смеет утверждать, что в алтаре у нас ослиный хвост — что в Великой Опере якобы поют «паду ли я, дручком пропертый»?

Когда твоя малая родина изобильна местом и вдобавок покрыта по самые колокола черноземом, то невозможно в числе прочих малых родин вращаться вокруг общего для всех солнца. Но претензия стать самому таким же солнцем равносильна отречению от единой с ними субстанции, культурной, языковой, исторической... да этнической, черт побери! Это было бы сопряжено с наклеиванием чуба, усов, что для Скоробогатова, для скоробогатовых — такая же измена взрастившему их Киеву, как и прямо противоположное: прилюдно, при чужих, вопрошать, как будет по-украински «кот».

Самосознание русского Киева *искалено* этой безвыходностью: одновременно не может хотеть и не может не хотеть того, что хохлам любо, а кацапам смерть. Только умоляем не думать, что инвалидность Скоробогатова но-

сит символический характер, до такого мы все же не опускаемся. О Скоробогатове скажем следующее: как ни связан он своей двойной лояльностью, обернувшейся на деле двойной нелояльностью, знакомство на пятигорских водах с Анной Радловой было ему во сто крат дороже прошлых связей с Миколой Бажаном, которого он тем не менее без устали нахваливал своему берлинскому постояльцу. Тот, человек западный, молчал. Но в этом молчании было столько презрения — или Скоробогатову так казалось? — что в запале он все настойчивей и настойчивей превозносил Бажана, цитировал какие-то строки по-украински, и получалось уже, что Бажан — никакой не Бажан, а Шекспир.

Февр слушал-слушал, а потом спросил:

— Скажите, этот ваш, ну как его, Баклажан, — он красный, или как?

Пробежавшая между ними кошка была вовсе не кошка, а кот, с провокационными целями принявший обличие кита и теперь мрачной тучей гулявший по небосклону, выпуская периодически фонтан — хотя внешне все выглядело пристойно: фонтан окатывал то одного, то другого исключительно в шутку. Поэтому обстрелять Февра в упор картечью, как это сделала «союзническая артиллерия», он не смел — так, время от времени шел в штыковую, исподтишка подкалывал.

Дождавшись, когда Богатырчук кончит высказываться в пользу низких истин берлинского прилавка в сравнении с возвышающим нас голоштаным социализмом, Скоробогатов как бы невзначай заметил:

— А что, Николай Николаевич, если только я не ослышался, ваша газета будет скоро переименована: из «Нового слова» в «Новое русское слово»?

— Ну, не раньше, чем ваша из «Вечернего Киева» в «Комендантский час», Виталий Арсеньевич, — нашелся Февр, в очередной раз демонстрируя превосходство за границы.

— Слава Богу, — сказал Лозинин, — комендантский час не стал дольше из-за этих вандалов.

И вслед за ним все возблагодарили немецкого бога войны: «Слава Богу... (А собора жаль.)».

— Я этого не исключаю, — видно было, что Лозинину приятно «этого не исключать», — я этого не исключаю, что Ансельми учел продолжительность спектаклей. Опера и так дает представления в послеобеденные часы, куда уж раньше. Нет, с Ансельми нам очень повезло. — «Нет», словно кто-то спорил.

— Нет-нет, он действительно поддерживает культурные начинания и никогда не делает национальных различий, — согласился Скоробогатов.

— Ну да, к нему Ворковецкий на вас точно жаловаться не побежит, — съязвил Богатырчук.

— А с чего ему-то жаловаться? Если кто и должен жаловаться, то я. Хотя отношения между нашими печатными органами, я бы сказал, даже нежные.

— Ну, что отношения нежные, это вы, батенька, хватили. Как на мой характер, они совершенно противоречивые...

Тут Богатырчук умолк, как громом пораженный — осенившей его идеей:

— А почему бы, собственно говоря, «Прапору» не набираться латинскими литерами?

— Бо*л*тая мысль, — заметил Скоробогатов — после секундной заминки.

— Оставьте вашу иронию, я на полном серьезе. Почему бы украинцам не перейти на латиницу?

— А почему не русским?

Но Богатырчук прямо-таки загорелся идеей перевести украинскую письменность на латинский шрифт.

— По примеру турок. Это приблизит их к Европе, о чем они так пламенно мечтают. Отгородятся этим от Московии, как Китайской стеной.

— Великая Китайская стена, сложенная из латинского алфавита? — оживился Февр. — Матка Бозка Ченстоховска! Это звучит достаточно невероятно, чтобы на поверку оказаться более чем возможным. Я позволю себе только заметить, что украинцы — православные славяне. Как сербы, как болгары.

— Что вы сравниваете, Николай Николаевич, дорогой вы мой. Там же братушки. Болгарам в гордость: русские пишут их кириллицей. А этим кириллица что — давно уже

вавилонское пленение. Со мной над «Фрейей» работает один чудак — старый петлюровец, интеллигентный человек. Все норовит мне доказать, что украинский — это настоящий *une langue baroque*. Вот и чудесно, все эти матки с яйками, что изъясняются на языке барокко, перейдут на него в полном, так сказать, объеме.

— Гм, — сказал Февр, — в известном смысле с исчезновением Польши психологическое к тому препятствие устраняется.

— Федор Парфеньевич, — Скоробогатов покачал головой, — я всегда подозревал, что вы визионер: эликсир молодости и все такое прочее... Но мне непонятно, что вы так печетесь об украинской письменности, что вам Гекуба? Вы же украинский язык даже за язык не считаете.

— Нету моих сил больше, Виталий Арсеньевич. Накипело. Не могу слышать, как они на своем диалекте, пригодном только для анекдотов, поганят русский язык. Да еще меня к этому понуждают.

— Ну, а им великорусский язык смешон и нелеп: «Петро, чуе, як москалы кажуть борщ? (Тоненьким BLEЮЩИМ голосом.) Пе-е-ервае». Заметьте, наука не различает между языком и диалектом. Хорошо заметил академик Петровский: государственный язык — это диалект с пушками.

— С Пушкиным, вы хотите сказать.

У Лозинина это вырвалось как-то само собой. Уж больно просилось. Вообще же за схваткой титанов он следил равнодушно, отметив лишь, что «не пили и пить не предлагали — борцы за идею, страшное дело...». С тех пор как украинський дранг нах вестен хормейстера Прусака потерпел фиаско, его перестала занимать эта тема. В другой компании он бы отшутился: «Когда какая-нибудь валечка в минуту страсти шепчет мне «ишшо! ишшо!», то потом своим родным языком она может называть хоть древнегреческий...»

— Нет, клянусь, в этом пункте я нейтральней Швейцарии, — стал оправдываться он перед Скоробогатовым, в глазах которого читалось: и ты, Брут? — Я знаю, что мой подход ненаучен.

Февр спросил, на каком языке поют певцы, — он еще не был в опере, надеется сходить.

- Будете сидеть в царской ложе, — сказал Лозинин.
- Там, где сидел Столыпин?
- Он был не там. Я покажу вам, как все произошло.

Можно в лицах разыграть.

— Вы шутник, Иван Борисович. Я это сразу почувствовал. Любите шутить с огнем.

Лозинин продолжал:

— Украинских композиторов у нас поют по-украински. Сейчас готовится новая постановка «Тараса Бульбы», актуальная версия...

— Звучит интригующе, — сказал Февр, остальные как воды в рот набрали. — Я понимаю, есть официальные табу...

Тогда Скоробогатов произнес одну из тех фраз, что становятся крылатыми:

— Есть официальные табу, и есть неофициальные табу. Сперва разберитесь, а потом нарушайте.

Лозинин рассмеялся:

— Лично я никаких табу нарушать не буду, если вы о том. Одна-две режиссерские находки, несколько ненавязчивых штрихов... да. Чайковский пелся по-русски и впредь будет петься по-русски. Зато «Травиату», «Богему» будем исполнять на языке оригинала. Равно как и «Фрейшюца» с «Лоэнгрином» — этим уже озаботился комиссариат.

Лозинин не упомянул — суеверный! — «Фиделио», хотя в первую голову думал о нем. Сумасшедший дом, узники спецпсихбольницы — тут не одна-две режиссерские находки. Какое поле открывается! Места хватит и ему, и Пискатору. «О, поле, поле, кто тебя...» Нет, напеть он не напел, но продолжал, как бы в полумечтах:

— Опера находится под особым покровительством штадткомиссара, вся труппа официально состоит на службе у гроссдейчерейха. Легко понять почему. Украина обладает уникальными певческими ресурсами, об этом еще писал Берлиоз. Охота за голосами, встречающимися только здесь, имеет давнюю традицию. И Германия будет ее продолжать — она хочет собрать у себя все лучшее, что есть в мире.



— Что же получается, раньше все лучшие силы из Киева сманивала Москва, а теперь, значит, Германия? — возмутился бас народа, Настасья Филипповна.

— До известной степени нам может послужить утешением, что это относится не только к Киеву, но и ко всей Европе. С этим ничего не поделаешь. Немцы, когда им что-то нужно, не останавливаются ни перед чем. У нас шпрахкурсы — дисциплина железная. Пропуск без справки от врача приравнивается к прогулу на производстве. Что это означает — понятно. А есть люди постарше, которым немецкий в голову не лезет. Наш брат и так по части языков не ахти. Но гауптман Мюнстер, шеф-диригент, беспощаден. Будет лично принимать экзамены. У хора уже медвежья болезнь началась.

«Вот во всем они так», — был немцам общий приговор. Ни чувства меры, ни чувства такта. С одной стороны иступленное следование «здравому смыслу», с другой стороны хваленая «практичность», безнадежно витающая в облаках.

И посыпались на немецкие каски обычные колотушки, от которых этим каскам решительно ничего не делалось — так зайчики в новогоднюю ночь скользят по танцующим парам.

— А под Манычем их, кажется, немножко прищучили.

— Под Манычем? Где это?

— Не читаете нас. А если умеючи читать «Вечерний Киев», то можно многое почерпнуть.

— Обещаю с завтрашнего же дня начать.

Хотя было еще полдевятого, Лозинин стал вдруг prospect под разными предложениями: дескать, «боится темноты» — полицейского часа, другими словами; и надо еще в театре что-то обсудить со сценографом; а главное — сгорает от нетерпения поскорей приняться за роман Февра.

Когда за Лозининым закрылась дверь, все сошлись на том, что главный режиссер Велькой Оперы сбежал от греха подальше.

— А вы думали вовлечь этого конформиста в наши ряды, — покачал головой Богатырчук.

— Думать, пробовать — необходимо.

Февр согласился.

— На основании нашего берлинского опыта скажу: солидаристами становятся те, от кого меньше всего этого ждешь. Ни на ком нельзя ставить крест.

В отличие от конформиста Лозинина, члены киевского отделения Национально-Трудового Союза не боялись ночных патрулей: Богатырчуки жили в соседнем доме, агент-связник Февр и вовсе спал на том же диване, на котором сидел.

Ратуйте, люди русские! Останетесь вы при пиковом интересе или высоко вознесется жребий ваш на весах Фортуны — еще ответа нет. В настоящем будущее не существует, все мы в плену у злобы дня.

— Что с пленными? — спросил Богатырчук. — Побольше б таких манычей. Глядишь, за ум возьмутся.

— Вот первое объявление. Даем в пятничный номер. «Разыскиваю сына Георгия Семеновича Стасевича, рождения 1921 г., по слухам находящегося в плену в Германии. Искренняя просьба знающих что-либо о его судьбе сообщить: Днепропетровск, 2-я Фабрика 68, Стасевич».

## IX

Тиха украинская ночь... Куинджи — месяц, немцы — хаты. И черно-розовым помочь зефиром хочется закату. Пейзаж не с книжки, а с коробки взят за нуждой банальным стать. Секунд на пять не будем робки, и Тихо Брагу проливать давай спасительным клише. Глянь, тихо смежил гарны очи стиль-цербер из папье-маше. Безгласен ад чужой нам ночи. Лозинин шел безлюдной улицей, «гутен абенд, гуте нахт» гуляло на поводке более коротком, чем «баю-баюшки-баю», — а Ансельми взял и оба поводка подравнял (в каком еще благопристойном немецком квартале вы увидите после восьми народ на улице?).

В глазах же церберов из папье-маше — полицаев то бишь — Лозинин был... Иди пойми, что за птица. И только те, что в касках, с европейскими лицами, изъясняющиеся на культуршпрахе, только они не спасовали бы перед фирменной обувью «Батя» да перед пиджаком с накладными карманами in folio. Хотя и про них можно сказать:

не так страшен черт, как его малюют. Черт в намалеванной милицейской фуражке в свое время был Лозинину много страшней.

Ну, сколько, десять минут ходьбы от Бессарабки до оперы? «Немножко так, а потом вот так», — и старожил рукою показал бы вперед и под прямым углом вбок. Высоту, которую не спеша брал Лозинин, венчал пупок динозавра: Велька Опера. Городские здания — это парад однотипных фасадов. Они маршируют за рядом ряд. Оставим Богу Богово (храмы), и тогда окажется, что лишь вокзал да опера шагают не в общем строю.

Каменную погремушку, по имени «Опера», сторожил не какой-нибудь инвалид в форменке, а дюжина пахнувших потом ребят в черных гимнастерках. Они обходили объект по периметру или парочками жались в подъездах, а для надзора им придано было два солдата — чьим лбам, судя по возрасту, довелось обречеными побывать еще под кайзеровскими бескозырками; уже потом вермахт позавидовал у австрияков швейковские фуражки. Оба ветерана были настолько глупы, что жалость к ним сочеталась с желанием послать их к дьяволу — в самом что ни на есть средневековом значении этого слова: душераздирающая «хаймвз» — с одной стороны, и отсутствие тени сомнения в необходимости своего пребывания hier und jetzt — с другой.

— Иван Борисович...

Гурьян. Подобно Микеланджело периода Сикстинской капеллы, он трудился дни и ночи напролет — Лозинин, сославшись на предстоящую встречу со сценографом, не погрешил против истины ни на йоту.

— Далеко, брат, собрался? Чай по ягоды? — В руках у Гурьяна было ведро в заскорузлых разноцветных брызгах, пахнувшее скипидаром. — А то в наши дни в Киеве полно бесхозных красоток.

— Штурм цитадели... задник... хотите взглянуть?

— Завтра. Уже поздно.

— Конь вышел не хуже, чем у Жерико. Жаль, что это все не в Египте. Я бы на отрубленную голову чалму накрутил... Иван Борисович?

— Что, дорогой?

— А вот... что мы «Тараса» везем на гастроли в Одессу... вы говорили... это действительно, или...

— Что значит «или»? Вы слышали какие-нибудь разговоры? — Гурьян покачал головой. — Ну так что вы за алармист такой? Я в пятницу встречаюсь с румынским консулом домнером Войку. С двадцать первого по двадцать седьмое октября в рамках фестшпиля «Транснистрия моя» мы покажем «Семью Тараса»...

— «Семью Тараса»?

— Тьфу ты, «Бульбу»! Так вот ляпнешь... И «Травиату». Лучше признайтесь, Володя, что вас волнует другое: не «едем ли *мы*», а едете ли *вы*. Вы — поедете, говорю сразу. Вы главный оформитель спектакля, вам положено. И характеристику по месту жительства брать не надо.

В диспетчерской Лозинин перелистнул расписание репетиционных помещений на завтра. За Валечкой третья студия с часу. Не каждому полагалась третья студия: там стоял «Бехштейн», там был огромный диван, на полу — ваза с драконами. Как в номере люкс. Для номенклатурных работников.

Лозинину что-то пришло в голову.

— Марья Михайловна, у вас, часом, будильника не найдется? Но только с суточным боем.

— Как же не найтись, Иван Борисович. У нас в хозяйстве все есть.

Диспетчерша протянула Лозинину электрические часы с двадцатичетырехчасовым сигналом.

— Завтра верну.

— А нам не к спеху.

Он стремглав взбежал на третий этаж, на площадке остановился, достал из внутреннего кармана записную книжку, снабженную новейшей германской эмблематикой, в добротной коже с продетым под корешком вечным пером — типичный сувенирный набор для каких-нибудь «желтых фазанов», Лозинину его подарил вкрадчивый нацист Майнцер. Выдрав листок с золотым кантиком, Лозинин написал на нем: «Час твой пробил», изобразил череп с костями, прицепил к будильнику и установил время: тринадцать сорок пять. Оставалось подложить эту бомбу замедленного действия в третью студию. Например, в вазу с драконом.

Ступив в кабинку лифта и не обнаружив под ногой пола, прежде всего вы испытаете, вероятно, чувство удивления... удивления... удивления... Лозинин испытал это, когда дверь третьей студии под его машинальным рывком не открылась, не поддалась. Поскольку так быть не должно, он с досадой затряс прямоугольную ручку и вдруг осознал, что изнутри ее что-то держит. Он рванул ее с такой силой, что послышался треск, потом грохот. Это грохнувшись стул, одна из ножек которого служила запором, весьма жиденьким, на пути интендантского гнева. Да кто посмел!.. Смелчаков оказалось сразу двое: заслуженный артист УССР Петро Гайдабура, партию же фортепьяно исполняла Валентина Лиходеева.

Бесы сладострастия, к коим принадлежал Лозинин, как сумасшедшие ревнуют к чужому семени. От них не жди снисходительно-веселого: «Кто без греха...». В резко вспыхнувшем свете — при этом Лозинин и не подумал выйти из комнаты, даже не подумал отвернуться от четы блудодеев — картина открывалась неприглядная и жалкая.

— Весьма прискорбно, Петр Степанович, что у вас дома жена, а у вас, Валентина Степановна, дома дочь. И что жилищные условия вынуждают вас в помещении театра вести интимную жизнь. Как интендант я вынужден, однако, этому воспрепятствовать в самой категорической форме — в какой именно, вы узнаете в ближайшее время.

Его лицо разъела улыбка; глаза неотступно следили за тем, как скачут от застешки к застешке, от пуговицы к пуговице пальцы — Валечкины и Гайдабуры. Последний был представительного вида баритон. С прямыми темно-русыми волосами. С лицом, составленным из тупых углов.

— Ну и что? — сказал он. — Застукали... не маленькие дети... не с вашей женой... — Валечка быстро вышла. — Неприлично ведете себя, — сказал он, понижая голос.

«Это я-то неприлично себя веду?! А вы, поди, шутник...» Но в отсутствие Валечки всякие разговоры теряли смысл — для прочего же недоставало дюжего парня, чтобы крепко держал Гайдабуру сзади.

Еще немного похорохорившись, но ответа так и не дождавшись, Гайдабура с достоинством удалился.

Лозинин стоял бледен как смерть. Его бешенство не знало границ, он поймал себя на том, что держит в руке будильник — следующим движением должен был бы им залепить в китайскую вазу... а вместо этого подошел к роялю: на пюпитре остались ноты. Второй куплет какой-то песни начинался словами:

Но если сокровище ценишь мое, —  
Узнай, что тревожит сердечко ее:  
Вчера в огороде кабан побывал  
И грядки капустные все истоптал.

Закрыл ноты. С бумажной обложки на него смотрело пухленькое личико в кудряшках, с пикантной ямочкой на подбородке, в круглых очках на вздернутом носике.

— Видите, Марья Михайловна, возвращаю даже раньше, чем обещал.

— Ну что вы, Иван Борисович, можно было и не спешить. Уходите?

— Да, пойду домой. И шперштунде уже не за горами. А у вас когда смена?

— В восемь Прасковья приходит.

— О, вы бедная!

На Верхне-Подвальном перед самым домом ему повстречался армейский патруль: три каски, три каски, три каски! Несмотря на дозволенный час, документы проверили. Если даже хор киевской оперы мог бы дружно грянуть «Броня крепка...» — на приказ предъявить документы, — то что же говорить о Лозинине, который с этого боку был неприступен, как Атлантический вал. Получая обратно аусвайс, о! как гаркнул он им «хайль Гитлер!», с какой яростью. Не приветствие и не напутствие, а энергетический эквивалент его неистовства.

Мысль стать Валечкиным Гитлером не давала уснуть. Но Лозинину к бессоннице было не привыкать.

(А в это самое время в квартире, сверху донизу завешанной и заставленной свидетельствами гроссмейстерских триумфов хозяина, велся привычным шепотом разговор:

— Ты за весь вечер ни слова не сказала. Как будто тебя и не было. Ты нехорошо себя чувствуешь?

— Не было настроения.

— Что, так Февр на нервы подействовал? Типичный гастролер. Приехал дать сеанс одновременной игры. На грека похож. А может, из дагестанцев? Или серб?

— Он меня не интересует. Гнусная книга, и автор ничем не лучше.

— Да, похоже, шельмец знал, о чем пишет. А теперь в организации, и на первых скрипках. Еще не было такого святого дела, на котором бы ни отпечаталась грязная чья-нибудь пятерня. Да что с тобой, Ириша?

— Ничего... Помнишь эту ужасную историю у Стезиных?

— Да, конечно. Лев Гаврилович тогда был переведен на «Кременчуг-кристалл», главным инженером.

— Так вот человек, который с их Светочкой это сделал, был режиссер тамошнего театра. Лозинин это был.

— Откуда ты знаешь? Лев же Гаврилович говорил, что...

— ...Что не знает кто и не хочет расследования? Он и вправду не знал. А Зина все знала и молчала, потому что... в общем, потому что сама была его любовницей.

Нехорошо на душе у Богатырчука. Признание в измене, хоть и чужой. Эх, Лев Гаврилович...

— Не надо было тебе это говорить. Я понимаю. Но ты: что со мной да что со мной.

А внизу под окнами патрули да патрули.)

Неожиданно Лозинин вспомнил про книгу — в кармане. Он открыл ее, начал читать... и закрыл в девять утра. Его ждали ванна, завтрак и великие дела. На сей раз с тростью, в шляпе шел он по шербатой плитке — еще помнившей подобных пешеходов: в шляпах и с тросточками. Память на это (трости, котелки, штиблеты) бывает разная: бывает прустовская, а бывает приказчиья; в какой из литератур, в каком городе, у кого из писателей какая — тут уж, как говорится, распределяйте сами.

Заслышав позади себя бодрое цоканье, Лозинин обернулся и махнул рукой извозчику — с весны в центре города появились извозчиьи пролетки. Чаше всего в них можно было видеть людей в форме, и выглядело это как в фильмах про революцию: белые в городе.

— В русскую газету.

— А дэ це буде? — спросил возница, и слыхом о такой не слыхавший.

Они остановились перед будкой, с которой покамест еще опали не все буквы, составлявшие некогда слово «Союзпечать». Купив «Вечерний Киев», Лозинин назвал улицу.

— А скоко ж дашь, ваше благородие? Две марки дашь?

По дороге он просмотрел газету и счел ее «Правдой» наыворот — чтением между строк он себя не утруждал, не тот случай.

— Жди, получишь... — показал извозчику «горняка».

Извозчик зарделся.

Лозинин поднимался не спеша. Случайные встречные с любопытством провожали его глазами.

— Доброе утро, могу ли я видеть Виталия Арсеньевича?

Сразу перестали стучать пишущие машинки, стихли голоса. Лозинин улыбнулся по отдельности каждой сотруднице. Они ютились в безобразнейшей тесноте, что лишний раз указывало на непрезентабельность издаваемого здесь листка.

— Виталий Арсеньевич, к вам! Виталий Арсеньевич!.. — крикнула одна из женщин, даже не повернув рогатой головы — косынка была завязана на макушке; все как в коммуналке.

Скоробогатов вывалился из-за фанерной перегородки.

— Иван Борисович, дорогой, — от неожиданности он не сразу нашелся, — вот, признаюсь, не ожидал. Ну, одолжили. Присаживайтесь... или хотите в мой, с позволения сказать, кабинет? — Тут он заметил недоуменно-вопрошающие лица своих дам. — А это наши энтузиастки, только энтузиазмом можно объяснить готовность слетаться в этот скворешник — кормушку-то нам прибить не удосужились... Сударыни, нас почтил своим посещением главный режиссер Киевской оперы Иван Борисович Лозинин.

Паня зарделась, как извозчик. Очень хотелось сказать: «Вы должны знать мою маму». Выручил Скоробогатов — спасибо ему.



— Вот, Иван Борисович, между нашей газетой и вашей оперой имеются династические связи. Лиходеева-младшая...

— Выходит, это вы страстная поклонница... — Не договорив, Лозинин достал из кармана роман Февра; точно так же он показал извозчику пятьдесят карбованцев — вместо того чтоб посулить их на словах. Режиссеры понимают значение зрительного ряда.

Паня ахнула и, закусив губу, посмотрела на Скоробогатова — готовая, как Бэки Тэтчер, вот-вот расплакаться.

— Что вы! — продолжал Лозинин. — В этом нет ничего дурного. Я тоже страстный поклонник Февра — отныне. Считайте, вы не одиноки. Виталий Арсеньевич! Вы мне дали на одну ночь — я торжественно вам возвращаю.

— Иван Борисович, вы уж прямо всех решили вогнать в краску. Это была исключительно фигура речи.

— Тем более. Книга одной ночи. И еще. — Лозинин щелкнул по своему экземпляру газеты и одновременно каблуками, по своей новоприобретенной привычке. — Я обещал с нынешнего дня стать вашим читателем — как видите, я им стал.

Взглянуть на оперную знаменитость, которая, глядишь, еще что-нибудь споет, прибежали и линотипистки, и ручные наборщицы Кóмар с Макаренко.

Лозинин стал прощаться и по своему уходу оставил Скоробогатова в полном недоумении: что сие означало? Просто так приехал, чтобы вернуть книжку? Совсем уж старосветские манеры. Нет, не может быть.

Кто-то, высунувшись из окошка, сообщил:

— Извозчик свой. Прямо как граф какой-то.

В театре Лозинин первым делом распорядился сделать в третьей студии новый замок и ключ без его разрешения никому не давать.

В репетиционном зале Лев Николаевич Прусак терзал оркестр, добиваясь особого звучания в первых четырех тактах арии «Идэ вы, идэ вы, казаченьки»:

— Цэ не пьяниссимо, панове, цэ ведмидь навшпыньки ходить. Будьте ласкави.

Группа хористов занималась немецким; хор был поделен на шесть групп, учительниц было две — цвай фрейляйн.

— Herr Galtschuk, was besuchen Sie gerne?

— Их...

— Ja, was besuchen Sie...

— Скажи ей, скажи: «Их безухе кляйне пивнухе», — шепчет сосед. Тупо ухмыляясь, Гальчук повторяет. Выщипанные брови фрейляйн подсакивают к потолку.

— Kleine — was?

Ей объясняют, что это «айне кляйне нахтлокаль». Всегда находится кто-то, чей немецкий до поры до времени таился под шапкой-невидимкой, которая теперь учтиво приподымается. Почему с таким опозданием? Да потому, что сразу после «ведомых подий» знание немецкого было чревато страшным подозрением: ну кто же в нас немецкий знав...

На большой сцене репетировался дуэт Бульбы и Янкеля. Бульбу пел молодой бас Славин, в театр пришедший из лагеря, как и Гурьян. Янкеля пел Снежневский — знаменитый исполнитель куплетов Трике. За роялем сидел семнадцатилетний студентик музучилища Саша, по прозвищу «Саша — ушки рожками».

С приближением часа дня Лозинин передал бразды правления ассистентке Василисе Сираго, а сам направился к себе в кабинет — ждать *своего часа*. Такие часы чаще всего отстают. Валечка должна была бы уже прибежать в истерику. Ее не пускают в студию! Там у нее ноты!

Он засмеется: быть отлученной от «Бехштейна» вкупе с китайской вазой, хоть и означает разжалование в рядовые, это еще полгоря. Горе придет, когда взамен продовольственной карточки для фольксдейчей, к которым приравнивались артисты оперы, ей на бирже труда вручат рабочую карточку... А «Прекрасную мельничиху», если это не библиотечные ноты, она может получить немедленно, сейчас он распорядится... Ну, хорошо, ладно, дам испытательный срок, ради дочурки. Прелестный цветок. Они сегодня познакомились. Напевает: «Цветок, что ты мне подарила...», — и смотрит в бездонные Валечкины глаза, самодовольный самец... Ах да, вас же было двое! Ну, там другая история. Кое-кто называет Петра Степановича «минером». То ли в шутку, то ли под видом шутки намек, как знать? На

всякий случай пусть саперы проверят. А то взлетит вслед за Лаврой опера.

Два часа. *Девушка* могла и не прийти: испугалась, застеснялась. Но на службу-то ходить обязана. С прогульщиками у нас поступают — Лозинин вспомнил недавнюю проскрипцию — «за законом военного часу».

Итак, два. В четверть он вышел, велел секретарше всем отвечать, что скоро будет.

— Всем-всем, Полина Петровна, непременно: Иван Борисович скоро будет.

— «Иван Борисович скоро будет», все понятно. — Секретарша была блондинка 987-й пробы и свою золотую косу носила «короной», оставляя на лбу «локон страсти».

У шпрахкурса началась переменка. То, как они дымили на верхней площадке, напомнило Лозинину студенческие годы: такая же каменная мозаика пола, такие же перила — деревянным рельсом поверх узорчатой решетки, такой же оживленный говор отовсюду. Вот только ковровая дорожка на ступеньках повитерлась да студенты — переростки...

— Учимся? Ничего, ничего, потом спасибо скажете.

— А сейчас можно спасибо сказать?

— Она спасибо из подхалимажа говорит, не верьте ей, Иван Борисович.

— А я тут и ни при чем, это капитану Мюнстеру спасибо. Это он организовал.

— Организатор всех наших побед.

— А не кажи гоп — ты еще немецкий не выучила.

Попавший в облако вокалистов, Лозинин, как всегда, был душкой, расточал всем улыбки, шутил — только шелк каблуков стоял.

Обходительность с собаками дворников берет свое: теперь он все чаще был не «Лох Зинин», а «Лозинхен» — это происходило по мере того, как Евбаз со своими воплями и криками отступал в прошлое, а будущее наступало решительно по всему фронту, все дальше и дальше на восток, в Хазарию, к реке Итиль, насвистывая, наигрывая на губной гармонике, напевая про «блუმхен», «лозинхен», «луизхен».

Но вдруг, приторно-светский, он вмиг сморщился, как позабытая в золе картофелина, и на полуслове исчез.

— Что это с ним?

— Или зубы, или живот...

— Лозинхен жареный, Лозинхен пареный...

Любителям оперы «Риголетто» памятно, при каких обстоятельствах песенка Герцога звучит в последний раз. Горбун уже попирает ногой тело красавчика Герцога. Он отмщен. Тот, кто сорвал прелестный цветок — обесчестил его дочь Джильду, — мертв. Что?! Снова льются знакомые звуки... Издалека доносится голос самодовольного самца:

Сердце красавицы склонно к измене...

— Чей голос? Нет... О, проклятье!

Заменим песенку Герцога на песенку Шуберта, вот и весь сказ. Из-под дверей третьей студии как ни в чем не бывало лился ручеек. Он весело журчал, этот мельничный ручей, под оскопленно-кровавыми ноготочками...

Лозинин ринулся вниз, в слесарную.

— Я говорил, ключ от третьей студии без моего ведома никому не давать? Да или нет?

— Енерал Монстир... приказал...

Мюнстер здесь? Глаза засверкали. А мы на него — Майнцера. Лозинин найдет, чем убаготворить этого боженьку со свастикой. Плохо, что, фервальтунгс-директор все еще болен, несколько дней, как его замещает прокурорист Гошкевич... Мюнстер, говоришь, приказал...

Генерал-музик-директор выглядел, по своему обыкновению, словно перед выходом на арену. Недоставало шпор и хлыста, а так — галифе топорами, сапоги бутылками, серебряные погончики. Цирк да и только! Но цирк — зрелище не для слабонервных, там выступают хищники, там артисты рискуют сорваться с трапеции.

Лозинин явился свидетелем головомойки, которую Мюнстер задал Гущаку — в прошлом регенту Троицкой церкви, а нынче хормейстеру.

— Вы уже перевели на церковно-славянский оду «К радости»? В дарницком лагере воздвигли Храм на Крови, требуется регент.

— Егор Яковлевич, но мы уже со следующей недели начинаем репетировать. Нужно же было сперва в каждой партии русскими буквами немецкие слова написать.

— Русскими буквами... И чтобы в программках стояло: «Хор унтерменшей Киевской оперы». На радость господину Штрайхеру. Товарищ Гушак! Никаких русских букв. Умственно отсталых вы лично будете стерилизовать. Вот этими ножницами... гы-гы-гы!.. Слышали о нюрнбергских законах?

Когда Гушак вышел от Мюнстера, колени у него дрожали.

Мюнстер резюмировал:

— Все певцы — болваны. И немецкие, и китайские. Но русские еще патологические лентяи!

— И вдобавок грязные животные, — поторопился вставить Лозинин. — Вчера...

Он пересказал вчерашнее кино, не называя имен. Опасался добродушно-цинической реакции, дескать, ах вы, шалуны. Какое! Вердикт Мюнстера был суров:

— Приказ о немедленном увольнении! Мало! Чтобы публично названа была причина! Приковать к позорному столбу! Сеновал себе нашли... прямо на службе... Скотство!

Он рвал и метал. Лозинину даже стало подозрительно: известно, кто громче всех осуждает порок... Разве что протестантской морали бесконечно чужда загадочная славянская вольница.

Но когда Лозинин назвал имена преступников, карающая длань, уже было занесенная над их головами, дрогнула и опустилась.

— Ансельми (я вам не говорил?) услышал пластинку Гайдабурь и в полном восхищении. Он мне заявил, что такого интерпретатора шубертовских песен еще не встречал. Хочет устроить ему концерты в Берлине, представить своей крестурой. Тут уж сами понимаете... Свинство, конечно, но ничего не поделаешь. В следующее воскресенье он приглашен выступить у Ансельми дома. Соберется избранное общество. Кстати, будет румынский консул — если нужно что-то провентилировать, то...

— Я встречаюсь с ним в пятницу, — сказал Лозинин. А на лице его читалось: я отбываю эту повинность в пятницу.

Еще один афронт. Он не только не зван, он даже не поставлен в известность.

— Да, чуть не забыл. Я говорил с Ансельми насчет «Фиделио».

— Ну, и...

Мюнстер развел руками:

— Предпочитает «Лоэнгрина».

Лозинину представилось, как он ставит «Лоэнгрина»: рыцари в исторических костюмах размахивают картонными мечами... в общем, ТЮЗ.

— Кисло.

— Не горюйте, все равно будет приглашен немецкий режиссер, возможно даже Виланд Вагнер. Или тот же Нускнакер. Мне было сказано, что немецкую оперу должен ставить немец. Так что, Иван Борисович, нема яйки, нема суп — до свиданья, Кременчуг... гы-гы!

## Х

Но лучше петь в раю, чем врать в концерте,  
Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства.

.....  
Фройляйн, скажите, вас ист дас «инкубус»?  
Инкубус дас ист айне кляйне глобус.

*И. Бродский. «Два часа в резервуаре»*

...И чем дольше девочка играла, тем шире она улыбалась. Поднимите руку, кому незнаком этот психопатический юмор. Девочке, вместо губной гармоники, дяденька подсовывает бритву. И чем дольше девочка играла... тем шире улыбался Лозинин, поняв, что часы отстают и надо запастись терпением в ожидании своего часа.

— Мама, знаешь, кто сегодня приходил в редакцию? Никогда не угадаешь. Иван Борисович. Только не из романа Февра, а ваш интендант.

Валю как током дернуло.

— И что же?

— На несколько минут. К Скоробогатову. Вернуть книгу. Я думала, со страху умру.

— Почему при виде его ты должна умирать со страху? Он что-нибудь сказал?

— Нет, это совсем другая история. Не важно, обошлось. Скоробогатов не сообразил.

— Постой, я хочу знать, в чем дело.

— Честное слово, теперь уже не важно. У Скоробогатова лежала на столе книга, а я ее взяла и прочла. Но он не догадался.

— А при чем тут Лозинин?

— Лозинин? А, твой директор... Он просто зашел на минуту. И у нас все попадали. Квашневская решила, что он граф, раз у него свой выезд. Я не стала спорить.

— А он что-нибудь тебе сказал?

— Да нет, ничего такого. Он был-то всего одну минуту.

Валя чувствовала себя ужасно после вчерашнего: побита, расстроена, напугана — пусть в конечном итоге и одержала верх. То есть, может быть, именно, что не в конечном итоге — это-то ее и тревожило. Никогда не праздную победу. Ну, показали ему фигу с маком. Как глупо, однако! Ничего этого могло бы и не быть. Зачем же он поперся в газету?

Валечка и без того последние дни была на взводе: неужели она поедет — нет-нет, не произноси! О Боже, в Берлин! А в воскресенье предстояло играть перед... как немцы говорят — крэм де ла крэм? Сливки сливок? По-русски даже не скажешь. Крэм де ла крэм (произносит она, смакуя, облизывая).

Она любила немецкий лоск, достоинство — но в мужской его ипостаси. Сама бы ни за что не хотела быть немецкого роду-племени. «Я слишком женщина, чтобы сожалеть, что не родилась немкой». «Либо ты женщина, либо ты идеалистка». «Что для мужчины хорошо, то для женщины смерть».

Паня обожала эти «Поучения матерей». Вершиной их являлись Валечкины рассуждения о войне. Без мужской заинтересованности, хотя бы и постылой, у нас пропадает

«молоко любви» — которого у немок отродясь не бывало. Поэтому что с мужчинами, что без них — немки остаются себе верны. Себе — не мужьям. А те думают, что им. Вот и воюют за тридевять земель от дома, таская своих фрау и киндер в нагрудном кармане.

— Мама, что за человек Лозинин, расскажи.

— Я плохо его знаю, а с незнакомыми людьми всегда надо быть осторожной.

— Значит, и с ним тоже. — Паня состроила недовольную гримасу. — Смотри, что это?

В окошко было видно, как к дому с пулеметным треском подкатил «цундап» — население с подачи какого-то знайки называло их «зажигалками»; приехавший поднял забрало защитных очков, обеими руками взял что-то из коляски — и в следующее мгновение раздался стук в дверь.

На пороге стоял молодой человек, немногим старше Пани, судя по улыбке, очень славный. Каска с защитными очками смотрелась на нем чьей-то пропагандистской придумкой — с целью умилить: обличьем мальчик, облачением муж. Огромная картонка трогательно примиряла первое со вторым. Отличная режиссерская работа.

— Здравствуйте, вы фрау... Ли-хо-де-е-ва... (Guten Tag, sind Sie Frau...)

— Дас... дас майне мутер.

Вошла Валя — в туфельках.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. — Она умела гладко выговорить по-немецки несколько фраз. — Хотите чашечку чаю?

Симпатичный молодой человек замялся. У него пакет для госпожи... снова взглянул в шпаргалку... Валентина Лиходеева...

— Это я.

Он положил перед Валечкой картонку. Паня поймала на себе знакомый взгляд. Как это все-таки чудесно, когда никто никому не враг. Конечно, на нее часто так смотрят, только она отводит глаза. А тут улыбнулась. «Кто же виноват, что я — распрекраснейшая панна», — говорила ее улыбка. А мама-то, гляди, уже на каблучках... Вот темпы!

Коробка была от немецкого командования. Догадаться что в ней, не составляло для Пани труда.



Она вышла проводить солдата.

— Ауф видерзеен.

— Auf wieder sehen.

Соседи, естественно, видели, что к ним приезжал мотоциклист. Явно не по личному делу, а по приказу вышестоящих товарищей, раз тут же умчался. А чего вы хотите — мать в театре, дочь в газете.

Валечка была женщиной во многих отношениях замечательной. Например, она обладала способностью с невероятной быстротой одеваться и раздеваться. Возвратившись, Паня ахнула: какое платье! Настасья Филипповна должна спрятаться в своем уголке и не рипаться. Из алого бархата, открытое, такой длины, что если закружиться, то коснется сразу четырех стен.

— Мамочка, все лопнут от зависти.

— Там, куда я его надену, не лопнут.

В такие сроки шьют платье для Золушки. У феи в подвале оборудовали мастерскую мышам, где те шили все подряд, от мундиров из черного сукна до платьев из алого бархата. Добрая фея Киева, Ансельми любил свой город. Насколько город был его — настолько и любил. Сам во все вникал. Покровительствовал искусствам, обеими руками стоял за реставрацию церквей, обеими ногами стоял в Аскольдовой могиле, видя в ней малую Валгаллу — отсюда и выбор места для кладбища павшим воинам: близ языческих святынь, над Дунаем... прощанье, Днепром.

Есть у Ансельми одна пламенная страсть: он много лет собирал пластинки с записями песен Шуберта. Его «шубертиана» была представлена звукозаписывающими фирмами всех континентов, включая австралийскую «Голден войс» и аргентинскую «Ла Куэну». После освобождения Киева благодарные сотрудники радиокомитета подарили Ансельми альбом пластинок с шубертовскими песнями, среди которых имелись две в исполнении Гайдабурь. Гайдабура пел так прелестно, что не мешал даже дурацкий русский перевод (зато с такой фамилией, как у пианиста, лучше было бы не родиться — для него же лучше). Ансельми пригласил Петра Степановича к себе, расспрашивал, у кого он учился да с кем выступал. Как оказалось, запись была сделана перед самой войной, в Лемберге, со случай-

ным аккомпаниатором, а вообще-то его постоянным партнером является фрау Лиходеева из киевской оперы.

— Дас ист гут, — сказал Ансельми.

Он показал замечательному украинскому певцу свою коллекцию. Они слушали пластинки, пили вино, сравнивали разные исполнения, что всегда интересно. Хозяин благодарил гостя за приятный вечер, гость благодарил хозяина за то же. Возможно, удовольствие и впрямь было обоюдным: Гайдабур, в отличие от Гурьяна, не боялся немецких овчарок — у ног Ансельми целый вечер в позе сфинкса пролежал красавец Рекс, который, как и его хозяин, Шуберта обожал.

«Вагнер — лишь аляповатая декорация того, чем немцы обязаны Шуберту, — записал как-то Ансельми в своем дневнике. — Светлое одиночество в смерти, зимний путь солдата — перед этим меркнет зарево Валгаллы. И как бы рыцарственно-суров ни был хор пилигримов, только скорбный мажор «Липы» действительно затмевает десять заповедей».

Наступило воскресенье. Небо пошло метастазами благовеста. Опекаемые Антихристом звонницы возвещали городу о воскресном молебствии. С Печерской, с Владимирской — отовсюду удары колоколов летели черту в уши.

По Безаковской ехал мотоциклист, он вез к поезду чью-то историю болезни, уже через два дня она будет на столе у знаменитого профессора, светила медицинской науки. Для мотоциклиста — родом из Гельзенкирхена — воскресный перезвон колоколов означал, что сегодня нет школы. Он вздохнул и пришпорил свой «цундап».

В это утро слепые лирники из пункта раздачи (Телятинский переулок) били поклоны в Макарьевской церкви под пенье двух сладкогласных старушек; а накануне поп — тот самый, вылитый вахтер — возглашал «свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля».

Завсегдатаи кухмистерской на Бессарабке по воскресеньям ходили подышать ладаном во Владимирский собор. Правда, не все. Некоторых можно было встретить на толкучке, где торговало пол-Киева — кто чем мог. А у кого совсем уж ничего не осталось, те пели, играли на баяне, гадали на картах, порою просто плакали, сидя на земле с

протянутой рукой. И проделывалось это либо с удивительным блеском, либо с дремучим неумением — серединки на половинку здесь быть не может.

Их тебя чекала,  
Варум ты не прийшов?  
Я не такая фрау,  
Щоб ждати драй часов!  
Нах хауз я тикала,  
Бо з неба вассер йшов, —

это поет маленькая девочка, изображая, возможно, даже свою мать.

Девочкой по воскресеньям Паня прибежала к маме в кровать.

— А Булка вчера опять за диктант получила кол. Лаврентий Германович говорит, что она «корову» через «ять» пишет, что если так и дальше пойдет, то ей придется после девятого класса выскочить за лысого доцента и всю оставшуюся жизнь штопать ему носки.

— Завидует он лысому доценту — он-то себе носки всю жизнь сам штопает. И девятиклассница выйдет не за него, а за лысого доцента. Если не получится за профессора.

— Мама! Да в него полшколы влюблено. Полгорода, может быть.

— Сам он в полгорода влюблен. А носки нештопаны. Знаешь, доченька, кому-то лучше после девятого класса замуж выйти, чем до самой смерти в девах стыть.

— Это уродинам.

— Уродина свое не упустит. Счастье женщины начинается там, где кончается ее красота.

— Ну, и не нужно мне этого счастья. Пусть Булка им подавится.

— Мамина дочка.

— Или Ялышева. Вот кто настоящая мещанка, ноги уже сейчас полнеют.

...В это утро Паня снова прибежала к маме, как когда-то. Только под одеяло не забралась, а села на краешек. Вдвоем уже теперь в одной кровати не поместишься, кроме как валетом.

— Ну, мамочка, доброе утречко.

(Скоробогатов, по его словам, так хотел бы газету называть. Говорит, глупо на заре новой жизни «Вечерку» выпускать.)

— Ну! Пора, красавица, проснись, протри сомкнуты негой взоры. Как ты себя чувствуешь на заре новой жизни, а, мам?

— Который час? — спросила Валя, зевая и проводя ладонью по всему лицу.

— Пол-одиннадцатого. Я уже успела полрассказа написать. — Она помахала общей тетрадью в твердой старорежимной обложке «под мрамор» — в действительности своей камуфляжной окраской обаянной эмблеме ГТО.

Рассказ Паня писала исторический, «Маруся Мильгром». Дело происходит в Гражданскую войну. На углу Крещатика и Прорезной петлюровец хотел ударить тесаком нищего. Физиономией, понимаете ли, ему не угодил. Капитан германской армии Ансельм фон Петерли... («Мам, а как ты думаешь, сколько Ансельми сейчас?» — «Лет пятьдесят») ...кидается на погромщика с криком «ду, швайн!». Его полк уже оставил Город. (Паня тоже пишет *Город* с прописной — как Февр.) Ансельм, прикрывавший отход своих товарищей, отстал и теперь должен скрываться.

— Бачь, Петро, немецкий вояк!

Нищий с деревяшкой в левом ботинке позабыт.

— Хальт! Тримай! — неслось вдогонку убежавшему Ансельму.

Выстрелы, крики: «Тримай нимца, тримай офицера!» Тяжело бежать в гору. Но вот и Владимирская, сейчас влево, по Стремянной, и проходными дворами на Разъезжую. Двое в серых шинелях, а за ними третий, выскочили из-за угла. Ансельм, замедлив бег («скаля зубы» зачеркнуто), шесть раз выстрелил в них, не целясь. Седьмая пуля — себе. Все кончено. Прощайте, брудер Клаус, швестер Элена...

И тут он увидел *Ее*. Простирая к нему руки и сияя огромнейшими от ужаса глазами, она прокричала:

— Офицер, хир, хир!

Ансельм нырнул в Средне-Привольный, к спасительным рукам. Глаза женщины очутились у самых его глаз, и в них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.

— Лауфен хир. Фюр мир лауфен, — шепнула женщина и побежала, Ансельм — следом. Подол у нее развевался, перед глазами Ансельма мелькали ноги («мелькнула нога в черном чулке» зачеркнуто), очень стройные, в черных чулках. Ах, эти ноги! Они легко несли женщину вверх по кирпичным ступенькам.

«Майн реттерин», — подумал Ансельм, задыхаясь, и вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Он был ранен в левое плечо, еще спасибо, что кость цела.

— Нох... нох веник! — вскрикнула она.

Когда они укрылись за дверями квартиры, Ансельм оглянулся: потолки такие низкие, что, если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. В полумраке блестел лаком бок старого пианино. На пюпитре стояли ноты.

— О, Шуберт!.. Ви их либе Шуберт! — вырвалось у Ансельма.

Это правда, с Шубертом-голубою ему было не страшно идти в атаку, за «Липу» можно и умереть.

— Зи... зи вундерфрау. Абер их гей. Конен бандитен комен.

— Найн, — решительно сказала она и вышла.

Ансельм слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в шкафах...

Она вернулась, держа («в руках за ручку» зачеркнуто) двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий.

— Вен зи комен, — сказала она смущенно. — Зи верден лиген, зи золен рейтузен вег. Их верде заген, дас зи майн кранкер ман.

Она туго перевязала ему руку выше раны, кровь тотчас перестала.

— Комен зи хир, — тихо попросил ее Ансельм. Она покорно приблизилась. Тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбегала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты. — Вен ниht зи, их верде тот.

— Абер зо зи махен айнц тот.

— Ви зо их? — удивился он.

Она благосклонно кивнула головой:

— Ну я. Зи лауфен, шисен, видер лауфен. Айнц лигт тот. Зи зер тапфер. Зи гауптман?

— Майн наме гауптман Ансельм Петерли. Абер ви ир наме?

— Майн наме Маруся Мильгром.

— Варум зи айнц, Маруся?

Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону:

— Майн мутер ецт ин концерт-турне, унд их айнц.

— Комен зи хир. — Он обхватил ее за шею, притянул к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному.

Женщина не удивилась поступку Ансельма, она только пытливей вглядывалась ему в лицо.

— Гейн зи шлафен.

— Найн, — ответила она и погладила его по руке. — Найн, — повторила она.

Ансельм не выдержал и опять обнял и притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее к себе до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.

— Лиген зи унд ниht беверген, — прошептала она. — Абер их верде плетен ир копф.

Она протянулась рядом с ним, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо...

Паня нагрела таз с водой и еще чайник, из которого экономично лила маме на голову. «Еще... стоп!» — командовала Валя, в промежутках скребя пальчиками в мочале намыленных волос. Мыло было еще довоенное, польское. Петр Степанович привез тогда из Львова много всяких подарков: маме — туфельки, в которых она будет сегодня вечером, а себе привез темный в полоску отрез на костюм, который тоже небось сегодня наденет. Так что у них с мамой сегодня будет вечер памяти Польши; Пανε запомнились шоколадки «Маленьство» — белого цвета!

Чайник приходилось наклонять все сильнее, но Паня рассчитала верно, и воды хватило. В довершение она окатила из таза полноводным, но тут же иссякнувшим пото-

ком Валечкин склоненный затылок, худенький, с ложбинкой посерединке. Волосы сосулькой свесились со лба.

Они завтракали хлебом с колбасой и чаем, колбасы с ноготок, но, по крайней мере, из немецкого пайка: знаешь, что ешь. Чалма на голове у матери отзывалась предчувствием небывалого торжества. Небывалого, как белый шоколад из Львова.

— Волнуешься?

Валя как бы удивленно провела по лбу пальцами: благородная открытость лица, странная в ней, меняющая ее тип...

— Я волнуюсь всегда. Я волнуюсь, следовательно, существую.

Свои пианистические пальчики с крохотными флажками ногтей она облекла в простые вязаные перчатки, нелепые в августовскую жару, и уже не снимала их до самого отъезда — разве только, чтобы издать несколько звуков или направляясь в скворешню (что случалось частенько). Паня предупреждала малейшее ее желание, за понятными исключениями.

Автомобиль был подан с немецкой точностью (что ж! дочь — в газете, мать — в клозете). Пανε этот автомобиль особенно приглянулся тем, что передние двери у него открывались назад, навстречу задним. Спустя несколько минут после появления «шофера немецкой армии», белоглазого усача с парой легко спарываемых ефрейторских нашивок, из другой двери выпорхнула Валечка. Мария Стюарт не держалась, как она.

— Я готова! — бодро-весело. А сама скручивала и скручивала трубочку нот, словно собиралась скрутить ее до толщины струны.

— Ни пуха...

— К черту, глупышка.

«Такой она и запомнилась ей», — неопознанной цитатой пронеслось в Панином мозгу. Как если б Валентину Степановну ждала плаха. Предпраздничную атмосферу это только захватывающе накаляло.

Паня размечталась (надо было придумать конец рассказа)...

А тем временем Валя ехала по «Городу», чью жидивську морду — до того разбитую — не хотелось и узнавать. Город в кавычках. В машине она в последний раз проезжала по нему цветущим первомаям сорок первого года. В «линкольн» набилось, наверное, с десятков весельчаков-артистов, представлявших самые разные жанры — был даже «человек-невидимка». Правительственный концерт в «Купчихе», все подходы перекрыты — нарядами, отрядами, в цивильном и в форме, попрятавшимися в щелях, как тараканы, и, наоборот, настырными, что твои дезинфекторы. Прежде чем они подрулили, их двадцать пять тысяч раз останавливали и пересчитывали, в том числе и «невидимку». А потом по Крещатику как пролетит канарейка с парюю громкоговорителей на крыше: «Принять вправо, остановиться! Принять вправо, остановиться!» — и за нею одиннадцать «Чаяк» — глаза разбегаются, прямо не знаешь, по которой стрелять. Все в прошлом... А ведь тогда казалось, что Крещатик — это на века. Поди ж ты, дня не прожили, как Дума превратилась в римский Колизей.

Они заехали за Петром Степановичем на Хорст-Весель-штрассе (Карла Либкнехта). Шофер скрылся в парадном — наш и не подумал бы подниматься, посигналил бы.

Валю обуял страх: одна в немецкой машине. И не потому, что боялась хулиганов — угроза исходила не от человеческих существ. Стоило шоферу уйти, как над машиной с затиснувшейся в уголок Валечкой сгрудились... духи Киева. Немецкая машина! Со всех сторон ее теснили дома, улицы, деревья. Город вдыхал зауэрштоф и выдыхал ненависть — такую, что в припадке ее сам себя обратил в руины. Автомобиль, при всей своей экстерриториальности, не был тем магическим кругом, внутри которого Валечка чувствовала бы себя в безопасности. Гробы с мертвыми панночками летали по воздуху. В этот миг она впервые увидела в немцах своих защитников. Как покойно было сидеть за широкой униформированной спиной шофера немецкой армии...

Доченька — учить немецкий! Укрыться в Германии, пока это еще возможно! Они здесь никогда не наведут порядок. Увидишь, повторится восемнадцатый год.



Вышли — и шофер открыл дверцу, сперва ту, что распахивалась вперед, — потом, встречным движением, свою. Большетелый Гайдабура неловко плюхнулся рядом с Валечкой. Как и ожидалось, на нем был костюм английского сукна из польской лавочки во Львове — сшитый тем самым киевским портным, которому лучше было бы на свет не родиться, в его же собственных интересах (по глубокому убеждению Петера Ансельми).

— Волнуемся?

— Пока дышу — волнуюсь.

Найдет, что ответить. Впрочем, Гайдабура знал, что Валя — принципиальная трусиха. Подлизывается к судьбе. Потому вся ее жизнь являет собою падение из окна.

— М-да!.. Я вчера повстречал Лозинина на Подоле.

— А что ты там делал?

— Ну, мало ли что. А что он там делал?

— За тобой следил, Петушок.

— Гм...

«С подлеца станет, — подумал Петр Степанович. — И чего он причепывся так? Ну, было и было». Валечка сидела, закрыв глаза. Серые сумерки уподобляли ее лицо черно-белой акварели. «Как пери спящая в гробу...» — романс, который он исполнял с нею много раз.

— Ты не встречалась с ним больше?

— В каком смысле... — Она даже вздрогнула. — Нет, слава Богу. О, это все ужасно... ужасно...

И снова — как пери спящая. А у самой от волнения влажные холодеющие пальцы. Вот вламывающийся в студию разъяренный Лозинин. Что будет, если и Петушок узнает! В придачу немецкий автомобиль мчит ее куда-то меж страха и надежды. Так что, глядишь, еще удастся вырваться из этого загробного мира, в котором дома — склепы, жители — нетопыри. (И все это стягивалось в один узел где-то под ложечкой.)

А Гайдабура думал: «Будет номер, если он про меня вынюхивает. Но, сдастся, я его первый увидел. Эх, треба ж було заховаться та самому розвидать...»

— И кто его тянет? Без тягача ты... — решительным жестом Гайдабура показал фигу. — Во!

— Он сам себе тягач, у него собственный мотор. Может далеко уехать.

— Или вот-вот заглохнет.

— Или вот-вот заглохнет, — согласилась Валя. — От нас это в любом случае не зависит.

— М-да... Егору Яковлевичу про нас все уже доложено.

— Думаешь?

— А чего думать. Сукин сын. Конечно, все рассказал. Но если этот... — он понизил голос, — всех начальников начальник (имя Ансельми не возмиши всуе, при шофере то бишь) скажет: чтоб было мне так и так, — то будет, как он сказал. Все решает один-единственный голос... — Гайдабура оттянул кожу на кадыке и звучно откашлялся. — Мой голос.

«Да, голос — тоже валюта, тоже имеет хождение при любой власти. И все же Шуберта любит не каждый, а Валечку Лиходееву... Господи, только б все сложилось!» В целом мире по-настоящему ее волновали только два человека, она сама и Паня — здесь она не разделяла. И до той поры, пока это оставалось единым целым, все как-то складывалось, в порождение иллюзий, что ее бог — истинный. Иным от доски до доски удается молиться черт-те кому. В юдоли слез это зовется счастьем.

Приехали.

## XI

Стимфалийские птицы выют пулеметные гнезда.

Голубой особняк в облачках белой лепнины (украинское барокко второй половины XVIII в., архитектор Растрелли) стоял чуть отступя от тротуара — позади чугунного узора, сразу за которым рос вяз. На черной, словно обуглившейся ветви разместились две вороны и каркали почти человеческими голосами. Их кривые клювы углем были обозначены на фоне тускло-голубого неба.

Огромные окна литого стекла, в закатный час всегда пылавшие, на сей раз ярко светились изнутри. Стражники в стальных шлемах, пулеметные гнезда — все это, вероятно, и имело бы в глазах гостей вид грозный и в то же вре-

мя утешительный, когда б сами гости не были плоть от плоти стимфалийских птиц. Из двух десятков мужчин только четверо явились в белых смокингах — украденных из «Касабланки»: консулы Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Да еще на Петре Степановиче был костюм английского сукна из польской лавочки. Что до кавалера Гпосси (Гноччи? Ньюкки?), итальянского консула, то он был в форме капитана «Титаника». Остальные — офицеры вермахта, СС и СД.

Присутствие нескольких дам исключало скачки верхом на стульях и прочие буршеские забавы. Словак Злоти-на был с фрау Злотиной, еще некоторые пришли со своими фрау. Всё мегеры. Кроме одной — которая на Валю даже не взглянула. Фасон держит. Небось каждый день играет в теннис. Небось муж (какой-то «фон» в монокле под рассеченной бровью) не лил ей воду на голову из чайника. Да разве можно сравнить, что оставалось за кадром у этих дамочек — и у Валечки! Но в кадре Валя смотрелась наравне со всеми, как будто тоже имела и платяной шкаф с нарядами, и прислугу, и в придачу ватерклозет.

В подъезде, под картушем с серпом и молотом, их встретил адъютант. Валя позавидовала его перчаткам. Но несколько минут спустя ее стынушую от волнения лапку уже согревал в энергичном рукопожатии устроитель сегоднешнего вечера. Похоже, излишки его генеральских лампасов пошли ей на платье.

— Я ужасно волнуюсь, — сказала Валя.

Ансельми пронизательно на нее взглянул. Это был рыцарь без сучка без задоринки, с несколько мужиковатым лицом, обличающим в служаке неисправимого идеалиста — что не всякой службе во вред. Читаем в дневнике Ансельми от двадцать девятого вересня сорок першого року: «Смерти нет ни субъективно — поскольку невозможно констатировать собственную смерть, ни объективно — поскольку, констатируя чужую смерть, ты сам продолжаешь жить. Кто говорит «убийца»? Убийцы нет...»

Гайдабурю Ансельми приветствовал как старого приятеля — и тихо распорядился поставить еще два прибора. Так-то. Первоначально он велел «покормить музыкан-

тов». А все Валино «я ужасно волнуюсь» (на что последовал «проницательный взгляд»).

Выучившись дюжине немецких фраз, Валечка производила их без того комического акцента, которым в «Летучей мыши» граф Орловский потешает публику: «На здррровье». Гораздо хуже обстояло дело с Гайдабурой, без пяти минут камер-зенгером. Оттого, что он теперь пел «Ди шёне Мюллерин» вместо «Прекрасной мельничихи», хотелось только крикнуть на весь зал: «Да хорош язык-то ломать! Давай, Петька, спивай по-нашему!»

Ансельми был озадачен. Прежде чем преподнести этот «цветок земли самоедской» в дар фюреру, его следовало очистить от того, что составляло национальную гордость Украины, — от трехметрового слоя гумуса.

Цикл песен Шуберта на стихи Мюллера прослушали если и не в позе сфинкса — как Рекс, то, как он, не шелохнувшись. Головы были склонены набок или запрокинуты. Те же, что оставались строго перпендикулярны погонам, символически поддерживались кончиками пальцев, сведенными на уровне подбородка. Ни один сапог не стоял параллельно другому, но свешивался с колен *ab libitum*: либо налево, либо направо.

Консулы, в опровержение того, что на восток от рейха живут варвары, любили Шуберта ничуть не меньше гг. офицеров. А домнер Войку даже больше. На его лице, с приставшим к нижней губе рыжим клочком эспаньолки, выразилось такое, словно вместо Петро Гайдабуры своими талантами в этот момент блистала Дарья Свиридовна — своими скрытыми талантами.

Отлетел последний аккорд, а с ним и жалобы сохнущего по мельниковой дочке деревенского дурачка, и зависть его к охотничьей шляпе с пером, и все эти рощи, луга, ручейки. Ведь суший же вздор в масштабе наших лесов, полей и рек.

Камерной музыке — камерные аплодисменты. В них различим каждый хлопок. Потом все благодарили голосистого аборигена «за руку», многие — на его родном языке: «Отшень карашо... бардзо добже...» Петр Степанович отвечал: «Данки зер... данки зер...»

Вокруг Валечки и ее красного платья образовалась своя кучка. Кто из присутствующих не брэнчал в детстве на рояле — все! Поэтому ее игру они могли оценить по достоинству и даже сверх того. Последнее — в меру собственного неумения.

А Валя в ответ шлепала немецкими фразами. Глаза ее излучали то славянское тепло, ради которого и позабыл Олоферн, на свою голову, первейшую заповедь ассирийского воина: «расеншанде». Кавалер Гнотчи, не будучи ассирийским воином, сделал Вале признание, столь же лестное, сколь и отважное: в том, что немецкие песни в сегодняшнем концерте не уступали ариям Верди или Пуччини, исключительно заслуга ее пальчиков — и он поцеловал кончики своих собственных.

Ансельми подозвал к себе Мюнстера, тот вопросительно щелкнул каблуками:

— Герр генерал-майор?

— Я хочу с вами поговорить. Кажется, вы знаете кого-то, кто ставит произношение певцам...

Во время супа у Гайдабуры улетел под стол кусок мяса. Валя, обезьянничая с остальных, ложечкой ела из железной ракушки странные помпошки. Сидевший с ней плечо к плечу «немецкий командир» сказал, и даже подробно объяснил, что это. Валя слушала с пониманием, действительные границы которого искусно маскировала. Ей помогало царившее за столом многоголосие. Как и в пляжном волейболе, всегда можно было уклониться от слишком резкого мяча, зная, что его за тебя отобьет кто-то другой. Основных игроков в ее команде насчитывалось трое: по правую руку, по левую руку и против левого глаза — против правого сидела фасонистая фрау, не снисходившая ни до кого.

Валечка украдкой ее разглядывала: «фониха» только и знала, что поддакивать своему полуторбровому «фону». Валечку она проигнорировала, даже когда румын Войку крикнул — поверх нескольких голов: «У вас руки феи!» — опрокинув заодно чужой стакан. (В иных обстоятельствах это могло бы стать пострашней ненароком вырвавшегося «соггу». Однако немцы книжек не читают, они Шуберта слушают.)

Унтер-официантский чин — с прямым пробором над прыщавым лбом, — в чьи обязанности входило только убирать посуду, кинулся заметать чужие следы. Гайдабура злорадно улыбнулся.

— И кого у нас ни дрессировали, Петр Степанович, — сказал ему гауптман Мюнстер — он же Егор Яковлевич, о двух матках ласковое теля. — Если тюленя могли научить рылом в волейбол играть, то, поверьте, мой Ансельм сделает вам такой выговор, что все решат: ганноверанер.

Мюнстер размечтался:

— Воображаю себе, какую он скорчит рожу, когда услышит: «Герр оберст, стрелок Тальберг прибыл в ваше распоряжение». (Майнцер этого не услышит никогда.)

«Хран шампань», — произносил обер-официантский чин, как в комедии Скребицкого, и Мюнстер подставлял свой бокал под струю, бившую из камки белохрущетоу — в которую была завернута бутылъ.

— Больной! Знаем мы этих больных! Больной — аппетит двойной... гы-ы-ы...

И все это громко, по-русски. Гайдабура стал смущенно озираться по сторонам. Но кругом стоял гвалт, лица у гостей раскраснелись. По примеру хозяина все расстегнули крючки под крестами. Крест же был на шее у каждого. Только Мюнстер гляделся нехристом.

— Что вы стесняетесь? На хорошем русском изъясняться не стыдно, на плохом немецком — стыдно. Ничего, придет Ансельм...

И совершенно в телячьем восторге, когда уже от Великой Оперы до цирка один шаг, бывший цирковой капельмейстер вскочил на стул. «Либ фатерланд, магст руиг зайн», — запел он, дирижируя. Пьяные голоса подхватили: «Фест штейт унд трой ди вахт ам Райн» — «Надежна и верна стража на Рейне».

— А ну, подтягивайте и вы! Родину надо любить... Это такое счастье... А если их еще несколько...

И тогда знаменитый сладкопевец стал беззвучно разевать рот.

Мужчины остались пить кофе, курить сигары, и женщины, как исстари водится, перебрались в гостиную. Валю окружала доброжелательность, за которой скрывалось лю-

бопытство. Круг тем был невинный, даже умилил бы (да некому было умиляться). Любое обращение к ней начиналось с неперенных комплиментов — сперва ей, затем Толстому, Достоевскому, Чайковскому, прежде только спрашивали, кто она, украинка или русская. Валя обычно отвечала: мама украинка, папа русский. Говори так, и никогда не ошибешься. Русская исполнительская школа тоже поминалась добрым словом — уже без имен. Разрушения в Киеве вызывали сожаление, своевременное разминирование оперного театра *нашими саперами* воспринималось с чувством глубокого удовлетворения. Кстати, об опере: что дают, да что намечено, да об украинских голосах, да о том, верно ли, что теперь будут петь по-немецки. Кстати, как прекрасно она владеет немецким. (Ах, их битте зи...)

— Да-да, я б на вашем месте никогда не смогла так выучиться русскому.

Сказала — и никто почему-то не окаменел, не стал в панике озиаться, не задохнулся в негодовании: *мы?* На *ее* месте? Напротив, фрау фон Задаваке, до сего не проронившей ни слова, это даже позволило сделать следующее замечание — каковое было обращено исключительно к фрау Злотине, тоже великой молчальнице:

— Русский язык ужасно трудный, украинский проще. Так говорят.

Кто так говорит — нетрудно догадаться. Но вот с чего герр фон Задаваке это взял — не на основе же личного опыта? Брать «яйками» ему вроде бы уже не по чину.

Тут выясняется, что жена словацкого консула — заика.

— Украинский о-о-очень похож на с-с-словацкий.

Есть общее правило: никогда не тянуть за язык тех, кто молчит якобы из чванства — рискуешь разоблачить дуру или заику.

Валя села за рояль и заиграла «Лунную сонату». Официант — обер-официантский чин, — вошедший с подносом, застыл. Но ненадолго. В отличие от него, мороженое застыть не могло, и поэтому на цыпочках он обнес им дам. Ни одна не взяла: позже, герр обер...

«Лунная соната» с началом звучания восхищает к себе душу, унося ее к звездам, на Луну. Это Маленький Принц прошлого столетия, и шваркать под него ложечкой — опо-

зорить себя. Как бы сильно ни хотелось мороженого, которое тает на языке во всех смыслах, охлаждающая возделующий этого зев, — духовность юбер аллес. «Лунная соната» Бетховена — это не «Лунный свет» Дебюсси. Нечеловеческая музыка! Тогда как та — вполне даже человеческая: десертотом не гасится, как огонь водой.

Пока в гостиной разыгрывалась мистерия под названием «Рождение трагедии из духа немецкой музыки», где Валя выполняла обязанности верховной жрицы, сильный пол маленькими глотками пил кофе и, не затягиваясь, курил сигары. Известно, что за кофе и сигарами мужчины ведут себя по-иному, чем в гостиной. Запой здесь Гайдабура «Колеса тоже не стоят», со всеми артикуляционными ужимками, он бы успеха не имел (что они «тоже не стоят», вне всякого сомнения, удостоилось бы комментария).

Петр Степанович изнемогал. Курить он не курил — да еще сигары, у которых, ох, нерусский дух, от которых, ох, не Русью пахнет. Там, где он вырос, кофе тоже не пили. Чайку б... Хорошего бы чаю теперь — крепкого, не такого, сквозь который Чернигов виден.

Он дышал флорентийской голубизною, прямо-таки Боттичеллиевой дымкой. Симметрия требовала «Рождения Венеры из сигарного дыма». Со всех сторон на него сыпались медные перья чужого наречия. Нет, его не тянуло под защиту стимфалийских крыл, по примеру Валечки. Баба, что с нее взять.

Всякий раз, когда открывалась дверь, из гостиной доносились звуки рояля. Beethoven. И, как на свет в ночи, малопомалу к немногочисленным слушательницам потянулось подкрепление. А еще говорят, хищники боятся огня. Этот незапланированный концерт для тех, кто привык все делать по команде, был притягателен вдвойне — также и своей стихийностью. Вольно было принять любую позу: слушать, облокотившись сбоку о крышку рояля, или прислониться к колонне, скрестив руки, и так внимать божеству. В каждой душе (даже той, что давно ушла в пятки, стреляющие каблучками) живет воспоминание о былом раздолье, о романтике порывов (а не парадов под липами), о романтике индивидуального жеста, бросания в воздух шапок, память о холодке спрятанного на груди пистолета, живет Паульскирхе со ста-



ринной цветной литографии, над которой развевается флаг не с мертвенно-белой полосой, а золотой, солнечной, радостной — и этот флаг не под силу склевать никакому обуглившемуся орлу. И тогда тоже пели «Deutschland, Deutschland über alles», и тогда звучал Бетховен...

Очнемся, он продолжает звучать. Adagio из «Патетической» сонаты. Валечкины пальцы с кровавыми крапинками на концах, как у допрашиваемых в гестапо, свяшенно действуют — что довольно просто: требуется лишь в нужное время нажимать нужные клавиши... аттанде, цитата. Впрочем, ее источник не может быть указан. Как сохранит свою анонимность и спетое затем Гайдабурой порусски «Поднявшись над зеркалом Рейна» (наш ответ «Страже на Рейне»).

— Пока что вам лучше петь на родном языке, а то вы напоминаете остарбайтера, — сказал Мюнстер в машине — обратно он повез их. «Нам по пути».

Когда на Хорста Весселя Гайдабура вышел, Мюнстер пересел к Вале. Видно, успех полиции нравов (в лице Лозинина) его обнадежил. Прежде конфузливо избегавшая встречаться с ним глазами, Валя приободрилась. Все стало на свои места — чтоб не сказать больше: поменялось местами. Пришел ее черед испытывать презрение: тип мужчины, гаже которого и представить себе нельзя. Дающий женщине право смеяться «смехом Кундри». Охотник до «падших созданий», которые в его представлении то же, что «падаль», — а значит, отпора не встретишь. Жри, стервец.

Вернулись туда, откуда приехали. Мюнстер жил на Виноградской, напротив Института физиологии, где теперь помещался штатткомиссариат. Шоферу, борову с бухгалтерским прошлым, было велено ждать. Они отсутствовали двадцать минут, пятнадцать из которых Мюнстер объяснял Вале, что быть нравственной своего естества — это-то и подразумевает грешить против него. Недаром пословица гласит: кто хочет, тот и может (в смысле, ему разрешается). А мудрецы даже говорят: должен (то есть вменяют в обязанность), иначе выйдет бунт против природы, сиречь Творца, — первый из семи грехов, именуемый «гордыней».

Из этого «Summa in Novatianum» следовало, что Господь сотворил людей рабами своих желаний («своих» или

«Своих» — не уточняется, поскольку наши желания суть желания внушившего их нам). И здесь попытка раба стать свободным должна рассматриваться как вызов установленному свыше. Все сидят в клетках — баста. А укротитель под музыку, за которую в ответе ваш покорный слуга, прохаживается с хлыстом в одной руке и с кусочком сахара в другой. В этом отношении работа в цирке Кроне — богоугодное дело: одержимый гордыней не позволил бы над собой смеяться целый вечер.

— Ну вот, коротко и ясно.

Валя ничего другого и не ожидала — про мужчин она знала все.

Застегиваясь, он шутил:

— В чем отличие главного режиссера от главного дирижера? Первый имеет всех подряд, а второй только тех, кого хочет, гы-ы... Иван Борисович, надеюсь, не будет ко мне в претензии, я не камер-зенгер.

Черт... Запираться не имело смысла.

— Он следит за ним, — сказала она чуть слышно.

— Если Петр Степанович не замешан ни в каких темных делишках, то и бояться нечего. Гестапо — не НКВД. У нас целятся прежде, чем выстрелить. Вопрос, действительно ли ему нечего скрывать? Иван Борисович другого мнения...

«А правда, что он делал на Подоле?» И Валя вынуждена была признать: всего про мужчин не знает даже она.

На прощанье Мюнстер сделал Вале комплимент, назвав ее «королевой бала»: если у Ансельми и были сомнения в том, стоит ли Гайдабуре ехать в Берлин со своим концертмейстером, другими словами, везти ли в Тулу свой самовар, то теперь, благодаря ее личному обаянию, все решилось само собой.

— Придется Петру Степановичу, однако, изрядно потеть — с немецким-то. Он и по-немецки ни бум-бум, и по-русски говорить стыдится. Все шепотом да шепотом. И правда решат: пидпильщик. Это недостаток.

— Наши недостатки — продолжение наших достоинств, — возразила Валя — бойко, но бессмысленно. И потому не вполне уверенно.

— Значит, надо вовремя остановиться... а не продолжать свое победное наступление на восток.

Самые содержательные разговоры ведутся в дверях.

— Вот как я, и дня не пробыв в школе военных капельмейстеров, сумел получить капитана? Генерала... который мужик-директор? Вот как это возможно?

— Не знаю, — сказала Валя. — Откуда же мне знать. Дирижер хороший.

— Я?! Дерьмо я на палочке... дирижерской... гы-гы... Зато не отрекался ни от русского языка своего, ни от того, что дед мой по материнской линии — русских кровей. Академик Сеченов, знаменитый физиолог. Меня вызвали в Ост-министерииум к Розенбергу. «В русской армии служили?» — «Не служил, в германском подданстве с четырнадцатого года». А он служил. «Жаль, это вас избавило бы от излишних сантиментов. В Киеве открылась дирижерская вакансия». — «В цирке?» — «В опере. Но полагаю, это одно и то же. Так что ваша кандидатура самая подходящая. Я долго думал, кого определить на место генерал-музика-директора Киевской оперы. Когда мне доложили, что в цирке Кроне капельмейстер умеет говорить на языке зверей, я сразу понял: он-то мне и нужен». Так я попал в Киев. А мог попасть туда, где Ансельм. Теперь наоборот, он окажется, где я. Он моей породы: русачок русачком и уши торчком. Прелестный молодой человек, сын моей сестры Елены, в замужестве Тальберг. Я вас с ним познакомлю... Нет, Валентина Степановна, русский язык — это звучит гордо. Особенно в Германии. И стыдиться его решительно нет никакой причины — при немцах-то. Да они всегда будут о Россию тереться. Так уж сложилось. О Францию передом, а о Россию задом.

## ХII

«Чертог сиял», — мысленно произнесла Валя, толкая калитку. Ей случалось возвращаться и за полночь, в обход шперштунды, и под утро. Обычно Паня спала. Поэтому Валины пальчики чуть подрагивали, пока она отпирала дверь.

— Мама, а я рассказ написала.

Рядом лежала тетрадь в камуфляжной обложке со значком ГТО — такая все выдержит. Броня крепка. Рассказ заканчивался словами: «Ансельм, какое это счастье — увидеть Неаполь... я ни о чем не жалею...» — в эту секунду ее лицо, перечеркнутое стружкой крови, было прекрасно, как никогда».

— Танцевали?

— Нет, слава Богу, обошлось без танцев.

— Жаль, настоящее бальное платье...

— Меня и так прозвали королевой бала.

— Пользовалась успехом?

— Не то слово. Была нарасхват. Капитан Монстр от меня не отходил.

— А что Петер Ансельми?

— Тоже, тоже.

— Расскажи подробно...

Паня была не единственная, кому хотелось услышать подробности происходившего в тот вечер на вилле у Ансельми. Ее любопытство разделял Лозинин, у которого был свой «источник»: консул Войку. Неопрятное перышко эспаньолки, на лице море экспрессии — *maie nostrum*.

Когда Лозинин нанес визит в румынское консульство, в рамках предстоявших театру зарубежных гастролей, то в ходе разговора он пригласил домнера Войку в понедельник отужинать в своем «холостяцком гнездышке» — и так выразительно подмигнул, что черты лица у консула разметала буря чувств, напомнив о судьбе Непобедимой армады или персидского флота у мыса Афон. За спиной у домнера Войку висел большой портрет, но не Михая I, не маршала Антонеску, а репродукция с ван-гоговского «Доктора Гаше», ввиду его необычайного сходства с хозяином кабинета. В шутку. По сравнению с Германией Румыния была развеселая страна, а тем паче «Транснистрия».

— Мы в Одессе с нетерпением ждем киевскую оперу.

— А я со своей стороны с нетерпением жду домнера консула к обеду, чтобы угостить его одним яством, которое не каждому гостю осмелился бы рекомендовать. У мо-

ей кухарки особый талант. («Дарья Свиридовна, не в службу, а в дружбу...»)

— Ням-ням, у меня уже текут слюнки.

Рыбак рыбака видит издалека. Благодаря своей зоркости Лозинин мог похвастаться небывалым уловом всяческого непотребства. О вранье говорить не приходится — *in mari postro* правды отродясь не водилось. За столом «доктор Гаше» рассказывал, что Ансельми, этот старый импотент, который, как известно, под Шуберта мастурбирует, заставил себя петь про ручейки да про цветочки — басом! Немцы в пении ничего не смыслят. Им нравится, когда по-собачьи лают. Зато бабенка сидела за роялем — эрстэ гарнитур: линия груди, переходящая в линию жизни. С ума свела всю солдатеску, только и слышалось: «Пальчики, как у феи... шарман...» На красавицу фон Браухич, которую муж с псом дома одну не оставляет, жалко было смотреть. Ну, после, как полагается, супэ. Должен заметить, что певца в приличное общество пускать нельзя: вывернул на пол всю икру и еще пролил «невшатель» прямо фрау Таше на платье. Та в порыве чувств обозвала его «русской свиньей». Но вскоре русскую свинью от немецкой отличить стало невозможно — так все перепились. Бас свалился под бильярд, немцы, кто еще был способен держаться на ногах, горланили «Вахт ам Райн», фон Браухич играла в «даму с собачкой» с кабальеро Гноччи — и каждый тирхен имел свой плезирихен. На этом фоне домнер румынский консул и подрулил к пианисточке — надо отдать должное ее вкусу, она этого весьма желала. Кавальере поначалу рвался туда же, но когда еще даки били римлян. Эта русская — даже не спросил, как ее зовут...

— Валентина...

Ах да, Валентина... устроила ему Валентинов день — мосье Лозинин может поверить доктору. А ближе к полуночи переметнулась к одному генералу и с ним укутила. Что ж, поддержать боевой дух германской армии — это святое, по словам словацкой консульши. Ну, той, что на спор отдалась слону в зоопарке и с тех пор заикается...

Удовольствие за удовольствие: после деликатесов Дарьи Свиридовны домнер Войку пообещал Лозинину купе в международном вагоне.

— В Одессе жизнь — Киеву такое не снилось, возвращаться не захотите, — похвастался на прощанье «доктор Гаше».

Все знали, что в Одессе живут как при Николашке, когда ели пряники-барашки.

И Вельку Оперу охватила предвизовая лихорадка: кто поедет, кто — нет. У Прусака якобы лежат секретные списки. На зависть оркестру, хор отправляется в полном составе — Гушак поклялся: или все едут, или он останется здесь. «Со пля, со пля, со плясками...» — ликует хор — помните, когда казак Цыбуля рассказывает, «як вин в чистом поле тьму турок побив»?

Оркестр-форштанд — по-старому местком — имал гешпрех с Мюнстером, но монструозный капитан отговорился тем, что «Бульбу» ставит Лев Николаевич, в целом же гастролью ведает Иван Борисович — он-то, господа, при чем? Да тут Гошкевич еще шепнул кому-то, что «Герб Одессы», куда их поселят, всего занимает один этаж — ну, сколько там может быть койко-мест? Нет-нет, дело нечисто. (А нюх на нечистое у прокурриста был собачий. Это его пращур ходил в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» и — пишет Гончаров — «как легавая собака дичь, чуял жидов». Качество воистину бесценное по нынешним временам.)

Полина Петровна сказала ходокам, что Иван Борисович во втором балетном классе — взяла расписание — репетирует с Глушко, Славиным, Аравидзе и Снежневским второй акт «Тараса Бульбы». И тогда те дерзнули осквернить таинство репетиции своим непрошеным появлением. Они увидели Марильцу-Аравидзе — уже при широкополой черной шляпе с приклеенными изнутри известного рода локонами, в лапсердаке, — которая нещадно пинала валявшегося у ней в ногах Глушко, переодетого украинской дивчиной.

— Сильней! Провоцируйте свое подсознание! — кричал Лозинин с перекошенным лицом.

При виде вошедших он немедленно преобразился в прежнего Лозинхена, ни тени досады, что ему помешали.

— Оркестровой яме физкульт-привет. — Андрию и Марильце: — Стоп, сейчас повторим всю сцену... Итак, из

ямы послышался вой всенародный. Говорите, люди, что у вас на сердце?

Пока Лозинин слушает, участливо кивая, певцы заняты своим: всё повторяют какие-то отработанные движения. При этом полубеззвучно разевают рты, и если зевок долгий, то заводят глаза.

Наконец Лозинину надоело: видите ли, музыкантам тяжело пребывать в неизвестности, которая отравляет творческую атмосферу, сея раздор среди них, да еще в наше-то время, отмеченное печатью неизвестности, пребывать в которой тяжело... У попа была собака.

— Вас понял. Решено. В Одессу отправляются все желающие. Позагораем на пляже, покупаемся в море. А потом сядем на корабль и уплывем в Буэнос-Айрес. Идет? Вам не хуже моего известно, что если первую флейту будет играть маэстро Бида, то маэстро Тризна остается дома, а если выбор падет на маэстро Тризну, то в Киеве останется маэстро Бида. Что предпочтительней для Киева? Полагаю, надо найти какие-то формы возмещения для «невыездных». Например, на время гастролей увеличить им паек за счет «отъезжантов». Форшланд мог бы этим заняться. Я со своей стороны спрошу у герра Майнцера, как еще можно поощрить людей. Но учтите, вопрос о сокращении недельного пайка в пользу остающихся должен решаться заранее, пока не определились личные интересы каждого. Ах да, важное сообщение для тех, кто поедет, — а их большинство: домнер Войку, румынский консул, обещал мне, так сказать, не в службу, а в дружбу, выяснить соотношение курса оккупационной марки и леи, здесь и там. А то один говорит одно, другой другое. Румынский консул — источник, заслуживающий доверия. Все, господа, прошу меня простить, певцы ждут... Третья сцена, цифра двадцать. Янкель: «Щоб пики их обломылыся, щоб чубати голывы покатылыся...» Начали?!

И пошли челобитчики, согретые солнцем лозининского обаяния, разносить весть о том, что политика есть искусство смиряться с неизбежным, выговаривая себе за это максимум возможного — даже сверх всяких ожиданий. (Интересно, чего они ожидали?)

Лозинин завоевывал сердца меньших братьев бескорыстно, из чистого артистизма. На Страшном суде «доброначалие» вряд ли ему зачтется — в противовес обыкновению не забывать обиды. Личную смелость таких людей можно проверять на мстительность, как золото на зуб. Зная, что Гайдабуря обласкан самим Ансельми-Завоевателем, Лозинин отважно продолжал под него копать: справедливо или несправедливо, но он полагал, что, если установить тотальную слежку за человеком, за любым, что-то наружу да выйдет. Каждому есть что скрывать. Для этого он набрал дюжину десяти-двенадцатилетних папиросников (малолетних торговцев спичками и папиросами), чтобы те, подменяя друг дружку, пасли Петра Степановича с утра до вечера — и так в продолжение десяти—двенадцати дней. Самому смышленому из этих «васёк-трубачевцев» было поручено с полной информацией являться в садик у Золотых ворот, где его поджидал добрый дядя.

Подобно зазубринам разбитого стекла, гляделся чертеж перемещений Гайдабуры по городу — и у этой безымянной звезды действительно был один луч, своим острием упиравшийся в какую-то немыслимую хибару на Подоле. Гайдабуря туда наведывался регулярно, задерживаясь ровно настолько, чтобы «спустить брюки — натянуть брюки». Иное направление мысль Лозинина принять не могла. Хотя человеку свойственно верить своим выдумкам, Лозинин все же не настолько безумен, чтобы представить себе Гайдабуру «минером» — участником антифашистского подполья. Другое дело — раздуть из искры пламя можно всегда. Да и спалить в нем нечестивца. Только предварительно надо узнать, что там — на Подоле.

На Кудрявском он перенял эстафету слежки у пацаненка и дальше уже сам шел за Гайдабурой. Первое, что ему приходило в голову, это семейство, благодетельствованное щедростью педофила. В своем квадратном в полосу костюме, с портфелем чинуши, в высотной фетровой шляпе, певец плохо вписывался в социальный пейзаж района (города, страны), при том, что был возможен только здесь и ни в каком другом уголке мира. (Лозинину было лестно сознавать, что сам он из толпы выпадает иначе:



он ей чужероден, он свой на бульваре Распай или перед входом в «Бургтеатр».)

На Туровской Гайдабура вошел в магазин, какие теперь во множестве пооткрывались — в них торговали всем, от гвоздей до колбасы, крепче которой не было в мире. Лозинин пристроился позади двоих, прямо на улице распивавших поллитру — как бы третьим. Пили из ржавой консервной банки, которую, очевидно, протянули целовальнику за отсутствием другой посуды. Закусывали из горсти — так лошади тычутся мордами в торбы.

Разговор велся такой:

— А в пустыни що им робить? Ничого там нема.

— В Африке-то? Ну, там папуасы пляшут... люди экзотического происхождения.

— Так нимци ж то любять. Наши дивки також у пирьях для них скачут...

— На Богдане-то Хмельницком? Это в кабаке, это можно...

— Немци тоби спасиби скажут, что дозволил... хэ-хэ...

— А что, нация деликатная. Вразрез моего желания не стали б...

Лозинин с удовольствием слушал: кабареистам, разным предвоенным грищенко и марусиным, учиться и учиться. Одна фольклорная экспедиция на Туровский стоит всех реприз. К сожалению, эти артисты по жизни в считанные секунды оскотиниваются, не успеваешь моргнуть, как мараешь себе подошвы... Машинально потупился — и невольно залюбовался на черешневые носы заграничных туфель: они приветливо выступали из-под серой фланелевой складки. Обувь фирмы «Батя». Для здешних тротуаров не предназначена.

...А когда поднял глаза, то увидел оторопелую физиономию Петра Степановича. Мгновенно сыгран этюд по системе Станиславского «Сгоряча я не почувствовал боли». Вроде бы получилось убедительно, да толку-то. Оставить дичь в неведении, что на нее охотились, — не Бог весть какая удача. Разве только слабенькое утешение.

Тем более что дичь он спугнул. Отныне в получаемых им оперативных сводках Подол не значился. Показали ему домишко, куда Гайдабура якобы хаживал. Утл, как

челн, под которым ютится убогий. А говорят, дом без четырех углов не строится, — да отрежут лжецу его гнусный язык! И пускай это будет сделано рукой коренного киевлянина: еще недавно треть Подола не признавала, что «Бог Троицу любит», а тут ишь чего возжелал — дома о четырех углах.

Правда, «Сычева Н.П.», обретавшаяся в вышесказанном строении — увы, одна, без всякой внучки, к разочарованию Лозинина, — Троицу почитала: редкий день не хаживала старая просфорня в Телятинский переулок к Макару Скотнику, где с другими такими же бабками славил «людей твоих, Израиля».

Бабушка пела в церковном хоре... «Тебе и горький хрен — малина», — с отвращением вспоминал Лозинин тупорыльную физиономию Гайдабуры. Геронтофилия не поддадала ни под какую статью. Смех смехом, а что как и в самом деле Петр Степанович — оперный Германн, которому бланманже — полынь. Лозинин не знал, что думать.

Этот рыцарь Холодной Ярости после известного приключения ни разу не встречал своей дамы, прекрасной Бланманже. Они не избегали друг друга намеренно — ведь опера очень «велика». В ней можно проработать всю жизнь да так и разминуться. В «Бульбе» Валя занята больше не была, певцов натаскивал исключительно «Саша — ушки рожками», вследствие чего inferнальные ушки подверглись дальнейшей метаморфозе: теперь на месте их торчали язычки пламени. Саша, как сумасшедший, ждал поездки в Одессу. А Вале что Одесса? Крохотная беленькая чайка на черном море Берлина — в рассуждении ее будущих гастролей в имперскую столицу.

Но притом случайно напороться на иголку можно даже в стогу сена, где на нее приходится 2 578 597 000 травинок (принцип подсчета тот же, что во время демонстрации). Тогда как в оперном театре работает 256 человек — певцов, вахтеров, оркестрантов, поломоек, — и все они неравномерно размещаются на 5071 квадратном метре.

На Лозинина Валя напоролась неожиданно. Ойкнула. Она торопилась, надо было успеть до начала сценической репетиции повторить с Цесаркиной ариозо Зибеля «Расскажите вы ей...» (и уж они расскажут, они такое доложат,

что наутро из другой оперы явится казак Цыбуля с повязкой «Полиция»). Меццо-сопрано, маленькое, кругленькое, резиновое, радостно ускакало вперед, за угол.

— Здрасьте, Иван Борисович, — слышалось из-за угла. И в ответ каблуками хрясь.

«Ой...» Но деваться Вале некуда. В следующий момент пред нею предстал Лозинин, обязательный, как маска первого придворного. Он разговаривал с режиссершей Василисой.

— Валентина Степановна, зайдете потом ко мне. — И сразу видно, кто здесь чей придворный.

Валя так расписывалась, что не могла играть, не слушались пальцы.

— Софа, извините, я сегодня что-то совсем... Видно, заболеваю.

Панически боявшаяся простуд, катаров, ангин, Зибель-Цесаркина отлетела от рояля на два метра. Но было поздно, в горле уже запершило.

«...Что страдаю, тоскую, что ее лишь люблю я», — вопила безголосая Цесаркина, с ненавистью глядя на Валу. Ее истошные вопли сопровождала игра не по тем клавишам. Ну чем не картинка из «Осколков» за 1896 год?

Воспоминание о случившемся в третьей студии у Вали уже успело подзажить, личный успех на германском фронте этому содействовал. Но нет стопроцентного страхования. Даже однопроцентного нет. От чего бы то ни было. Очередной выход требует очередной молитвы. Не словами, не делами — страхом. Можно только догадываться, что за персона, по Валиным представлениям, восседала в небесах на троне. Молох!

Идя к Лозинину, она прикинула, «все ли у ней аккуратненько», — на всякий случай. Вероятность такого случая была велика: Полины на посту не оказалось. Для Валечки, не верившей в «производственные стечения обстоятельств», это знак, что сейчас ее будут либо целовать, либо убивать. И все-таки скорее первое. И все-таки страх здесь не что иное, как кокетство с небом, со злобным и всемогущим Лозининым небесных сфер. Артистки волнуются перед каждым выходом, из коих по преимуществу и состоит их жизнь. Смысл этой жизни — в утверждении принципа

«всем сестрам по ролям», то есть в распределении ролей согласно природе.

«Цели ясны, роли распределены, за работу, товарищи. Природа — наш рулевой», — только так, доченька. Иначе все на слом.

И, приоткрывая дверь, она, как кошечка, сделала лапкой.

### XIII

Знает ли Варава о готовящемся на него покушении? Что ступать надо осторожней — ступенька? Ему не до того. Как в раскаленной чешуе десна. Ларреевой солью обсыпаны раны. Эпоху мучений не заглушить никакими звуками. И уже Зибелем вопит он: «Расскажите вы ей, что я еврей!.. Что страдаю, тоскую...» По всему кораблю, как в невыключенные динамики, разносится страшное признание.

*Л. Гиринович. «Суббота навсегда»*

Но не тут-то было... звучит как упрек в анахронизме: не тут-то было. Хочется спросить, а где, когда? «Артисты по жизни» это и впрямь не те, кто с песней по жизни шагает. Да и Петр Степанович на десять—двенадцать дней опережает события, рассказывая Валечке, кого повстречал на Туровском базаре. Но время — не молоко, пускай убегает. Это убежавшего молока достаточно для развода, по словам мудреца. При одном условии, правда, которое распространяется и на убежавшее время: если читатель по причине допущенного автором анахронизма (убежавшего молока, подгоревшего супа и т.д.) желает с ним развестись, то развести их не просто можно, но даже необходимо, согласно рабби Акиве.

К встрече с Валечкой Лозинин был готов еще меньше, чем она к встрече с ним. Возможности выказать над ней свою власть у него оставалось ровно на копейку, которую он сгоряча и истратил. Глупо.

Когда открывается медленно дверь, а в нее просовывается котик, что лапочкой помадит свой ротик, Лозинин звереет. О-о... То был вызов его бессилию: а я с генералами шлюхаюсь, а я в Берлин еду, а я, может, с самим Гитлером спать буду.

Лозинин вышел из-за стола ей навстречу. На эту любовь «с закушенной губой» она без долгих разговоров скидывает туфли и с порнографической миной уstraивается на диване. Ах вот как, дальнейшее членство Лозинина в нашем клубе у нас не вызывало ни малейших сомнений...

— Устали ножки?

У него даже срывался голос — а она, шлюха, думает, что от внушенной этими ножками страсти, о-о...

— Давно не имел удовольствия вас видеть... — хрипит он фаготом, как удушаемый.

Валя-то всем своим существом выражала смиренную надежду на примирение, безоговорочное согласие на все — это так льстит мужскому самолюбию.

— ...не имел чести наслаждаться вашим обществом...

Валя хотела сказать «а я вашим» — не успела.

— ...в отличие от других господ. Говорят, вы имели феноменальный успех среди унзере бэфрайер.

Валя все еще светилась кротостью.

— Червоный пивник как, у вас всю выручку забирает?

Тут до нее дошло, что лицо главного режиссера и диван обиты кожей одной масти — оранжево-бурой. («Трансваль, Трансваль, страна моя, — бур старый говорит: “За кривду Бог накажет нас, за правду наградит”», — и кому только не доводилось Вале в своей жизни аккомпанировать.) Наконец дошло, что взгляд у него тяжелый, маниакальный — тяжелей чернильницы, представлявшей собой установленную на медных когтистых лапах скрижаль полированного черного мрамора с девизом «escasez l'infame»; а на ней бронзовый Вольтер, восседающий в своем знаменитом кресле. Змеиная головка Вольтера лозинински улыбалась.

Зато сам Лозинин больше не улыбался. Она быстро встала, чтобы уйти, но он преградил ей путь. «Значит, все-таки убивать».

— Пожалуйста, пустите. Вы ничего не поняли... Я закричу.

— Запомните: никогда мне впредь не угрожайте. Один святой угрожал Богу покончить с собой, если не будет публично подтверждена его святость. Хотите знать, чем это кончилось?

Пауза.

— Угу, — нерешительно промямлила Валя, боясь подвоха.

— Он получил то, к чему стремился: был растерзан в цирке дикими зверями.

— Но я же не жена вам, — взмолилась Валечка. — Вы очень интересный мужчина, это правда. Другим до вас далеко. Если б я знала, что вы так серьезно...

— Что, хотите за меня замуж?

Она не отвечала, она совсем не хотела за Лозинина замуж.

— Знаю, что хотите. За меня любая пойдет. А я, может, чудовище... Я и есть чудовище. Лозинин, Иван Борисович, пожиратель малых детушек. Испугались? Поздно бояться, раньше надо было. Садитесь.

Валя не стала, по примеру нимф древности, полагаться на быстроту своих ног. Видя, что физической угрозы нет, она села на кончик стула, как садятся просительницы.

— И вовсе не чудовище... совсем даже нет... очень даже славный... А вы б женились на мне? Дочь у меня уже самостоятельная.

Мол, дура баба.

Лозинин вдруг вскинул голову и одну бровь и посмотрел на нее, надменно и в то же время испытующе.

«Неужели сейчас сделает предложение?» — перепугалась Валя.

— Гайдабуре вашему каюк. Я долдон, от своего не отступлюсь. Знаю я, что он на Подоле делал, все знаю!

Лозинин ударил ладонью по столу с таким остервенением, словно в этот миг выполнил завет, начертанный на скрижали, — прихлопнул гадину. (Больно, черт...)

Валя молчала, она и так-то молчала, а тут... В общем, Валя *молчала*.

— Даю слово, он очутится в Берлине. Рядом с управой есть дом. И там разные комнаты, в них всякие приспособления. Одну из комнат называют «Берлин».

Вале прежде не было знакомо это движение — ни душе, ни руке: она перекрестилась.

— Я не знаю... о чем вы говорите — в это я не посвящена... я слабая женщина... Я слабая женщина, — повторила она. — Этим все объясняется. У Петра Степановича, между прочим, есть могущественные покровители.

— Нашла чем пугать. Чем могущественней, тем ненадежней.

«Это правда», — подумала Валя.

— Уж кто-кто, а вы в этих покровителях должны знать толк, — продолжал Лозинин, часто постукивая носком черешневого ботинка по ковру, скорее напоминавшему густой украинский борщ, пролитый на пол кем-то — кого в приличное общество и пускать-то нельзя. — Какое же умопомрачительное количество народу считает себя отцом вашей самостоятельной дочери...

Но тут случилось величайшее из чудес, сравнимое с чудом внезапного прямохождения пресмыкающихся. Глина восстала на горшечника, материал взорвался в руках ваятеля.

Валя затопала, закричала:

— Не смей... вы!.. Вы!

Большеротое «вы» пузырилось, росло, вздувалось — как если б из груди торчала рукоять.

— Вы!!!

И лопнуло, розовое.

— Вы... не стоите обрезка ногтя этого человека. Вы песчинка. Вы бы ловили его взгляд, как собачонка. Счастьем бы почитали протиснуться к нему. Пока он был в силе да в славе, такие, как вы, сходили по нем с ума. Его театр гремел на весь мир. Он был для вас богом — отец моей дочери.

В первую минуту Лозинин ошарашенно смотрел на Валу. Потом — полупшепотом, как разговаривают в полумраке, — полувопросительно произнес имя, вот уже несколько лет считавшееся бесовским, неудобопроизносимым, имя, даже мнимое прикосновение к которому

грозило страшным ударом тока. Он, Лозинин, испытал это на собственной шкуре.

Валя кивком головы подтвердила. И сказала, тоже очень тихо:

— Это был первый мужчина в моей жизни.

Лозинин легко представлял себе ее, совсем юную, в объятиях Мастера, в объятиях Демона.

— Смертельно опасное имя.

— Я знаю. Я скрывала.

— *Оно продолжает оставаться смертельно опасным.*

Лозинин подошел к двери и с церемонным поклоном приоткрыл ее.

Валя была в шоке. Что она натворила! Она шла, никого и ничего не видя, сперва по театру, потом по площади. «Спасение, Панино спасение... — кружилось в мозгу. — Господи, подскажи...»

Он-то подскажет, главное услышать.

На ступеньках ее чуть не сбил с ног немецкий солдат, похожий чем-то на зайца: сам русачком, ушки торчком. Он скрылся в дверях театра — да она и не оглядывалась. Побрела куда-то улицей Владимирской, вдоль израненных зданий, испускавших беззвучные стоны ей вслед. Но осень года (жизни, эпохи) себя не осознает, природа радостно-слепа. Как стареющее дитя, она одинаково швыряется каштанами и в свадебный поезд, и в погребальную процессию, одинаково осеняет дородной листвой и правых и виноватых. Пара-другая недель, и упадут к корням пышные старушечьи юбки, а голые стволы обмоют косые дожди. В бурные руины бывшего Крещатика понесутся улицы. Что к тому времени будет с ними?

— *Оно продолжает оставаться смертельно опасным.*

Отныне ты в его власти. Господи, каково это, знать, что своего собственного ребенка, свое дитя ты послала на крест! Многоэтажный хор, льющий каменные слезы, — какое тебе в этом утешение? Ты — передвигающее ноги сознание непоправимого, сознание вины, страшно вымолвить перед кем... а она жила восторженными ожиданиями своего будущего — и чем от рождения больна, веда-ть не ведала.



Перед Вaley, оттуда, куда она забрела, открывалось огромное пространство: зеленые холмы, нисходящие к реке, за ней пологий берег, где вдали бьются рати. Ей так же до них нет дела, как небесам, натянутым над Вaley, нет дела до нее. Воздух сиренево-синь: должно быть, не меньше пяти часов, Паня уже дома. И природе, которую не обоймет глаз, и великому прошлому, оставившему после себя курганы, полные костей, нет никакого дела до птицы, сгубившей своего птенца. Птица летает низко, пригнетенная к земле не то ужасом, не то инстинктом. В любом случае к дождю.

В Таганроге у нее брат, вспомнила она. Могла и не вспоминать: уже двадцать лет, как они не разговаривают.

...Мир в миг светопреставления: хаос, в котором кружатся осколки былой предметности (осмысленности) да слышатся безадресные крики о спасении: «Господи, помилуй... Господи, помилуй...»

Светились окна, когда она опустилась на какой-то дольмен напротив дома, прилепившегося к горбатой улочке: перед у дома долог, зад короткий. Самое поразительное, что на втором этаже раздалось несколько самостоятельных аккордов из «Фауста» и запели ариозо Зибеля хриплым фальшивым голосом. Точно, здесь живет Цераскина... нет, Цесаркина... словом, какая-то из фамилий ее. Це кто? Це Раскина... Да не, пан начальник, це Саркина...

От ужаса у Вали приоткрылся рот. Трудно бежать в гору. Поэтому долго еще несло вдогонку: «Расскажите вы ей...»

У кого просить помощи, кому довериться — Пете? Он хороший человек, но он неумный, «минер». И семья. И вообще, спрашивать совета у певца может только певец... А вот что, если?.. За мужчину она его хоть и не держит: тот еще хват, из породы стервятников. Но что-то говорило Вале, что «капитан Монстр» не такой уж и монстр, больше прикидывается... Майнцер? Это подкожный тип. И жена здесь. Есть у нее две визитные карточки и один номер телефона. Телефон ей сунул какой-то офицер — когда она царила у Ансельми. Сейчас не приведи Господь кого повстречать: небось краше, чем она, только в гроб кладут.

Домой.

Утро холодное, утро седое — утро вечера умудренней.

А под булавой у Богдана уже стоял трамвай и поджидал бежавших к нему со всех сторон пассажиров. Только Валя втиснулась, как он тронулся. Не важно, что без права проезда в первом вагоне, — зато вагоны настоящие, с желтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу зарубежных. По ее линии этих трамваев раз-два и обчелся. Тем приятней бывало проехаться в таком.

Какой-то мужчина потеснился, и Валя села.

Визитные карточки были румынского посла и итальянского морского атташе — как их Валя окрестила. Нет, иностранцев она все-таки побаивалась, контакты с иностранными гражданами никогда до добра не доводили. Немцы в этом смысле уже свои. Румын тоже свой, но с черного хода, втихаря. Как бы и держится на парижский манер, почище поляков, а приглядишься: большой лиман — держи карман.

Пока ехала, немного успокоилась. Ведь еще ничего не случилось, и, что важнее, *он* не заинтересован, чтобы что-то случилось. Зачем, когда можно заломить любую цену за свое молчание. Она задумалась: какую — любую? Иуда или Синяя Борода — вот в чем вопрос.

— Мама? Я решила, ты уже в Берлине.

Валя сжалась — как от удара. Отныне «Берлин» для нее — это однозначно: та страшная комната, про которую говорил Лозинин.

А Паня «видит в людях только хорошее», она ничего не заметила.

— Я показала Скоробогатову свой рассказ, попросила, чтоб он передал его Февру. Ну что, правильно сделала?

Валя с вымученной улыбкой кивнула.

— Ты знаешь, я думаю, я его последовательница, — продолжала Паня. — Скоробогатов сказал, что обязательно передаст. Он говорит, хорошо, что сейчас война, иначе я была бы избалована вниманием мужчин, а это сильно портит характер. Ну как?

— Скоробогатов — несчастный калека. Он в тебя по-своему влюблен. В безнадежной ситуации калеки способны на очень высокое чувство...

«Ну, естественно, Скоробогатов! Единственный, кому можно открыться, довериться. Там же душа. Но что он

может... — И сама себя оборвала категорически: — А ты не знаешь».

— Ты шутишь, Скоробогатов в меня влюблен? Ну, скажи, что ты пошутила.

Паня уже какое-то время, как ребенок, пристаёт к матери со своим, с детским, а та занята своим, взрослым, и не слышит.

— Да нет... Нет, разумеется, он просто к тебе хорошо относится. — На лицо Пани легло облачко. — Хорошее отношение некоторых стоит самой пылкой любви.

— Он собирается писать про вас. Заголовок уже есть: «Немецкая музыка, русская школа, украинские голоса». Первоначально называлось: «Немец, русский и поляк танцевали краковяк» — здорово, а? Но, говорит, нельзя, некорректно по отношению к «прапорщикам» и лично товарищу Ворковецкому.

— Он всегда в редакции?

— Скоробогатов? Как раз сегодня планировал быть в опере. А так-то... — Паня махнула рукой. — Сизифом каждое утро вкатывает себя на пятый этаж и целый день безвылазно в редакции. А что с Берлином? Что-нибудь проясняется?

— С Берлином... Умоляю, доченька, только ни одной живой душе...

— Не беспокойся, я умею хранить тайны, здесь я в тебя.

Валя посмотрела на Паню — и разрыдалась.

— Мам, мам, ты чего?

— Ни...и...и...чего... доченька...

## XIV

Лозинин сказал Мюнстеру:

— Местная пресса хочет прославить оперу, которая при вас расцвела.

— А при вас?

— Которая при нас расцвела.

У каждого было по кабинету, по секретарше, по телефону, по ковру — одинаково густому, топкому, темно-красному, такому, что бери да хлебай, — наконец, по

смертоубийственной чернильнице: в случае дуэли ею легко было убить, а какое в эру вечных перьев, позвольте узнать, другое назначение у бронзового Вольтера, призывающего «раздавить гадину», или у «Santa Maria» с весьма приличным для чернильницы водоизмещением, несущейся открывать Америку по бронзовым волнам, среди которых жалко гляделся раз и навсегда высохший хрустальный пузырек? Третий чернильный прибор — в виде четырех орлов, что сидят по углам известной дуэльной площадки в Пятигорске, — еще недавно украшал письменный стол технического директора. Но к тому времени, когда Гошкевич перебрался в кабинет расхворавшегося шефа, сих гордых птиц и след простыл, если не считать бледного прямоугольника на столе.

— Мы с вами сочтемся славою, — продолжал Лозинин. — Ну как, Егор Яковлевич, примете господина редактора? Что мне ему передать?

— Я, Иван Борисович, видел эту газету, но ни одного слова не понял: «мабуть... мабуть...» Нет, это для Льва Николаевича, а я не испытываю ни малейшего желания играть в испорченный телефон.

— Прусак их идейный противник. Газета русская.

— Ах вот оно что. В Берлине когда-то было много русских газет, а теперь, по-моему, одна осталась — святее Папы Римского.

— Так как же?

— Ладно, в три репетиция оркестра, пусть приходят... м-м... — репетиции у Мюнстера продолжались, сколько его дирижерской палочке хотелось, — м-м... пусть приходят и ждут...

Мюнстер положил трубку. Около трех звонком он призвал к себе Галину Павловну — парную кариатиду лозининской Полины Петровны: их общей ношей являлось чувство глубочайшего дискомфорта при мысли, что Майнцерава секретарша Клара Карловна хаживала в «торгсин для фольксдейчей» на Житомирской.

— Галина Павловна. — И он привычным шлепком зарядил «вальтер»; это неизменно делалось в присутствии Галины Павловны, о чем она потом рассказывала — шепотом, в ужасе. — Галина Павловна, знаете, здесь выходит

какая-то эмигрантская газета. Если они придут — пусть ждут. Кого не ждут, тот не начальство, ги-ы...

Оркестр обреченно ждал, уже помытый, расчесанный, присмиривший — то есть продетый гобоистом Миклосичем в игольное ушко своего «ля». Просеменил Гена-Квазимодо с пудовой партитурой и парой дирижерских палочек, которые возложил на пюпитр. Гена-Квазимодо — рабочий сцены, маленький, лысенький, с короткими ручками и ножками, чрезвычайно сильный человечище. Это предвосхищало явление народу Монстра и начало бесконечно нудной репетиции: еще раз и еще раз... Некий безумец на вторых скрипках не удержался и на обложке Девятой симфонии изобразил капитана Мюнстера в манере Кукрыниксов: с дирижерской палочкой в одной руке и с пистолетом в другой. Нарисовал и тут же в панике стер, но в перерыве Мюнстер уже обо всем знал.

— Самый рискованный номер у Кроне всегда шел под увертюру к «Вильгельму Теллю»: тарарам-тарарам-тарарам-пам-пам! Придете завтра утром ко мне в кабинет с большим яблоком.

«Что было делать, — пересказывали потом эту историю из уст в уста. — Приходит, на Сенном самое большое яблоко выбрал, свечку святому Севастьяну поставил. А Монстир его встречает: «Да, действительно хорошее яблоко», — взял и съел. Ну, зверь...»

Репетиции с Прусаксом тоже проходили в муках, но бывший Лев Николаевич, по крайней мере, делал вид, что чего-то большого добивается. Мюнстер же, не таясь, при всем честном народе разучивал партитуру — всякий другой дирижер делает это в одиночестве. Он был как тот немецкий солдат, что мочится прямо посреди города, а не по местному обыкновению, в подъезде. Горожане усматривают в этом презрение к себе, а презрение, оно паче ненависти. За презрение-то и платят ненавистью, тогда как у ненависти свои расценки. Ненависть еще никого не оскорбляла, напротив, встречала понимание у тех, кого ненавидят, порой сопряженное с жестокостью, порой со снисходительностью — это смотря по...

Но Мюнстер не появлялся, и привычный ритуал ожидания, продолжавшийся между торжественным возложе-

нием партитуры на пульт и восхождением его священной особы на подест, подозрительно затягивался. Народ с надеждой оживился: не случилось ли чего? Уже были отряжены лазутчики.

Скажем сразу: случилось. Гауптман Мюнстер, он же Егор Яковлевич, браво шагал по правому рукаву коридора, полукружьем огибавшему зрительный зал, когда обратил внимание на желтоватый обрывок афиши. На нем лишь прочитывалось — голубыми буквами: «...диригатор Л.М.Прусак...»

«Это как же «Л.М.»? Лев... Моисеевич, что ли?» Но не успел он издать привычный свой идиотический смешок, как был оглушен ударом мотыг (дословный перевод «щелканья каблуков» — у немцев и в самом деле походивших на мотыги, благодаря сплошной железной набойке).

— Герр гауптман, осмелюсь доложить, стрелок Тальберг прибыл в ваше распоряжение.

Мюнстер застыл — будто в самом деле получил чем-то тяжелым по затылку, вот-вот рухнет на пол... (инициалы Прусака так и останутся неразгаданы).

Обернулся.

— Заяц?!

— Не ожидал?

— Да ты как с неба свалился!

Они раскрыли друг другу объятья. Это был тот самый солдат, который метеором пронесся мимо Валечки, когда она по каменным ступеням сходила в Киев, словно в ад, — оглохшая, ослепшая, только молившая небо о Панином спасении.

Дядя и племянник обнимались так долго, что отправившиеся на разведку — осторожно, по стеночке — еще застали эту сцену. Все оцепенели: Мюнстер врукопашную схватился с другим военным, и сопровождалась схватка восклицаниями, с немецкой речью ничего общего не имевшими. Первой мыслью соглядатаев было... но так далеко недоразумение все же не зашло.

— Черт! Значит, приехал! — Тут Мюнстер заметил, что они не одни. — А, мой зверинец сбежался. Заждались толстопятые. Сегодня всех отпускаю. Репетиция отменяется по случаю дня защиты животных. Вот ваш доблестный за-

щитник — Ансельм Тальберг. Прямо с Волги матушки реки, где защищал вас от большевиков. Все, ступайте. Но помните: выстрел за мной. — Мюнстер похлопал себя по кобуре.

Вскоре по театру разнеслось: к капитану Монстру приехал племянник с фронта и тот на радостях чуть не перестрелял весь оркестр.

(— Молодой парень, скромный, — рассказывала Галина Павловна Полине Петровне. — По-русски — ну, как мы с вами. Будет певцов учить немецкие слова выговаривать. — Доверительно: — Гайдабура-то в Германию едет выступать.

— Вы говорили. Мой, ух, бесится. Весь из себя сладенький, а сам с ума сходит по этой пианисточке. Горячий мужчина.

Так неслышно перешептывались две кариатиды. Третью кариатиду, Клару Карловну, они под свой балкон не пускали. Должно признать, с тех пор, как полковника Майнцера замещает Гошкевич, Клара Карловна в уж-ж-жасно несолидной компании. Майнцер был высококультурный человек, настоящий немец, да и чином выше всех. А теперь извольте выносить Горшкевича. «Эх», — качает головой Клара Карловна. Но все равно она ни с кем не меняется: фольксдейче как-никак.

— И чего они в ней нашли, — продолжает Полина Петровна. — Ни кожи, ни рожи.

— Ведьма. Вот помяните мое слово: ведьма. Ходит по ночам — и ничего ей не делается. И патруль ее не берет. Прямо на удивление... удивление... удивление...

Патруль... патруль... патруль...)

Лозинин, узнав причину, по которой в театре объявлен «день защиты животных», нимало не удивился широте жеста коллеги: уж как Егор Яковлевич боролся за... не побоимся называть вещи своими именами, за спасение своего племянника — это Лозинин знал хорошо. Что ж, молодец. Победил.

Он сегодня был от всей души расположен к человечеству. Первой это испытала на себе Дарья Свиридовна, еще

когда он одевался. Потом Полина Петровна отметила, что «Лозинхен» не просто «любезхен», но у него по-доброму глаза смотрят. И это была правда. Он искренне порадовался за Мюнстера — хотел даже поздравить, но, по словам секретарши, герр генерал-музик-директор уехал с герром Тальбергом...

— С кем, с кем?

То, что звонивший не знает герра Тальберга, оказывалось уже его проблемой.

Но даже этому обер-холуйству Лозинин лишь добродушно усмехнулся. Пятью минутами раньше он похлопал за Февра: тот разделит с ним купе международного класса. Февр тоже направлялся в Одессу и был бы рад присесть даже к труппе, ехавшей до Николаева в теплушках, а там автобусами. «Николай Николаевич, — сказал ему Лозинин, — и думать не можете о теплушках. Гордость русской литературы является и гордостью русской оперы».

К удивлению Лозинина, «доктор Гаше» не только слышал о Февре, но даже читал.

— Конечно, знаю. Так он здесь? Кумекает в психиатрии, шельма.

«Как негасимый фитилек водогрея», — мысленно подправил Лозинин Февра, у которого в авторском послесловии горит «вспомогательный огонек газа» (гордость гордостью, а эмиграция эмиграцией). А так реакция на вчерашнюю Валечкину проговорку у Лозинина вполне соответствует писательским рефлексиям Февра по поводу уже выпущенной им в свет книги: ощущается в виде постоянного успокоительного присутствия, горит ровно, как негасимый фитилек водогрея в неизменно доступном отдалении. Хотя об этом отнюдь не думаешь днем и ночью, сознание, что этим владеешь навсегда, что малейшее прикосновение к *тайному термостату* немедленно произведет глухой взрыв, — оно-то и порождает в Лозинине удивительно задушевное чувство, вот уже второй день кряду.

Пообедать можно было в трех местах: в комендатуре, в коммисариате и в Немецком Доме, как называлось отныне



Купеческое собрание, говоря по-народному, «Купчиха» — одно из немногих зданий, уцелевших на Крещатике после «фейерверка победы» двадцать четвертого сентября. Мюнстер выбрал «Купчиху»: там всегда подавали «варштайнер», тогда как в Институте физиологии прекрасные свиные ножки пришлось бы запивать мюнхенским.

— Ансельми откуда-то из Франконии, у них в кантине все на его вкус. Любишь «варштайнер»?

— Можно «варштайнер», можно мюнхенского. После Сталинграда все можно.

— *Schluß damit!* Теперь генерал Паулюс пусть рассчитывает только на свои силы. У нас тут свой Сталинград. — За окном как раз проплывал остов «Континенталья».

— Не понимаю, это сколько потребовалось бомбить?

— Бомбить? Сами взорвали. Как Москву в двенадцатом году.

— Ужасно.

— Когда один бабуин вынужден другому уступить кусок, уж он этот кусок предварительно обгадит. Сдавай мы Берлин, знаешь, что бы делалось?

— Нельзя равнять большевиков с национал-социалистами. *Der Mensch ist was er ißt.*

— *Das Biest ist was es ißt.* К людям это не относится. *Aber Scheiße bleibt Scheiße. Stimmt 's, Heinz?*

Шофер Гейнц — пивное брюхо, пудовый оковалок — страшно бы удивился, узнав, что русские артисты иначе как монстром его капитана не называют. Сам-то он считал Мюнстера добрым, приветливым, веселым человеком.

— *Jawohl, Herr Hauptmann.*

Клара Карловна тоже была бы страшно удивлена — и уязвлена, — услышав, что ее высококультурный оберст, «настоящий немец», в глазах прочих немцев хапуга и вор, который, не задумываясь, сопрет все, что плохо лежит. (Тогда выходит, что ты — дура душой.) А уж как бы все ахнули, если б доктор Гаше — настоящий, не самозванный — обследовав Лозинина, признал его глубоко параноидальной личностью с ярко выраженными сексопатологическими отклонениями.

— Только на минуту подскочим в зольдатенхайм, заберемя твои пожитки... Так ты понял, Ансельм, ты живешь у

меня. — Мюнстер сказал это по-немецки — чтобы понял Гейнц.

В «Купчихе» обслуживающий персонал был смешан (и смешон тоже): официантки — белый верх, темный низ; официанты — в черных костюмах, при бабочках, напоминавших конфеты в обертках. К ним подошла прыщеватая отличница и сонно-вызубренно пробубнила:

— Хабен зи дурст, ди геррен?

— Да, лисичка-сестричка, господа жаждут, — сказал Мюнстер, сбивая ее с толку своим русским и своей манерой. Кто-то поздоровался с ним — он ответил. С Мюнстером здоровались охотно: дирижер.

Девушка напряглась, это было видно по ее скулам.

— «Варштайнер»?..

— Два... — И Мюнстер еще пояснил это наглядно, на пальцах, явно упиваясь своим абсолютным интеллектуальным превосходством над этим малым зверьком.

— Цвай «варштайнер», — пробормотала разжалованная в двоечницы отличница, записывая. Затем положила перед странными и неприятными посетителями по толстой кожаной папке со слепым вкладышем, предлагавшим весьма скудный выбор блюд: эрбсензуппе с кусками копченого сала, тушеное мясо («Волокнистые стада — потом зубочисток не напасешься...»), рыбу по-верхнесилезски. Гарниры: отварной картофель, салат.

— А где же пища победителей — кислая капуста?

Официантке пришлось быстро произнести про себя: «зауэркраут» — по-другому она уже не понимала.

— Нема.

— Нема яйки, нема суп... гы-ы... Так что будем есть, племянник? Только не рыбу по-польски, предупреждаю. Я ее с детства видеть не могу, твоя бабушка меня ею каждый день мучила на даче в Дуббельне.

Они попросили мясное.

— Ты не знаешь, как едят местные жители. Наш интендант угощал меня обедом а la Сталин. Такого, уверяю тебя, ты в жизни не едал.

— Дядюшка, на пьятца Навона тебе подадут gnocci alla duce...

Официантка слышит это «дядюшка», обращенное к немецкому офицеру — в устах немецкого же солдата, — и плавно трогается с места. Так плавно, как только могут тронуться перрон, крыша вокзала. И чудится ей, что дядюшка этот — командир под красным знаменем, голова завязана, кровь на рукаве, сейчас к ним присоединится матрос в тельняшке, она принесет им борщ по-флотски, в рубке радиотеатра обеденный перерыв. Но летит, летит назад наш паровоз: и на Коммунаров нет остановки, и на Гражданке никто не сходит. Мимо! Мимо! Просыпаешься: Киев, приехали. Городовой, лошадки, конфекцион мадам Анжу, «Шато де флер»... Неужто это было только сном — этот кошмар?

Не будь она официанткой, не будь под голову у ней штучный пол Купеческого собрания, месили б вместо этого кругом грязь прохожие, тогда можно было бы предположить голодный обморок.

— Что с ней? — строго спросил гауптман Мюнстер у разлетевшегося старшего — спросил на холодном чужестранном русском.

— Извините, сейчас все будет в порядочке... Она у нас девушка впечатлительная, растерялась...

Официантку унесли, как нокаутированного негра: за ноги да под мышки.

— Что вы ей сказали, маэстро? — с очаровательной улыбкой поинтересовался майор, сидевший за соседним столиком. — Предложили выступить в роли Кармен?

— Гы-гы-ы! В роли быка. Разрешите, герр инженер-майор, рекомендовать моего племянника. Прямо с берегов Волги.

— Стрелок Тальберг, герр инженер-майор. — Удар мотыг.

На лице любознательного майора отобразилось понимание всей важности происходящего на волжском плацдарме, вследствие чего он и стал расширять территорию, которую первоначально занимал, беря стрелка Тальберга в плотное кольцо вопросов: как там да что говорят? Тальберг отвечал уклончиво:

— Я радист-перехватчик, герр инженер-майор. Мы только прослушиваем русских, в боевых действиях я не

участвовал. Полагаю, наша основная проблема в том, что русских много и потери им не страшны. А их основная проблема в том, что мы лучше воюем.

— Ну... тогда исход операции не вызывает никаких сомнений. — Майор инженерных войск сразу как-то сник и отстал. Должно быть, вспомнил пленных у себя на строительстве: работали они так же плохо, как и воевали, зато их было столько... Потери в рабочей силе майора тоже не пугали.

Мюнстер пригрозил племяннику пальцем — перпендикулярно носу, на немецкий манер:

— Чего захотел! Немецкие города — чтобы в одной упряжке с русской степью? Да тогда бы мы весь мир на колени поставили. Твои-то хоть знают, что ты у меня? (Семья сестры, что ли, ассоциировалась у него с этой упряжкой?)

— Я даже не успел написать. Все произошло молниеносно.

— Молниеносно — это для тебя. А я тут... Ты когда-нибудь видел, как комар малую нужду справляет? Так вот, моя политика была еще тоньше. Prost.

— Prost.

Отпили прозрачной желтой жидкости — примерно на треть сосуда и одинаково подоткнули нижней губой верхнюю, ту, что была в мыле.

— Ты, дядя, в своем амплуа.

А надо сказать, для дома, для семьи амплуа дяди было «шут гороховый».

— Я, племянничек, такую интригу плел — Макиавелли может уроки брать. Вообрази, есть тут баритон, второй Шмитт-Вальтер. А начинает по-немецки петь — вылитый Серж.

При упоминании о Тальберге-старшем Тальберг-младший разразился по-мальчишески радостно-непринужденным смехом: Сергей Иванович уже четверть века, как пытается одолеть «Самоучитель немецкого языка для начинающих» Игнаца Перпиллуса.

— Штадткомиссар же, — Мюнстер понизил голос, — мнит себя отцом города: у меня в Киеве опера не хуже, чем у вас в Берлине. В этой водице дядька твой рыбку и удил. Ничего, поймал. — В доказательство он похлопал «рыбку»

по плечу. — Главным препятствием был один назначенец, из ост-министерии. Был, да сплыл. С Божьей помощью в санитарном вагоне отправился на родину, голубчик. Ты изучал театр? Изучал. Будешь проходить профессиональную практику, как и положено студентам.

— Спасибо, дядя.

— Главное, помни, люди здесь не как в Германии: во-первых, изолгавшиеся, во-вторых, ожесточившиеся. Не люди — звери. Их надо в постоянном страхе держать, иначе разорвут. Знаешь, меня из «Мюнстера» в «Монстра» переделали — так я их напугал. На первой же репетиции вместо дирижерской палочки пистолетом стал дирижировать.

— Представляю себе, как прозвучал первый аккорд.

— Вообще не прозвучал. Гы-ы... Пусть еще радуются, что я не завел себе немецкую овчарку. Пройдешься по улицам, наши только с немецкими овчарками гуляют. Так спокойней.

— Хороша сценка: стоит дирижер за пультом, вместо нот на пульте пистолет, у ног овчарка. И подпись: «Главный дирижер Киевской оперы сезона тысяча девятьсот сорок второго — сорок третьего годов». Надо бы подать идею карикатуристу из «Берлинер иллюстрирте цайтунг».

— Между прочим, овчарки — страшно музыкальны... zum Teufel!

— ???

— Да газета... Совсем забыл. Они меня, верно, ждут не дождутся.

— А что за газета?

— Русская вроде...

— Тут есть русские газеты? Интересно.

## XV

И нам интересно. Как же будут развиваться события? Их целеустремленность становилась пугающей. Валечка оценила это как знак: то, что Скоробогатов сегодня «планировал быть в опере». Посмотрела на себя в зеркало — она уже и сама не понимала, как выглядит. Вздыхнула — не только поэтому.

Паня, на вопрос, с кем он там будет встречаться, отвечала: со всеми.

— С Мюнстером?

— И с Монстром вашим.

— А с Лозининым?

— Это уж обязательно. Они ведь приятели. Ты снова уходишь?

— Да, я только на секунду, забыла ноты. — Она схватила первый попавшийся листок с пианино и была такова. Поздно, но, может, еще и застанет...

Думать, что Лозинин притворяется со Скоробогатым, было заблуждением. Во всяком случае, со Скоробогатым Лозинин бы по своей воле не стал делить купе: противно. А вот с Февром стал, Февр — другое дело. Притворялись ли они с Февром? Только потенциально: возможности сойтись покороче не было, до начала одесских гастролей оставалось всего ничего — две недели. А из Одессы Николай Николаевич уже отправлялся дальше: Керчь, Феодосия.

Февра Лозинин решил познакомить с консулом Войку — раз последний читал «Солнце восходит на западе» и даже назвал автора шельмой, больше того — зачислил в психиатры, что в устах «доктора Гаше» похвала высочайшей пробы.

Лозинин, на правах больного, что ли, обоим психиатрам назначил встречу в театре, в своем кабинете, «а там будем посмотреть». Но — противоречивая натура (а противоречивость, как мы выяснили на примере Гурьяна, признак гениальности) — сам же вышел встречать гостей на ступенечки.

Румынское «рено» и армейский «опель» подкатали одновременно. Оба шофера, словно наперегонки, бросились открывать задние дверцы. Наш Гейнц хоть и туша тушей, а победил подданного короля Михая. Сапог Мюнстера первым ступил на тротуар. Никто из присутствующих в представлении друг другу не нуждался, не считая вновь зачисленного в студенты Ансельма. Поэтому Мюнстер первым делом сказал:

— Мой племянник Ансельм Тальберг, прошу любить и жаловать.

Студент Ансельм ударил в каблуки (а Лозинин благо-разумно воздержался). Только успел каждый принести Мюнстеру свои поздравления, как Войку-Гаше обратил внимание на стремительно приближавшуюся к театру Валечку, которую тотчас узнал.

— Смотрите-ка, уж не к вам ли, герр генерал-музик-директор? — И при этом мигнул Лозинину: помните, мол, что я вам говорил про ту пианисточку-акробатисточку... хи-с...

В Лозинине гаечный ключ еще что-то подтянул, аж до срыва резьбы. Даром что Валечкина стремительность имела иной адресат. Ее внимание было всецело приковано к служебному подъезду, откуда как раз вываливался Скоробогатов со своею тяжкой ношей. Штурвал в его руке с чудовищной амплитудой раскачивался из стороны в сторону.

— Виталий Арсеньевич! — крикнула она ему.

Но Виталий Арсеньевич уже увидел Мюнстера, которого отчаялся сегодня дожидаться, и поставил метроном на двести.

Валечка и сама его заметила, в компании румына-консула, еще одного военного, а главное, Лозинина. Свернуть? Поздно, все трое смотрели на нее. Каждый по-своему, и все — одинаково.

Она поздоровалась. Она была в таком напряжении, что на Ансельма вообще не обратила внимания. Румын ответил на ее приветствие весьма игриво, Лозинин — с чрезвычайной учтивостью (то есть с обычной своей учтивостью), Мюнстер даже не поздоровался, прямо сказал, как ребенок:

— А ко мне племянник сегодня приехал, вот.

«Племянник? Какой племянник?» Валечка ничего не понимала. В глазах рябило. Их зеркальная гладь была обманчива, другими словами, лгала. По-прежнему они были обращены к тебе — с мольбою и нежностью, к тебе одному.

— Теперь с произношением у Петра Степановича все будет в полном ажуре.

«Петр Степанович... в абажуре...» Она вот-вот потеряет сознание, чего делать категорически нельзя.

— Солдат Тальберг! — И звон мотыг, как будто на солдатском кладбище роют очередную Аскольдову могилу.

— Страшно рада.

— Валентина Степановна аккомпанирует лучшему интерпретатору Шуберта, по мнению генерал-майора Ансельми. — Хотя Мюнстер и обращался к племяннику, предназначалось это для лозининских ушей. — Их ждет Берлин с твоей помощью. Там мало хорошо петь, произношение тоже требуется не хуже, чем у Шмитта-Вальтера.

— Как? Вы будете петь в Берлине... пардон, играть? — Тон у Войку до того фальшивый, что в иных обстоятельствах за него бы сделалось стыдно. Но какой там стыд у людей, чинно беседующих на ступеньках Киевской оперы в октябре сорок второго.

Тем не менее Валя смутилась: она боялась сглазить, боялась завистников. Неслучайно Лозинин учтив и бледен, как перед дуэлью. А Берлин — это святая святых ее упований и одновременно тайная тайных всех ее страхов: «Будешь помнить здание возле горуправы». Произнести слово «Берлин» не шепотом, не озираясь, для нее означало бросить вызов судьбе, было равносильно кощунству.

— Тоже страшно рад. Будет интересно поработать вместе. Я уже слышал от дяди, в чем моя задача.

— Он *сделает свое лучшее*, гы-ы, можете не сомневаться.

И как-то само собою заговорили в расчете на Валечку, против воли ставшую душой этого маленького сборища. Оно пополнилось еще одним участником. Посредством множества угловатых движений Скоробогатов наконец переместил себя из одной точки в другую. Знакомый лишь с Иваном Борисовичем и Валентиной Степановной, он приветствовал их — в обратном порядке, разумеется, как принято у приличных людей, например среди внуков тех господ, что фотографировались в камергерских *ливреях*.

— Валентина Степановна, Иван Борисович, мое почтение.

— Рекомендую, — сказал Лозинин, — Виталий Арсеньевич Скоробогатов, стоящий у штурвала «Вечернего Киева». — Ох, как Лозинхен может быть злоязычен. — У вас ведь там, Валентина Степановна, кажется, кто-то работает?

— Скажете «кто-то» — небесное создание, краса нашей редакции. Иметь такую дочь...



— Если она в мать, то ничего удивительного, — подолстился к Валечке обладатель неряшливой эспаньолки.

«В мать? — жалил глазами Лозинин. — А может, в отца? Отведай-ка нашего яблочка», — и губы змеей. Лозинин был бес. Бедняжка всю жизнь боялась бесов, не помогло.

Мюнстер оправдывался перед заждавшимся его Скоробогатовым:

— Извините-извините и простите. Племянник пожаловал из Сталинграда. Обо всем на свете позабудешь. Сын сестры. То же, что собственное дитя. Дорожишь безмерно.

— Солдат Тальберг! — Бенц кованой пятой. (Валечка думает: еще почище Лозинина раздавит.)

— Вы говорите по-русски! — Скоробогатов просиял.

— Герр Тальберг, — объяснил Лозинин, — командирован в Киевскую оперу с нелегкой миссией: исправить произношение камер-зенгеру Петро Гайдабуре, которому совместно с Валентиной Степановной, — одарил Валечку иезуитской улыбкой, — предстоят выступления в Берлине.

— Мой Ансельм чертовски профессионален. Изучал историю театра в Майнце. У него не то что наш друг Гайдабур... гы-ы... у него орангутанг по-немецки запоем.

— А Панечка ни словом не обмолвилась, что вы едете в Берлин. Такая, казалась бы, открытая... Постеснялась рассказать.

— Чего тут стесняться? Берлин! Как много в этом звуке для сердца *прусского* слилось... ну, кто так говорит?

— Папа... — Ансельм порозовел.

— Будете в Берлине, непременно побывайте в цирке Кроне. Там низкий поклон от меня всем моим друзьям: крокодилам, макакам, гиенам. Я ведь, почтеннейший, — продолжал Мюнстер, обращаясь к Скоробогатову, — всегда был цирковым капельмейстером. А зачем бы меня здешним театром руководить назначили? Гы-гы-ы... Вилли Ферреро тут делать нечего.

Юмор у генерал-музик-директора был, по меньшей мере, странный. «Палаческий юмор», — подумал Скоробогатов. Он улыбнулся:

— Не сомневаюсь, что сейчас, когда наша опера переживает тяжелые времена, в руке у дирижера должна быть стальная палочка.

— Того же мнения и герр рейхсминистр. Вы единомышленники с господином Розенбергом, поздравляю.

Скоробогатов растерялся: что за тип такой, с чем прикажешь его есть?

— Не верьте ни единому дядиному слову, он ужасный шутник. Он добрейший на свете человек.

— На самом деле звери его любили и устроили ему пышные похороны.

— Дядя, ну что ты меня конфузишь... В Берлине, сударыня, вы не зверей должны навещать, а посетить моих родителей. Они будут счастливы.

Валя посмотрела на этого мальчика с окованными железом каблуками и сердечным голосом. Чем-то похож на того мотоциклиста, вот только уши... Ее взгляд был полон ответной сердечности. «Сударыня» — от кого бы это она еще могла услышать? Видать, из молодых, да ранних.

— Спасибо большое, — сказала она тихо.

Скоробогатов, натура увлекающаяся, тут же загорелся.

— Нет, — говорил он Ансельму, — вы просто обязаны побывать у нас в редакции. Мы являемся очагом русской культурной жизни в Киеве. И потом, мы устраиваем вечера, собирается молодежь. Недавно был вечер Февра... Да вот и он! Поистине все дороги ведут в оперу — а, Иван Борисович?

Лозинин с шутливым укором достал из кармана часы:

— Опаздываем, батенька.

— И не сказал, главное, что будет здесь. Эссе хомо цвай уха.

— А, Виталий Арсеньевич? Что же вы не сказали, что здесь будете? — И по-свойски подмигнул: со мной не начинайся. — То-то...

С Февром, как с порывом ветра, что-то распахнулось, свежее задышалось. Темп, в котором он прожигал свое биологическое время, был очевиден. Черным пуделем он в минуту показал все свои штуки: тут же срезал высунувшегося было Скоробогатова, вполне профессионально объяснил Лозинину, почему его «луковица» имеет обыкновение спешить. Есть люди, которые знают все на свете — все читали, во всем разбираются; люди, для которых сказать «я этого не знаю» то же, что сказать «я это украл».

Они упражняются в контрапункте строгого письма, пасируют овощи лучше любой кухарки, по мини-цитате разом вспомнят целое, даже если оно лишь жалкая былинка, давно унесенная ветром времени. Так была «посрамлена» Валя — она скручивала по-всякому листок с нотами, Февр отметил перпетуум-мобиле ее рук, а заодно разглядел и несколько слогов под нотную строкой.

— О, да это же... — И спел «низким контральто»:

«Прощай», — сказала, сама погибла,  
Туда, где плывут корабли...

— «Упала в воду, и все затихло, нашла притулище соби...» — подхватил Лозинин. — Грустная история. Очень актуальная, к сожалению, в наши дни. Тоже в Берлин повезете?

— Наше дело аккомпаниаторское, Иван Борисович. Что мне скажут, то и саккомпанирую.

— Я был знаком с одной пианисткой, — сказал Войку. — Она выступала с Петром Лещенко. Это было очень приятное знакомство. Разрешите? — Он повторно вручил ей свою визитную карточку.

— Скоро услышим Лещенко вживе, он теперь в Одессе, — сказал Февр.

— Это который выступал в «Медведе», дядя.

— Я по медведям не ходил, мне своих медведей было предостаточно: боксеры да велосипедисты.

— Лещенко в Одессе. И Гронский в Одессе. Весь русский Бухарест туда перебрался. Это вам не Киев, жизнь бурлит. При румынах живетсЯ лучше, чем... пардон, скажем так, чтоб никого не обидеть: лучше, чем при проклятом царизме... постойте, среди нас русские люди тоже есть?

— *Среди нас есть дети разных народов.*

Валя сжалась. Она бы его сейчас могла убить — Лозинина.

— Да, — сказала она, — у меня папа русский, мама украинка.

— Я бы за национальную основу брал материнскую линию, как-то надежней, — не унимался Лозинин. — Но

ведь есть и другие мнения, с которыми поневоле приходится считаться.

— Гы-ы... В моем лице почтенный консул великой Румынии не рискует оскорбить ни немецкую армию, ни русский народ. Придите ко мне, зверюги всего мира, всех я вас накормлю, напою и спать уложу. Во сне вы все хороши, любила повторять моя бабушка Серафима Никитична Сеченова.

— Подобный взгляд — редкость в наши дни и уже одним этим ценен, — сказал Февр. — Что до меня, то нынешняя практика расовых табу и национального разделения не представляется мне такой уж вредной, лишь бы это не производилось за чей-то счет. Даже в любезном вам животном царстве помесь бульдога с носорогом — нонсенс. Нациям лучше жить порознь, еще не доросли до совместной жизни. В том, что в трамвае у немцев свои места, я лично ничего обидного для себя, русского человека, не вижу. Худо, что этих мест в полтора раза больше, чем требуется. В Варшаве же нет такого. Вагон точно поделен на две части, как в поездах — для курящих и некурящих. Кого прикажете считать притесняемым?

— Как ни крути, а это мера против курильщиков. Мы, русские, здесь за курильщиков, отравляем немцам воздух.

Февр пожал плечами, спорить со Скоробогатовым ему было неинтересно. Наспорились. Ансельм, наоборот, с интересом слушал их обоих, а если и подавил зевок-другой, то только потому, что устал с дороги.

— Валитесь с ног, бедненький? — посочувствовала Валя — по-бабьи, по-матерински. На добрые отношения с ней у Ансельма вроде как была с ходу сделана заявка, чем Войку, скажем, похвастаться не мог. Тогда как Февр... Какое странное безразличие к Валечке — так курьерский проносится мимо полустанка. Тоже мне русский человек. Цыган! Когда Паня — настоящая Ярославна на стенах древнего Путивля...

— ...А какие базары в Одессе! Разве это базары — это горы. Дерибасовская улица — разве это улица? Это Елисейские Поля. Свободный столик? Молодой человек, выньте из меня локоток. Комендантский час? Вы делаете

мне смешно. А флагов в порту! Испанские, итальянские, греческие. Даже из Аргентины заходят.

У Февра за подгоревшей коркою лица вдруг что-то щелкнуло, это включилось озарение в пару десятков свечей — чего было довольно, чтобы осознать, кто есть кто в Валином случае.

— Вы — корепетитор в опере? А в газете у Виталия Арсеньевича работает ваша дочь?

— Да... а что? — помертвевшим голосом.

— Девушка, которая мне задавала вопросы... которая пишет рассказы... как же, читал. Про Ансельма.

— Про меня?

— Может, и про вас. Если вы увезете ее в Рим... или нет, в Неаполь, и там она заслонит вас своим телом от пули фанатика-карбонария, взявшегося не то из романа Этель Войнич, не то из Муромских лесов...

«Скоробогатову был дан рассказ с просьбой передать Февру. Ну, зачем она это делает?»

— Премилая вещица. Наивная, чистая. «Читаю и плачу» — так выразился великий пролетарский писатель?

Лозинин сделал Февру страшные глаза, тот умолк. И никто ничего не заметил. Потому что проницательность — привилегия знания.

— Так она у вас еще и пишет? — спросил Лозинин у Валечки.

Войку хитро засмеялся:

— Что значит «еще»?

Ответа не последовало — ни на один из вопросов.

Февр заговорил снова, кажется оценив ситуацию в ее рискованной щекотливости:

— Читая опусы молодых, понимаешь: писать — это, в сущности, мечтать с карандашом в руках.

Скоробогатов при этих словах грустно хмыкнул. Он тоже когда-то писал. Когда Февр прав, тогда прав. (Виталий Арсеньевич мог быть и подогадливей. «Спасибо за «Мальчика Мотла». Читаю и плачу...» Еще недавно редкий книжный стенд обходился без этой, набившей оскомину, цитаты.)

— Ну, хорошо, — сказал Лозинин, как бы подводя черту. — Не угодно ли для начала заглянуть ко мне, пропус-

тить по рюмочке чего-нибудь ликероватого? Комендаторе... Мосье Февр...

— А мне, герр генерал-музик-директор...

— Егор Яковлевич...

— Весьма польщен... мне будет позволено, герр... Егор Яковлевич, напомнить вам о вашем любезном...

— Минутку... Heinz тебя отвезет домой, и скажи ему, чтоб сразу возвращался. Мы как раз управимся с «Вечерними новостями». Прошу вас. Всех и всяческих, господа...

— Егор Яковлевич, извините, мне за вами не угнаться... Так мы вас не ждем с ужином, Николай Николаевич. И помните, что комендантский час...

— О чем вы? Он под защитой его величества короля Румынии.

— Ну, все же, где Румыния, а где мы... Погодите!.. Не знаю вашего отчества...

— Сергеевич... Ансельм Сергеевич.

— Ансельм Сергеевич, милости прошу, заглядывайте. Дубенская, семнадцать, «Вечерний Киев» — не «Вечерние новости».

— Спасибо, с удовольствием.

Вмиг Валечка оказалась одна со своим дурацким нотным листком. Откуда у нее взялась эта песня? (Вспомнила: Яновская приносила.) А час-то — час-то поздний. И румынский король ей не защита... Вздохнула — только не поэтому.

Сколько людей вокруг нее стояло, и нате — в одиночестве. Зря съездила.

## VI

Знакомство с племянником Мюнстера продолжилось. Отославшись, на что ушло в общей сложности около суток, он сразу приступил к своим обязанностям. И сразу же с максимальной самоотдачей. Энтузиазм новичка. Если Мюнстер сказал о ганноверском произношении в шутку, то Ансельм Тальберг и не думал шутить. Петра Степановича он мучил часами. Зрелище анекдотическое — солдат вермахта строит из себя профессора Хиггинса.

— Нет, нет и нет! Снова, пожалуйста.

— «Их грролле нихт», — рычит Гайдабура, а у самого в сжатых кулаках воображаемое древко, лицо пылает красным знаменем. Можно сказать, уже расчищено место подвигу.

Это слышит Мюнстер.

— Ансельм, что за зоопарк? Вы намерены выступать в клетке? «Dichtersliebe» — по-немецки! — И в доходчивой форме он объяснил Валечке и Гайдабуре, почему «Любовь поэта» принято петь по-французски: не потому, что у Шамиссо замечательный перевод. — *Это* вы смело можете петь по-русски, вы же пели у Ансельми по-русски.

Валя слушала и думала: «А ведь чуть было все ему не рассказала. И Скоробогатову нельзя — никому...»

— «Я не сержусь», — спел Гайдабура, насмешливо глядя на своего мучителя: мол, я-то варвар, мне позволительно не знать, кто ариец, кто нет, а вот вам, человеку просвещенному, в немецком университете учился, стыдно.

Ансельм покраснел.

С Паней он встретился впервые в редакции, куда привела его судьба в лице Скоробогатова. Греки были фаталисты и отвергали случайность. И были правы. Как снежинки, бесконтрольно кружащиеся в зиму нашего безбожия вокруг фонаря — зимой единственного источника света, — растает по весне иллюзия случайности. С лучами солнца смысл жизни очевиден. А кто-то по-прежнему настаивает, что орел возможен без решки. Парадокс: случай слеп, но кому, как не живущему на ощупь, знать оборотную сторону всех медалей.

Совпадений нет. На целый разворот «Вечерний Киев» опубликовал беседу... полный рот слюней... *нашего главного редактора с генерал-музик-директором Великой Оперы, капитаном вооруженных сил Великогерманской империи Георгом Мюнстером* («Прежде, Егор Яковлевич, позвольте от имени наших читателей и от себя лично...»). Поскольку с неким Тальбергом, судя по всему, очень симпатичным, у беседующих связываются особые надежды по превращению Великой Оперы в символ великой дружбы между нашими народами, то Ансельм отправил-

ся на Дубенскую засвидетельствовать главному редактору свое почтение.

— Кого я вижу! — с помещичьим радушием приветствовал его Виталий Арсеньевич. И спел:

Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren  
Öffnen die Mädchen Fenster und Türen.

(Ах, когда солдаты по улице шагают,  
Девушки окна и двери открывают.)

Дамы, что и говорить, оживились. Немецкий мундир сообщал фарсовый оттенок происходящему, но это роли не играло: отношение женщин к военным неизменно, если не считать того, что наблюдался отказ от жеманства в пользу брутальной веселости.

Пани это не касалось. Она слишком хорошо знала себе цену, чтобы опускаться до мелких подачек: такие ждут своего мессию. Избранный народ красавиц полон мессианских ожиданий. (А в результате: «Скажи, какому чародею...») Взглянула и отвела глаза: догадалась, кто этот варяжский гость. Сама же печатала «Беседу нашего главного редактора» — и от мамы знала. Ну, совершенный «Мазай и зайцы». Тогда как в большинстве своем немецкие солдаты — это носы норманнских кораблей... ну, как бы... В чужом лице, не отмеченном банальной привлекательностью, есть что-то неприязненное — как в строчке из неведомого поэта, как в мотиве, услышанном впервые. Нет, это не мой тип!.. А потом, глядишь, — и «не мой» сделался таким своим, что дальше некуда. Ближе то есть.

Ансельм знал, что дочь Валентины Степановны работает здесь. Она — писаная красавица, и к тому же написала рассказ, героя которого зовут Ансельм. Когда Скоробогатов их представил друг другу, то вырвавшееся у Пани недоуменное «как? тоже Ансельм?» было встречено лукавым: «Почему «тоже»? А кто еще?» — «Петерли... Ансельми, я хотела сказать. Штадткомиссар».

Взамен шоколадок Ансельм роздал всем желающим — желали все — билеты на генеральную репетицию. Инсценировка героико-патриотической оперы с актуально рас-



ставленными акцентами, благодаря чему *немецкое* и *украинское* должны были зазвучать мощным унисоном, претендовала на некоторую официозность, не зря «Тараса Бульбу» везли в братскую Одессу. Но странно — и по-своему поучительно: инициатива такой постановки не исходила от конкретной персоны, все эти персоны уже сгинули, по пословице, в ту же могилу, что рыли другим — буквально; нет, инициатором являлся созданный ими стиль сам по себе. Зато решительно ничего странного не было в том, что Лозинин вспахивал чужое поле: человек театра — та же подъяремная скотина, и смешно, чтобы скотина сама решала, где ей пахать, а где нет. Единственно, что эта скотина пойдет под ярмом не понуро, а громко разглагольствуя о достоинствах — больше: недостатках! — пахаря, поля, ярма, которое на ней надето.

Скоробогатов, потирая руки над тарелкою вегетарианского борща, пересказывал Филипповнам свой разговор с Ворковецким — мастерски подделывая певучий малороссийский выговор:

— Новая постановка «Тараса Бульбы» обещает стать событием в жизни Киева. Вы, конечно, будете на прогоне?

— Да, командование прислало нам приглашения на «енералку».

Что, разве не так? «Прапорщиков» пригласительными наделила управа, а в «Вечерку» их принес самолично представитель вермахта. Стоило это куда большего, чем сомнительная честь величать Лысенко «нашим музыкальным видзеркалнням».

Хотя генеральная репетиция — это премьера для бедных родственников, присутствовать на ней считалось ббльшим шиком, чем на премьере: свидетельствовало родство с миром театра. И все же Панино благоговение начиналось этажом выше. Репетиции, включая и генеральную, — обиход. Таинство свершается в третьей студии. Еще посвященность может выражаться в насмешках над Цесаркиной: как та — на самом деле из страха перед бациллами — закрывает лицо руками, пока Глушко поет ей: «Я люблю вас, Ольга...»

На сей раз, вопреки упомянутой близости к «кухне», Паня вознамерилась побывать на генеральной репетиции.

— Да ты с ума сошла! На *чертову лысенку* всегда солдат водили. Ремесленников. Строем.

— Говорят, в новой постановке, с новыми декорациями это выглядит сногшибательно. Наши все будут. И «Прапор».

Видит Бог, как Валечке не хотелось, чтобы Паня выставлялась на всеобщее обозрение. Нет, это совершенно недоказуемо — она уже почти успокоилась: так можно сказать на любого, у кого отец неизвестен... А все же лишний раз лучше глаза не мозолить.

— «Прапор»... Что «Прапор» — вся управа явится. От вышитых распашонок прохода не будет. Ну, иди, если хочешь.

«Она ведь нигде не бывает, молодая девушка, так тоже нельзя».

— Я обещала Ансельму...

Оказывается, он действительно симпатичный, этот Ансельм, не страшно, что уши прижаты одно к другому. И форма ему к лицу.

Встал вопрос, а что к лицу ей — вопрос всех вопросов: что надеть? Им одинаково задаются и те, у кого полный сундук, и те, кому носить абсолютно нечего. Последние даже кокетничают: дескать, им проще. Вот Настасья Филипповна, та разрывалась сразу между двумя нарядными туниками: одной прямой, из блестящего шелка, и другой, с широкой баской из ламэ — точно как князь Игорь между двумя березами, с отчаянным криком: «Что мне надеть?» (На туники и правда пошло очень мало материи, намного меньше, чем на платье, — Настасья Филипповна не обманывала своих читателей.)

— Шура, — шепнул Виталий Арсеньевич соратнице, — скажи Тюпе, чтоб переделась, что с ее ногами так ходить неприлично.

А с его ногами?.. Нет, ничего, взялся за штурвал, облачившись в вышитую рубаху, — этим Скоробогатов демонстрировал коллективному ворковецкому уважение к его культурной самобытности.

В таком случае, что же демонстрировал Ворковецкий — своим булгаковским галстуком-бабочкой? Что он

не чужой на празднике муз? Что настоящий украинец даже на своем собственном празднике — чужой?

— А ты не придешь, мама?

— Слушать «Ой, Галина, ой, дивчина...»? Ладно, может, зайду. Я там все равно буду с Петром Степановичем... с твоим Ансельмом...

А Ансельм еще не был «ее». То есть быть-то был, но она этого не знала — что он влюбился по уши.

Решили, что Паня пойдет в белом выпускном платье, а поверх наденет мамину жакетку, которую в театре можно повесить через руку.

Люди шли в оперу небольшими группками в неурочный час: европейцы к этому времени уже заканчивают десерт, а русские еще не приступали к закуске. Киевская общественность — ей немножко переставили часы.

У касс выставлены фанерные аншлаги с сохранившимися карандашными линиями под буквами, а за стеклами висели фотографии артистов в гриме. В одной витрине помещался плакат: клоунские челка и заплатка над верхней губой («Ой, будэ морда бита — Гитлера-бандита»). Но в непривычно патетической подаче: «Гитлер — освободитель». Плакат появился в первые дни и даже часы новой власти, еще до того, как за краткий миг ликования громодяне рассчитались полыхающими громадами Крещатика, что твои троянцы. С тех пор плакат выцвел, бумага посерела, он неуместен с любой точки зрения, но кто же отважится его снять? Кто первый перестанет аплодировать во время затянувшейся овации вождю? Выходит, «Гитлеру — освободителю» судьба была такая: прилюдно истлеть.

Под видом разглядывания фотографий Паня стала смотреть на тех, кто, проходя у нее за спиной, отражался в стекле. Всё интеллигентные лица. Возраста наших учителей и старше. Сплошь украинская речь — неразошедшимся комком.

Поверх белоснежной Одетты (арт. Седых) проплыл черным *сваном* подрясник. Где-то этого батюшку она уже встречала.

Паня перевела взгляд на Онегина-Гайдабуру, который целился фотографу в самый объектив. Поэтому кто только

у него на мушке не побывал, включая Скоробогатова и Богатырчука в окружении трех дам. Попасть в Скоробогатова, впрочем, было бы мудрено — то же, что в человека, приводящего в движение дрезину.

Отразился вдруг профиль Яновской, давнишней маминной знакомой. Ей не то что онегинский «лепаж» — ей никакой пистолет не страшен: сама кого хочешь застрелит.

В разных комбинациях промелькнули Панины сослуживицы: эта с той — Кóмар с Макарёнко, — а вот их на одном стебельке сразу три (в смысле «в комбинациях», а не в смысле туалета). Хотя Паню как раз занимали «туалеты». Кóмар и Макарёнко, например, выглядели двумя матрешками в одинаковых платках: сейчас запоют — совсем как фабрично-заводская самодеятельность.

В стекле двигались призраки причесок, кофточек, но кто в чулках, а кто в носках, увидеть было нельзя.

— Пань!

Паню аж передернуло. Нечипуренко.

А та уже стала рядом.

— Интересное шо висит?

— Иди занимай место, а то не будет — на галерку отправят. Я маму жду.

Дождалась...

— Здравствуйте. Я вам не помешал?

Классический пример наблюдения за наблюдающим. Согласно анекдоту, с вуайеристов за это взимают тройне. Ансельм не сводил с нее глаз, покуда она не то за кем-то подглядывала, не то от кого-то скрывалась — говоря другими словами, вела себя ужасно глупо. Но как еще прикажете вести себя девушкам с такой внешностью — с которых не сводят глаз?

Паня вспыхнула:

— Это вы?

— Нет, это мой братец-близнец.

Не Бог весть как находчиво. Но опять же: как еще прикажете вести себя с девушками — с такой внешностью? Двусмысленность вопроса — о чьей мы, собственно, внешности — усугубляется двусмысленной ситуацией: ба-рышня и оккупант.

— И что вы тут столько времени рассматриваете? ...Ну, мое отражение мне не больно-то нравится, ваше красивей.

— Пойдемте отсюда быстро.

Коль скоро она с Ансельмом, то идеально было бы затесаться в скоробогатовскую компанию. («Где умный человек прячет лист?» — «В лесу».) Нет нужды исповедовать Евангелие от Честертона, чтобы смекнуть это. Но раздался звонок, и они сели на первые попавшиеся места.

В темноте засветились козырьки над пюпитрами, им вторил котелок лампы над столиком в поперечном проходе. Там разместился Лозинин со своим штабом: корепетитором Сашей, что ловил мяч ушами (в отличие от Ансельма — который уже поймал его), ассистенткой режиссера Василисой Сираго, вдовой полярного летчика, не успевшей эвакуироваться, и Гущакон, драившим Мюнстеру финал Девятой — взамен голенищ. От них с интервалом в кресло сидел Гурьян. Боясь израсходовать по мелочам отпущенный ему запас мужества, Гурьян экономил на всем: не только на треугольных собачьих мордах или унтершарфюрере Яшке — что понятно, но и боярской ласки Ивана Борисовича трепетал, и к диспетчершам, водившимся с полициями, лишний раз старался не обращаться. Берег силы для подвига. Упомянем еще Гошкевича, мало кому симпатичного и потому сохранившего со всеми ровные добрые отношения, — он тоже держался не как сторонний наблюдатель, а скорее как участник, может быть, даже серый кардинал.

Приглашенных было немного — и по масштабам Киева, и по масштабам зала. Все они расселись довольно компактно, в зыби кресельных спинок казалось, что это — головы спасающихся вплавь с тонущего корабля.

— Вы стесняетесь быть с немецким солдатом... — последнее, что услышала Паня, далее заиграл оркестр. Будь она на операционном столе, функцию оркестра выполнял бы наркоз. Так или иначе, ответить она не могла.

Протянем руку к полке и возьмем оперный путеводитель.

«“Тарас Бульба”, историческая опера в пяти актах по Н.В.Гоголю, либретто М.Старицкого.

Приехав в Сечь, Тарас, полковник казацкого войска, ратует за выборы нового кошевого: запорожцы сидят без дела, а поляки тем временем терзают Украину! Набат сзывает казаков на раду. Разгораются жаркие споры, кого избрать новым кошевым. Гонец, прибывший с Украины, рассказывает о бесчинствах и насилиях поляков: церкви закрыты, старшины замучены, гетман предательски умерщвлен в Варшаве. Единое стремление охватывает войско: скорее в поход, отомстить врагу.

Площадь в Киеве перед Братским монастырем; недалеко раскинулся базар. Старый кобзарь повествует собравшемуся народу о героическом прошлом запорожских казаков, которые под начальством атамана Сагайдачного разбили турок, разорвавших их родной край. И сейчас, в тяжелую для Украины годину, певец призывает постоять за отчизну. Из ворот монастырской бursы выходят сыновья Тараса, Андрий рассказывает брату о встрече с пленившей его прекрасной панночкой. Приближается католическая процессия. Впереди — воевода с дочерью. Неожиданно для себя Андрий узнает в ней свою избранницу. Не слушая предостережений Остапа, он решается проникнуть в ее дом.

Дочь воеводы Марильца мечтает о приглянувшемся ей бурсаке. Появляется Андрий, тайком проникший в замок. Обрадованная неожиданной встречей, Марильца кокетничает с Андрием, наряжает его для забавы девушкой. Внезапно входит воевода, но в женском платье Андрий остается неузнанным. Слыша, как отец строго выговаривает дочери за ее отказ знатному жениху, другу короля, Андрий испытывает острое унижение. Марильца торжествует».

Прусак опустил торжественно воздетые руки. Дали свет. Неуверенно, как бы нехотя, поднимается публика с насиженных мест, словно ее разбудили, растолкали. В антрактах все выползают из зала: поразмяться — или еще куда; для последнего надо спуститься вниз, там же и курят. В зале остаются те, кому совсем уж *невыподым*. Да члены военного совета: ввиду предстоящего штурма Дубенской цитадели, Лозинин держал военный совет с лобной костью Прусака — все, что ниже бровей, срезал барьер

оркестровой ямы. В совещании участвует Сираго, ее участие выражается в непрерывной смене позиций ног: то сгибалось колено; то в пол упирался каблучок, а подошва крышечкой приподымалась; то левым подъемом потиралась правая икра. Будь Василиса маленькая, это значило бы, что ей пора сходить вниз. Неподалеку Гушак что-то быстро говорил усатому запорожцу, присевшему на корточки в углу авансцены.

— Не хочется никуда идти, от этих украинских распашонок прохода не будет.

Предлог, чтоб остаться в зале, — что усугубило неловкость.

— Вам нравится?

— Что?

— Ну, музыка, инсценировка, как поют.

— На эту музыку раньше солдат водили. И из ремесленных училищ. Строем. Чтобы в зале хоть кто-то был. А поют неплохо. Аравидзе хороша.

— Мне декорации очень понравились. И костюмы. Гротеск в соединении с непричесанным романтизмом. Два в одном. Домье.

— Я не знаю, кто художник. Сейчас много новых имен... — Пауза. — Смотрите, вон Виталий Арсеньевич.

В обезлюдевшем зале заметить одинокий бюст Скоробогатова не представляло труда. Обе его Филипповны пошли курить. Супруги Богатырчук «не пили, не курили», они просто вышли — себя показать и посмотреть на произведенное впечатление (благодаря работе над «Фрейей» Федор Парфеньевич больше не боялся разделить судьбу Охрамюка, к чему был так близок в январе). На удовольствие пофланировать в культурном месте намазывалось тонким слоем и другое удовольствие: возможность «по горячему следу» обсудить вышитую рубаху Скоробогатова — чего в ней больше, оппортунизма или народничества? А наряд Настасьи Филипповны!.. Вот уж, право слово, сапожник без сапог.

Скоробогатов непритворно обрадовался подошедшим к нему молодым людям. (Или так не годится: не говорят «молодые люди», когда один из них в форме вермахта, а другая «в белом платье с пояском»?) Разговор о постанов-

ке продолжился с его участием, можно сказать, с его преобладающим участием, поскольку Паня все, что умела сказать, уже сказала, а Ансельм, доселе пытавшийся редкими словесами прикрыть наготу своих чувств к «панночке», был наконец-то избавлен от этого назидательной разговорчивостью собеседника. Он только кивал стриженной головою — а где стрижка, там и стружка: голова напоминала хорошо очиненный карандаш.

— А вы не читали «Тараса Бульбу», Ансельм Сергеевич? В таком случае вас ждет впечатление поразительной силы: Гоголь. Этот *genius loci* одновременно является и гением величайшей из литератур. Да что там! Это левиафан всего мирового океана словесности.

— Мы в театральной студии русского юношества инсценировали «Мертвые души», я был Петрушка...

— А я писала на аттестат зрелости сочинение: птица-тройка как образ чего-то там... Лаврентий Германович всегда советовал брать мне свободную тему.

— Непременно прочтите «Тараса Бульбу», я сейчас приду домой и под впечатлением от этой оперы тоже перечту. Я всегда стремился понять: как? неужели запретная любовь, в силу своей запретности включавшая и страшную кару — смерть от руки отца, это в образной форме казнь именем отечества... так вот, неужели эта проклятая в размышлении государственном любовь не встречает у Гоголя ни капли сочувствия — хотя бы уже по причине своей обреченности? Что здесь, ревность казацкого «фатерланда» к прекрасной панночке? Но ведь Николай Васильевич был русский писатель. А для нашей литературы, для всей русской и вообще христианской культуры любовь — сестра души. Когда же она безнадежная, не чающая счастливого исхода — она сто раз омыта слезами, прежде чем быть погребенной. Вспомним «Гранатовый браслет». Возможно другое: бессознательно пускай, Гоголь здесь состязается с великороссами в преданности всей и всяческой государственности.

Безрогую корову Бог делает бодливой, а толстокожего — колченогим. Или в обратной зависимости. Скоробогатов не соображал, что говорит. Предрассудок — считать калек натурами чуткими и чувствительными. Как и болез-



ненно мнительными. Это красота — мнительна, а у тех защитная реакция будь здоров. Если говорить о страданиях калек, то источник этих страданий они сами; а от того, что идет изнутри, увь, толщина кожи не спасает. Тогда действительно: любовь — сто раз омытая слезами... гранатовый браслет.

— Ну и кто же здесь состязается с великороссами в преданности всей и всяческой государственности? — бодро откликнулся на знакомые позывные Богатырчук. («И «Франция» тот их пароль, тот лозунг «Святая Елена»...») «Флирт с фойе», очевидно, привел его в хорошее расположение духа.

— Да... ну, хорошо, до свидания... — заторопилась Паня. Она испугалась, что вот-вот появится Февр и при Ансельме заговорит об *Ансельме ее рассказа*. Наивная! Скорость звука опережает скорость страха. А каково бы было встретиться с Февром, прочитавшим ее рассказ... Нет! Нет! Это совсем другое, чем при всех задать ему вопрос. Это того же корня, что пересуды относительно ее и Ансельма — теперь уж неизбежные.

— Куда это они убежали? — спросил Богатырчук разочарованно. — Я хотел познакомиться с этим солдатиком.

— Она очень скромная, очень застенчивая девушка.

Богатырчук-супруга:

— Действительно. Даже странно для почитательницы Февра... а гротос, он что, только на балеты ходит?

— Николай Николаевич предпочитает общество дипломатов. В отличие от нас, смертных, у него билет на премьеру. — Скоробогатов сказал это бесстрастно и даже со скрытым злорадством: постоялец-то через неделю «фьють», а Богатырчуки порой раздражают свою непроницаемостью. Он обиделся за Паню.

Подожли сестрички Шурочка и Настенька Филипповны, потянуло родным дымком: деревенька, самосад... И быстро стемнело.

«Казаки осадили польскую крепость в Дубно. Ночь. Не спит лишь Андрий, мечтающий о красавице Марильце. Кто-то тихо назвал его имя. Это — служанка панночки, проникшая сюда из крепости через подземный ход. С ужасом Андрий узнает, что его возлюбленной грозит го-

лодная смерть. Собрав припасы, он спешит вслед за служанкой в крепость.

Покои дубенского воеводы. Поляки, изнуренные долгой осадой, молятся о спасении. Появляется Андрий. Ослепленный красотой Марильцы, он отрекается от родины. Воевода и именитые шляхтичи благодарят казака за помощь. Однако, когда Андрий осмеливается просить руки Марильцы, воевода вспыхивает гневом. Шляхта же видит в приходе запорожца десницу Божию. Вняв их совету и мольбам дочери, воевода благословляет молодых...

В этот момент со словами: «Надоело... грае, грае, воропае...» — Паня встает и быстро уходит — благо они сидели с краю. Броситься за ней Ансельм не посмел и высидел до конца. И вылупилась у него из этого яйца стойкая ассоциация украинского пения с чем-то обидным, досадным, глупым.

Валя, притаившаяся наемным убийцей за портьерой, наблюдала Паню с Ансельмом: как они в антракте подошли к Скоробогатову и увлеченно с ним разговаривали — о чем-то интересном, судя по всему; и как Лозинин не раз и не два на них оборачивался. А потом они вернулись на прежние места. Но когда снова зажегся свет, Пани уже не было, ее кавалер сидел в одиночестве. Что между ними произошло... в темноте...

Краснея и страдая за Паню, Валечка попыталась разыграть случайную встречу с Ансельмом. Ее опередили, и позднее, разговаривая с нею, Скоробогатов изрек свое «эссэ хомо цвай уха», быть может, впервые к месту: Ансельмова голова если и не напоминала совсем уж карандаш, то без преувеличения — мяч для игры в регби, по которому ладонями были распластаны уши с оттопыренными мочками.

— Представляете, не хочет читать «Тараса Бульбу», говорит, хватит с него оперы. Ваша дочь, та просто убежала с половины, заткнув уши. Эссэ хомо...

Валин взгляд затуманился, губы улыбались. Это была рассада, только рассада. Из которой когда-нибудь да вырастает зависть матери к дочери.

## XVII

Хорошо было при румынах в Одессе! Как на золотом блюде, разлеглась она на осеннем припеке — под несущуюся из всех радиоточек нескончаемую «дойну». В просветах между домов то красным, то зеленым, то синим золотом вспыхивало море. Раз «бодэга», два «бодэга», три «бодэга» — их пооткрывалось такое неимоверное количество, что думаешь: сколько же кислятины способна пропустить через себя человеческая глотка? Власти задались этим вопросом лишь после знаменитого побоища в подвальчике «Ша нуар», между Старым базаром и Дерибасовской, когда две семьи подрались из-за одной утриной головки и в результате она досталась кошке.

Гастролерам это поведал администратор гостиницы «Герб Одессы» Костя, он же комендант общежития Юго-Западной железной дороги, в прошлом располагавшегося по тому же адресу, — так что кровати стояли в два яруса, а кое-где, по образцу вагонов третьего класса, в три, и все прекрасно разместились: хор на голове у оркестра. Опасения Гошкевича не подтвердились.

— Шоб врагам моим так хорошо было на том свете, как румынам в ту ночь. Тогда крейсер «Пьемонт» стоял на рейде, и команда сошла на берег. — К итальянцам Костя «имел симпатию», румынской же музыкой «пардон, из ушей рвало» — в доказательство он повернул выключатель позади бумажной черной тарелки на стене: соло-виная роща! — Эх, красиво морячки их по стеночкам расставили...

Доехали без приключений. До Николаева тащились полтора суток в трех телячьих вагонах в хвосте длинного состава платформ. Там пересели в румынские автобусы — новенькие, как катафалк. И такие же комфортабельные внутри — на них только в аэропорт ездить. По мосту через Южный Буг прохаживался румын-часовой, каска на нем удлинялась к затылку реактивным снарядом, а вот в ряду плоских медных пуговиц, кажется, одной не хватало — знать, сделалась чьим-то трофеем.

По поводу этих касок Костя тоже высказался: «Зачем румынам такие каски? Шоб задницу себе прикрывать,

когда драпают». Вот немцев, тех Костя уважал. Впрочем, с киевлянами не менялся, и на вопрос последних, что для него предпочтительней, леи или марки, хвастливо отвечал: «Я нумизмат», — и указывал почему-то на висевший над стойкою штандарт своего заведения, на котором были вышиты русский двуглавый орел и серебряным басоном кошка с четырьмя лапами (якорь, а не та, которой досталась угриная головка). Герб Одессы.

Реквизит и музыкальные инструменты везли отдельно. Управа дала два фургона, Ансельми выделил бензин — сразу представляется мохнатым насекомым, выделяющим из своего брюшка драгоценную капельку. Стараниями Гурьяна кузова фургонов были художественно оформлены, не без юмора. Сверху было написано по-немецки: «Wo das Leben so spielt!», снизу — по-украински, но готическим шрифтом: «Киевська велька опера», а между этими двумя надписями Гамлет играл черепом в футбол.

Гурьян, не полагавшийся на заведующего постановочной частью Гриню Казлатырского, предпочел трястись вместе с ним на грузовике — только б с декорациями не стряслось чего. Зато в Одессу они приехали днем раньше. По его настоянию первым делом, даже не заезжая в гостиницу, выгрузили декорации.

«Сумасшедший», — в сердцах подумал Казлатырский. Гурьян моментально это подтвердил:

— Пожалуйста, ради моего душевного здоровья.

Конечно, сумасшедший: всю дорогу что-то шептал, начинал клевать носом — и сразу вздрагивал. А заснув, метался, кричал, не давал спать Казлатырскому. «Вот несчастье на мою голову...» Но Казлатырский понимал, что это все Дарница, и терпел. Его-то Бог миловал.

Они подъехали со стороны Приморского бульвара. То ли над грузовиками смеялись, то ли одесская любознательность в сочетании с избыточным знанием предмета все запутывала, но их с удивительным постоянством посылали не туда. Какое-то время казалось, что машины играют с городом в жмурки, кружась по центру и всякий раз промахивая нужный поворот.

Интересно, здесь будто бы никто ничего и не бомбил. Присвоенный советской властью ампир был возвращен в

иные времена. Если не всегда в целости и сохранности, то, по крайней мере, в отстроенном виде. Так было с Думой — под вывеской «исполкома трудящихся» ставшей мишенью для «юнкерсов». Вокзал тоже был восстановлен и даже украсился круглой шляпкой а-ля Гран-Пале, которую никогда прежде не носил.

Наконец совершенно случайно, они оказались возле каменной диадемы Одесского оперного театра (на открытие которого Овсяннико-Куликовский написал симфонию — «выдающийся образец раннего укр. симфонизма», обернувшийся столь же выдающимся конфузом). «Киевська велька опера» черными готическими буквами смотрелось на фоне «Держоперы» каким-то сюрреалистическим сном. Вопрос, кто кому снился: Одесса-мама Гурьяну или Гурьян этой пышущей чесноком дамочке в платье на два размера меньше, чем ей следовало бы носить?

— А мы уж и не ждали, думали в катакомбах вас искать. Где ж это, извиняюсь за выражение, вас носит? Жорик!.. Федя!..

Разгрузка продолжалась от силы три четверти часа. Жорик и Федя в детстве мечтали стать авиаторами: все летало. Гурьян только ахал и жмурился:

— Пожалуйста, осторожней... что вы делаете... что...

— Такой молодой, а уже такой пугливый... Шо им делается, шо?

Между этими «шо» и «ч'то» — в полтора слога — уже давно происходит перетягивание каната, именуемого великой русской литературой. Ни чья не возьмет.

Костя-администратор встретил их, напротив, реверансами:

— А где остальные артисты?

Привыкший иметь дело с машинистами и проводниками, он готовился к появлению небожителей. Гурьян с Казлатырским были первые ласточки. Движимый каким-то подбострастным азартом, Костя поместил их в «двухместном купе», крытом полосатыми чехлами.

— Отлично... — И зав. постановочной частью, задернув бледные шторы с прозрачными буквами «Ю.-З. ж.д.», полез на верхнюю полку — досыпать. Его сосед отправился куда глаза глядят.

— Вот адресок нашего отеля!.. — Костя догнал Гурьяна уже на улице, держа в руке листок, сложенный вдвое. — Шоб по ошибочке не забрести в катакомбы...

Гурьян выбросил листок, даже не удосужившись прочесть.

Костя понял, что переусердствовал, когда на другой день нагрянула велика орава: какие там артисты, какая там культура — голодранцы с вокзала. Тогда он привычно поднял «Герб Одессы» на должную высоту:

— Девушка, девушка! С собой в туалет больше одного кулечка семечек не брать... Молодой человек, вы не стеклянный... Слушайте сюда, мадам, дойдете до Тираспольской — не сворачивайте, а идите себе лицом вперед: десять минут, и вы на Старом базаре. Только лично я хожу на Греческий — имеете понимание?

Костя поучал всех подряд, но при этом то и дело бросал через плечо — очевидно, кому-то прячущемуся за кафедрой: «Не учите меня жить, мой ангел». Бог уж весть, кто они были, эти ангелы.

Каждый киевлянин хоть раз да бывал в Одессе — но не в Одессе *при румынах*, Одессе кисельных рек, молочных берегов. Наивные люди, они питали надежду свои жалкие «о.м.» (ост-марки, оккупационные марки) или своих кровных «селянок» и «горняков», отпечатанных в Ровно, отоварить так, чтоб вырученного от продажи в Киеве потом на всю жизнь хватило. Хорошо шел «Лак для ногтей Вербицкого». Этот бывший служащий «Черноморпроекта» не участвовал шестнадцатого октября во взятии Исторического музея, где хранились конфискованные радиоприемники. Вместо этого он объехал на извозчике все магазины канцтоваров, реквизируя исключительно чертежные приборы из целлюлозы: линейки, треугольники, транспортиры и тому подобное, а также в больших количествах крапкармин. Затем первое было растворено и смешано со вторым; вскоре сынишка мосье Вербицкого уже носил на фуражке литеры LT («Теоретический Лицей»), а сам Вербицкий открыл «Галантерейную Торговлю» угол Дерибасовской и Соборной. Уверенно глядя в будущее, он написал на вывеске своего магазина «Вербицкий и сын».

— Скажите, пожалуйста, а катакомбы — это действительно опасно?

— Живым, мадам, оттуда никто не возвращался — вурдалаками таки да делаются. Румынскую кровь по ночам выходят пососать, мамалыги пошамать. Это не наше дело, мадам. Мы, шо ли, румыны?

Выясняется тем не менее, что в Одессе был свой «Успенский собор»: бывший НКВД. Румыны там устроили штаб. Починили проводку, дали свет — бабах! «Полегло их сорок тысячей и три тысячи».

— Вот тогда, ребята, ша! Вся Одесса под кроватями лежала. А эти фраера ходили и по окнам стреляли. Ничего, прошла любовь, завяли помидоры. Жизнь потекла по прежнему руслу, как говорил мой учитель географии. Знаете, шо покупают у нас ваши немцы? Масло. И посылают нах Дейчланд.

— А сколько стоит банка, трехлитровая, допустим?

— Только для вас... — Костя пальцем подманивал к себе ухо любопытствующего. — Семьдесят лей... — это называется «и как крикнет».

На Бессарабском за банку такого масла давали аж восемьсот марок. Вернее, брали — давать-то было некому, своих вербицких в Киеве раз-два и обчелся. Лозининых в смысле.

Последний ехал в Одессу, как и собирался: в международном вагоне, спецпоездом. Войку сам отвез его на вокзал. По дороге они заехали за Февром, которого «доктор Гаше» предпочел дожидаться в машине:

— Мне ни к чему бывать дома у этого газетного магната. Их лавочка у немцев на плохом счету. Особенно после ареста консула Коппини. (Одесский коллега кавалера Ньюкки был арестован сигуранцей.) Я готов пострадать, но за более интересные вещи, чем шпионаж в пользу Англии.

Февр ждал Лозинина. Большой, выдавший виды заграничный чемодан стоял в прихожей. Вряд ли его владелец когда-нибудь снова побывает в доме номер семь на Бессарабке, вряд ли когда-нибудь еще раз увидит эти обои с сине-лиловыми узорами по красному, хрустальные колокольчики, фотографию царского сановника в дорогой

раме — поверх другого фото (чаще бывало наоборот); словом, все то, с чем, по мнению остававшихся, Февр должен был за несколько месяцев сродниться. Это языческое: не-одушевленные предметы одушевлять, а на одушевленные проецировать свои чувства. Скоробогатов и был язычником, провинциальным язычником, склонным к сентиментальности — в отличие от безродного, бездомного, европейского Февра.

— За *нашу* победу, — провозгласил Виталий Арсеньевич, разливая по ликерным рюмочкам вино, в котором гость узнал «отвратительный монтрейльский напиток, преисполняющий ужасом людей с тонким вкусом» (лучше, читатель, не скажешь).

— Войку ждет, — тихо напомнил Лозинин.

— Что ж, спасибо этому дому...

Стали прощаться. Февру досталось в общей сложности девять поцелуев, хозяевам только по три. А некоторые народы имеют обыкновение обмениваться пятикратным целованием, они живут в Счастливой Аравии. Есть и такие, которые касаются друг друга носами, эти живут в зоне вечной мерзлоты. Бесконечно разнообразен мир человеческих обычаев! По рассказам этнографов, в одном парламенте, прежде чем приступить к обсуждению каких-либо вопросов, все дружно встают и осеняют себя крестным знаменем.

— На дорожку-то присядьте.

Наоборот, с домнером Войку прощание носило характер деловой.

— Вот адреса приятных мест. В «Ша нуар» ходить не советую, небезопасно. — Обращаясь к Лозинину: — В случае пожара, стихийного бедствия, появления у берегов Одессы Черноморской эскадры или нашествия марсиан звоните по этому номеру.

Поезд уже был подан, перрон оцеплен. Солдат в новенькой матовой каске (на геральдическом пятнышке орел с муху ростом держит в когтях свастику), в сапогах с короткими широкими голенищами — проверил документы, потом внимательным взглядом смерил отъезжающих; другая пара глаз, столь же внимательных, только по-собачьи умных, пожирала их на уровне пояса или чуть пониже.



Вечера стояли прохладные, на Войку были светлое пальто-реглан и бежевая шляпа с полями, загнутыми по бокам в разные стороны. Февр был в пальто цвета европейской ночи и строгого фасона шляпе. В свете фонарей кожаное пальто Лозинина поблескивало тревожно, но кепка и поднятый воротник говорили, что... как бы сказать... в общем, не гестапо. В мизансценах участвовали офицеры, их денщики с чемоданами и несколько по-западному лощенных женщин.

— Спасибо этому дому, пойдем к другому, — повторил Февр, когда все поплыло назад: перрон, фонари, солдаты. (А тем извне казалось, что в вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга двое штатских, без пальто — местное начальство. Поезд прибавил хода.)

— Я не жалею, что живу в наше время, — после некоторого молчания сказал Февр. — Интересно жить.

Лозинин нехотя согласился:

— Как после той войны все перевернулось, так и после этой все перевернется. Может, в обратную сторону?

Февр решительно покачал головой:

— Обратно не переворачивается. Но вы правы, говоря, что с довоенным миром можно проститься.

Впереди была ночь, для Лозинина бессонная, это он знал наверняка. Отстегнув клапан, достал из наружного кармана своего желтого, крокодиловой кожи, со следами благородной потертости баула плоскую серебряную фляжку, гравированную чужими инициалами, отвинтил костяную крышечку и наполнил ее.

— Будет лучше витальарсенъичева.

«Действительно», — читалось на лице Февра — после того, как он выпил.

— Я у вас хотел спросить, — продолжал Лозинин, наливая себе тоже. — Русскому писателю вашего масштаба зачем эти казаки-разбойники: явки, национально-трудовые союзы? Это же для убогих.

Лозинин мог рассчитывать на ответ по всей правде, еще раньше он успел оценить откровенность Февра: совсем недорого. Платою было то, что русскость его — вне подозрений.

— Писателю — любому: русскому, китайскому, нанайскому — нужно иметь биографию, вышитую по канве событий, происходящих на его родине. Мы эмигрировали не из России, мы эмигрировали из биографии. Вот почему русский писатель-изгнанник никому не интересен. Если бы я еще был тезкой моего героя, фигурально выражаясь... Какая ни есть, а судьба, ею тоже оплачивают бессмертие. А так...

— Звучит самоуничижительно, а бьет по мне. Опасный человек.

— Моему Ивану Борисовичу вы тезка в прямом, не в переносном смысле. Хотя вы и слишком элегантны, чтобы не иметь грехов.

— Прикажете поблагодарить или оскорбиться?

— По-моему, это вам должно польстить.

— Грех... — Лозинин без рисовки закрыл глаза. — Грех свят. Мать и дочь, какой соблазн горит... У вас дочь сгорает в нем заживо. — Он говорил серьезно.

— Du lieber Gott! — Февр шлепнул себя по лбу. — Забыл вернуть. Вы не передадите Виталию Арсеньевичу эту тетрадь. А то увез, нехорошо. Небось писала и сама плакала.

— Вы о ком? — Лозинин снял с полки крокодиловой слезы баул. — Давайте. Так о чем мы?

— Мамаша, уступающая пальму первенства дочери, — бродячий сюжет. Как Ромео и Джульетта, как небесный огонь, в мгновение ока испепеляющий свою жертву. Да мало ли... — Февр словно оправдывался.

— У вас не совсем так. Вам знакомо имя Альталена? Оно с эмигрантской книжной полки. Перед войной кое что стало сюда проникать — из Польши, из Риги... брр! — Лозинина вдруг передернуло («человек-затвор» — к счастью, не снят с предохранителя).

— Неможется? — заботливо спросил Февр. — *Райзе-фибр?*

— Да нет... сам не знаю.

Вранье, про себя мы знаем все. Еще спасибо, что только про себя.

Следует заметить, что чудное имя «Альталена» отозвалось у собеседника напряжением лицевых мышц, отнюдь не связанным с напряженной работой памяти.

— Если вы имеете в виду автора «Пятерых», то мое «Солнце» было написано раньше. По-вашему, от древа познания добра и зла я так еще и не вкушал. Вы даже не допускаете мысли, что можно искренне сочувствовать солидаристскому движению.

— Мы уклонились от темы. «Материнство и проституция», как естественные и единственно возможные формы женской самореализации. Совмещать их — святотатство, и только адское сладострастие преступает последний запрет. Материнско-дочернее двуединство, не знающее стыда, зависти, — взаимопомощь во всем. Восхитительная греза. Вейнингер вел к тому же, но с другой стороны...

— Понятно, что с другой стороны. На то и педераст. Но когда жид — а они великие жрецы соития во имя продолжения рода — и вдруг оказывается педерастом, что это, как не вызов последней святыне? То же, что свести воедино материнство и проституцию. Чадолюбие с мужеложством не уживаются, вот он с собой и не ужился. Зато посмертно удостоился чести стать любимцем фюрера. Лепта жиди.

*(Фюрер: истинно говорю вам, этот бедняга положил больше всех: все клал от избытка своего, а он от скудости положил все, что имел. Лозинин еще помнил закон Божий — и ахнул. «Нет, коллега, от древа познания добра и зла вы вкусили сполна и свой выбор сделали».)*

Прожившего жизнь в условиях иных культурных табу, иных лингвистических предрассудков, Ивана Борисовича коробило слово «жид», которое Февр, казалось, смаковал как толстую полтавскую черешню.

— Вы антисемит. Хорошо, это ваше право. Но быть евреем — преступление, которое не подлежит наказанию, тогда как быть антисемитом, сейчас...

— А когда же еще? Я — антисемит, вы — жидолюб. Парадокс в том, что это одно и то же. Керн застрелил Ратенау от чрезмерного восхищения им: не мог допустить, чтобы Германию спас семит. Так, по крайней мере, утверждала в свое время скоропечатня господ Поляковых и К<sup>о</sup>, довольно самонадеянно, заметим. Не исключаю, что сегодня любовь к этой публике может стать даже предметом тайной

гордости. Продолжайте в том же духе, но будьте осторожны, ибо тайна сия у вас на лбу написана: дескать, я такой хороший, что люблю жидов.

— Это надо понимать как дружеское предостережение? Я не робкого десятка.

— От скромности вы не умрете.

— Ваша правда. Кому суждено послать себе пулю в лоб, тот точно умрет не от скромности. Да и многого другого не струсит. Я знаю наверное, что застрелюсь, мне это в юности цыганка нагадала.

— С цыганами водитесь? — с нарочитым смешком.

Дверь открылась без оповещающего стука. Проверка на вшивость... нет, это на границе рейха дезинфицируют. Здесь всего лишь — документов. Лозинин протянул их с вальяжной угодливостью своего. На смуглом лице Февра отразилось безраличие, причем чужое, проверяющего. Последний — совершенная бумажная крыса в мундире, не чета тому, в каске на перроне. Там был зверь. А здесь без всяких психологий, чистая бюрократия. Кто эти двое на самом деле, ему наплевать. Но можете не сомневаться: малейшая закорючка не в ту сторону — будь перед ним хоть родная мать, и ее препроводил бы в служебное купе для выяснения личности.

— Danke.

— Мы с вами все время танцуем вокруг одной темы, — сказал Февр.

— А куда от нее денешься, она в эту войну главное.

— И в эту войну она не главное. Главное — очередное восстание ангелов, все то же извечное богоборчество. Человек восстает на Бога, что совсем не ново. На сей раз он хорошо подготовился. Немцы всегда были на правом фланге человеческой одухотворенности, а человечество с младых ногтей стремилось уничтожить Бога и занять его место. Со времен Адама и Евы. Это в нас заложено. Сооружаем башню до небес то одним, то другим способом. Теперь она зовется «эндлозунг» — не слышали? «Окончательное решение». Как решают — это вам известно. И всем известно, вплоть до последней старушки из Блюменшtedта. Но вот, *что* решают — столь радикальным образом?

— Чушь! Что можно решить за меня? Только я сам могу себе помочь. Всегдашняя ошибка! Бога убить невозможно, потому что некого убивать. Ничего нет. Просто заткнуть пустоту, которая этого и дожидается.

— Может, и так... — В черных и очень жестоких глазах что-то мелькнуло. — Может, и так. Прошрое, как и молодость, возвращается лишь путем отнятия опыта. Но вы же битый, вы же своими русскими глазами видели эту шайку талмудистов: заседает правительство — под столом двенадцать колен Израилевых.

— Вот уж... нашли чем, право... Если на то пошло, русский коммунизм еще немного и отвергнет Маркса. В точности как христианство — евреев. Русским антисемитам, вроде вас, не хватило терпения. Ни метафизикой, ни политикой... ни сердцем, ни разумом — ничем нельзя оправдать.

— Оправдать? Как угодно берусь оправдать! Ивана Борисовича, *моего*, и того оправдываю. Говоря по совести, что до начала войны сделал Гитлер такого особенного, чего не делали другие? Геттоизация — это максимум, чего он добивался. Они так жили веками. В России еще двадцать лет назад у них было куда меньше прав, чем в Германии перед войной. Теперь: с чего началась война. Верней, когда. Решим наконец для себя, когда она все-таки началась, и все сразу станет на свои места. Можно ли считать началом войны аншлюс Австрии в тридцать восьмом году? Почему тогда не присоединение Заарланда в тридцать пятом! Польша? «Что это за такая новая страна — Польша», — говаривал господин де Мольер, когда крулем польским сделался Валуа. Еще четверть века назад карта Европы не знала никакой Польши, никакой Чехословакии. И никто меня не убедит в том, что европейскому геополитическому сознанию, формировавшемуся веками, для легитимации каких-то новых удельных княжеств достаточно десятка лет. Курам на смех! Умей Сталин воевать, как Гитлер, нас бы не смутило, что «финские границы — бесстрашных кровию омыты».

«Кто это... кто это... кто это...» — застучало по наковальне памяти.

— Баратынский, вот кто всегда был моим поэтом — а не лицейский Француз.

...Но слава падшему народу!  
Бесстрашно он оборонял  
Угрюмых скал своих свободу.  
Из-за увесистых громад  
На нас летел свинцовый град.  
Вкусить не смела краткой неги  
Рать, утомленная от ран:  
Нож иступленный поселян  
Окровавлял ее ночеги!

Как сегодня писалось! Нет, либер фрейнд, начало Второй мировой войны и юридически и фактически следует датировать третьим сентября. И начала ее Даунинг-стрит. Кому было выгодно потопление «Атении»? То-то. Германия положительно ничего не потеряла на западе Европы, а Франция и того меньше — на востоке. Умирать за Данциг. Было ли это частью общего плана или простой случайностью, но Лондон к великой своей выгоде соблазнил аморального Сталина легкой добычей. К весне сорок первого года фиговый листок, в который превратился пакт о ненападении, прикрывал уже такую могучую эрекцию, что у немцев не оставалось другого выхода, как отсечь этот надменный член целительным ножом. Все голые факты... Прикажете им не верить на том основании, что это — Геббельс? А когда он говорит «черное», приличный человек, как известно, должен говорить «белое», иначе его выведут. Политический снобизм — худший вид снобизма, он дороже всего обходится. Конечно, если Германию побьют, на нее снова навесят всех собак. Особенно, увидите, будут проливать крокодиловы слезы по жидам, позабыв, что они на совести Англии: во время войны действуют другие законы, кто ее развязал, тот в ответе за *все*, ужасы войны неделимы. Только трудно себе представить, чтобы немцы дважды подряд не справлялись со своими целями. История показывает: один раз перцу задают им, один раз — они. Теперь их очередь.

Воцарилось молчание.

Лозинин вздохнул, и скрывалось за этим много чего: и хотелось, и кололось, и не верилось, и признавалось пре-

восходство германского оружия — даже косвенно, в лице Февра. А это еще верхушка айсберга, что там ниже... Такое, чего не изъяснишь. Да тебе и не важно.

— Я не мистик, я практик. Я не верю в искупительные жертвы.

— Потому что у вас вместо Бога дырка, я уже слышал.

— Нет, потому что я легко вижу себя на месте жертвы: жертва должна быть без изъяна.

— Да, от скромности вы точно... цыганка, как всегда, правду нагадала.

— Простите, но если правы антисемиты, то речь идет о заведомо неугодной жертве.

— Мы с вами роем один и тот же туннель, только с разных концов. А немцы так и вовсе помешались на исследованиях о евреях, в Париже у них «Дэ инститю дэтюд декестьон жюиф», в Праге — «Центральмузэум дер аусгелёштен юдишен расэ». Экспонаты поступают со всей Европы. Полагаю, что Европу еще будет когда-нибудь умилять родство жаргона с немецким. Ваше замечание только подтверждает мою точку зрения, что любой порядочный антисемит про себя обязательно жидолюб, и наоборот. Сознайтесь, что и наоборот... Мы же с вами во всем сходимся, только я больше теоретик — романы пишу, а вы и впрямь, глядишь, практик. Кое в чем я, правда, тоже практик. И как практик вам говорю: не все, что годится для убогих, нам негоже. Это как с Геббельсом: не все, из чего он варит свое варево, — ложь. Вот вам и ответ, почему я в дураки играю с Виталием Арсеньевичем. Что я, не понимаю, что Англию победить нельзя? Never, never, never. Но надавать по морде и лишить половины колоний — это реально. И так же реально — сломить хребет большевикам, можно сказать, он уже сломлен. Хотя ясно, немцам в России не удастся добиться своего. Они увязают. И слава Богу! Тут-то и объявится третья сила.

Русские мальчики с их проклятыми вопросами: кабы предложить им те же вопросы да сто лет назад... Так ведь, по Февру, прошлое обретается ценою забвения опыта. А кому нужна машина времени, не берущая пассажиров? Это должен быть автомобиль марки «задний ум».

Такие фантазмагии потихоньку заводились в мозгу у Лозинина, вопреки стоявшей на часах бессоннице. Ура!

Тише, Февра разбудишь...

Февр спал. Человек действия, он заснул с такой же стремительностью, с какой делал все остальное.

— С вашего позволения я буду спать. — И заснул.

Ура!..

Да тише ты...

Нельзя радоваться черточкам фантазмагорического, иначе бурным ликованием спугнешь этих сигнальщиц сна... тише... умоляю... И снился — уже под утро, с этим он проснулся — странный сон Лозинину. Как будто Гурьян ему дочь. И тут было все: и распахнувшиеся полы халата, и Февр, для своей забавы поместивший обеих в узилище романа — что, однако, невыразимо сладостно, как и всякая интимность, отправляемая публично. Не выйдет у Валечки оградить Гурьяна от Февра. Пейте шампанское «Абрау»! Еврейство — преступление, которое не подлежит наказанию. Пробка выстрелила, в глаза брызнуло солнечным лучом...

Это вошел в купе Февр, бодрый, благоухающий бергамотом.

— Одесса, Иван Борисович. Подъезжаем.

Только Лозинин оросил себе глаза из умывальника, которым его попутчик из русской мещанской вежливости не воспользовался, как поезд стал. Лозинина встречали. Человек, одетый в полувоенное: рюмочкой приталенный френч, на ногах бутылки со шнурованными голенищами — хлопотно, зато шикарно, — к напыщенной губе прижались усики ниточкой. Лозинин для него был «мосе маэстро».

Февр, еще раньше сказавший, по какому адресу его отвезти, стал вдруг прощаться, очевидно предпочитая конспирацию комфорту.

При виде лозининского багажа у встречавшего вырвалось: «И это все?» Носильщик в синем переднике отнес баул крокодиловой слезы в бричку: таксо-гужевой парк Одессы насчитывал их не меньше дюжины — стоявших вокруг привокзальной клумбы. (Февра к этому времени и след простыл.)



— «Лондонская».

По пути следования к ним с каждой стенки, с каждого афишного столба взывало по-русски и по-румынски: «Транснистрия моя!» Разноцветные буквы кувыркались, звезды с них сыпались искрами, как из глаз. А кое-где между домами даже надулись аншлаги, обещанием чего-то грандиозного — наподобие эстрадного оркестра, в котором бы участвовало все человечество.

«Транснистрия!..»

Заинтересованность одесского градоначальства в успехе мероприятия была нешуточной.

«И правда, не Киев, — подумал Лозинин. Его люкс глядел тремя высокими окнами на оживленный бульвар. — Отлично, черт возьми... и все равно Рейхваргеру прыгать было выше».

Он листал тетрадочку, предназначавшуюся для передачи Скоробогатову, — пока набиралась вода. Валечкина дочка просто прелесть: «Ансельм...» То, что доктор прописал.

И потом, лежа в клубящейся ванне под горячей струей, представлял себе, как спрашивает — но только еще не придумал, у матери или у дочери, у которой из двух: «Маруся Мильгром, это что за фамилия такая — немецкая?»

Аккурат над выступавшим из мыльного облака коленом торчал массивный вычурный кран с парой фаянсовых шариков по бокам. «Горячая вода», «холодная вода» было написано на них со старомодной обстоятельностью, словно, кроме воды, оттуда что-то еще могло литься.

Но — хорошего помаленьку. В номер уже какое-то время стучали, а Дарья-искусница была далеке: в матери городов — у Змей-Горыныча на побегушках. Так что пришлось самому бежать — открывать. Лужи... халат... полы вразлет...

За дверью он увидел некое подобие шкапа, в круглой форменной бонбоньерке, надвинутой на маленькие злющие глазки.

— В чем дело? Я беру ванну!

— Пардон, — сказал шкап без особого сочувствия к босому человеку, с которого лилось ручьями. — До вас. Го-

ворит, срочно. Пустить? А то шляются всякие. Потом постояльца недосчитаешься.

Стоявший тут же Казлатырский не обиделся на такие слова, как будто разделял опасения коридорного. И была тому веская причина: исчез Гурьян.

— Что значит исчез? Куда исчез? Входите...

Пока Лозинин занимался своим туалетом, Казлатырский рассказал, как было дело. Приехали, умаялись, как кроты. Да еще все сгрузили. После чего он, Гриня, завалился спать и проспал до утра. Как крот. (У Казлатырского кроты — мастера на все руки.) Просыпается, никаких следов Гурьяна. Постель не тронута — ушел днем, заметьте. Конечно, по молодости лет можно спать и не с Казлатырским. В одной каюте... А их поместили в самую нормальную каюту: полтора метра шириной и койки в два этажа.

— В театре были?

— Нигде не был, никому не говорил. Сейчас в гостинице шум-гам-тарарам: наши в городе.

— Уже? Превосходно.

— Поселили их — как кротов в ночлежке.

— А вы жалуетесь: каюта. Вас уважили, дорогой мой.

После первой реакции, до абсурдного естественной («Исчез!..» — «Куда исчез?»), Лозинин демонстрировал *свою* «фактуру», другими словами — то, чего от него требовала роль: подчиненный в панике, но начальник и это учел.

— Чем бить аларм, в театр надо было пойти. С его моральным обликом только за границу ездить. Юноша если с кем и спит, то со своими декорациями. Который сейчас час?

Откуда Казлатырскому знать, который сейчас час, — уже год, как он живет по солнышку.

— Суньте руку ко мне в брючный карман... не бойтесь, смело.

Лозинин стоял перед многократно увеличенным медно-золотым венком, вытянув шею, как гусь. Венок обрамлял зеркало. Аккуратные треугольнички мыла — на скуле, на подбородке — исчезали с каждым штришком бритвы.

— Без двадцати час, Иван Борисович.

Лозинин не спеша вытер щеки, шею и обрызгал себя, зажмурившегося, из пульверизатора. Запахло парикмахерской.

— Алло, барышня, соедините меня с городским театром. — Ударение на слове *меня*.

В ожидании скучающим взором обводит лепнину потолка. Действительно, ничего оригинального в ней нет: оптовая торговля фруктами, все несъедобное, пыльное. Зеленщицами — две пышногрудые кариатиды, столь же бесполезные в плане утоления желаний. Будь еще этот гипсовый гарем твоим, можно было бы насладиться завистью гостей, но когда ты сам гость, то поживиться, ей-Богу, нечем.

— «Театруль орэшенекс» слушает, — женским голосом.

Суккуб, очевидно. А нечистой силе, чтоб сгинула, надо противопоставить другую, нечестивейшую.

— Говорит интендант «Киев-Гросс-Опер». Я звоню из «Отель де Лондр». С кем имею честь?

— Э... э... э...

«Киев-Гросс-Опер» без труда перехватила инициативу у «театруль орэшенэкс», пусть знают, кто заказывает музыку на этой войне.

— У нас серьезные проблемы. У меня вопрос к вам (ударение на *вам*), прежде чем звонить к Видрашку.

— Слу-у-у-шаю... — словно вопрос к барашку.

— Вчера вам доставлены были инструменты и декорации, так?

— Бе-е-е-е...

— В сопровождении двух человек, один — кожа да кости, молодой. А теперь будет важно: он приходил снова, этот кожа да кости? Он, случайно, не в театре?

— Я сейчас... одна нога там, одна здесь... будьте добреньки пообождать...

Результаты сего диковинного шпагата были неутешительны.

— Жорик с Федей говорят, что не видали.

«Жорик с Федей...» Лозинин швырнул трубку, но тут же привычно возобладал над собой:

— Мы пойдем иным путем.

— Я — никому ни слова, Иван Борисович, — поспешил Казлатырский «оправдать доверие», почудившееся ему в этом «мы». — Я прямо сюда, к вам.

А ведь всё пути условности — и с одной и с другой стороны. Логично, что по мере наступления развязки они ослабевали.

— Соедините меня с головой Видрашку.

Это и был заветный номер, полученный от Войку. Лозинину пришлось дважды объяснять причину своего звонка — во второй раз оригиналу головы, а не приближенному к ней лицу. На другом конце стояло сопение.

— Он пел важную роль? — спросил наконец Видрашку, верно ожидая услышать «да, заглавную». И когда узнал, что Гурьян вообще не певец, то, судя по грохоту, у него гора свалилась с плеч (это когда голова с гору, такое бывает).

— Так они не в масть зашли? Решили: в двухместном номере живет — Лещенко! Хотели мне свинью подложить? Немцы театр прислали, а румынам хоб шо — ну, примария Видрашку по шарам даст... Да лярвы вы собачьи! Хвылые! Асса-са-са...

— Значит, его скоро отпустят?

— Да уж отпустили, наверное, шо там церемониться. Эх, как бортанулись... асса-са-са...

Лозинин не слушал, перед его мысленным взором сменялись разные картины: жар от myriad оплывших свечей, тканная золотом парча риз, все как в тумане, и митрополичий хор Киевской лавры: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...» А то — небритый, грязный, босой, до ушей нахлобучена пилотка цвета выгоревшей осоки. «Кто, повашему, лучше, Рындин или Акимов?» И слабым голосом, но отчетливо, каждый слог выговаривая по-петербургски: «Добужинский».

Перехватил вопросительный взгляд Грини Казлатырского.

— Никому не говорили?

— Никому.

— И сами тоже забудьте. Считайте его невозвращенцем. В Киев он точно не вернется... И идите уже, ради Бога!..

## XVIII

Мамка Одесса гуляла, профурсетка этакая, а праматерь городов русских сидела сгорбленная, в разодранных одеждах, голова посыпана пеплом, кровь на рукаве. Где-то под шум черноморского прибоя хором пели сразу два оперных театра, а здесь на седьмое ноября в «Шато де флер» взорвалась адская машина, и «близ Аскольдовой могилы выросло несколько новых крестов...». В виде ответной меры Ансельми распорядился повесить на самом Крешатике восемнадцать человек. Никто не хотел умирать, чему свидетелем был целый майдан. Одни не хотели больше, другие меньше. С их пожеланиями не посчитались, и большая виселица на протяжении дня «служила уроком».

То, что в кавычках, взято из передовицы, которая начиналась со слов: «Строго? Да. Справедливо? Тоже да». Скоробогатов писал-писал, потом разорвал все в мелкие клочки. Вместо этого он заказал своему кукрыниксу очередного Сталина с пейсами и в ермолке, а соратнице — очередной стишок, из тех, что публиковались за подписью несуществующего сантехника Шестопала. Настасья Филипповна, та вела курсы кройки и шитья, старшая же сестра, она и Виталия Арсеньевича-то была старше, кропала злободневные стишки, порой не без находок. Однажды у ней рифмовалось «Ирода» и «забальзамирован».

Валечке, которую пугал не Ансельми, а Лозинин (пусть тем же Ансельми), в эти палаческие дни дышалось легко. Вояж в Берлин принимал все более конкретные очертания — об этом она узнала от Ансельма, от него же узнала, что намечавшаяся на весну постановка «Лоэнгрина» (На немецком языке, Валентина Степановна, представляет!) доверена не Лозинину, а какому-то немцу. «А еще «Фиделио» собирался ставить», — подумала Валя. Только она не знала, хорошо это для нее или плохо: как бы отнесенный Лозинин не впал в ярость и не наделал чего.

Ансельм ей нравился все больше и больше. В хорошем смысле свой, в хорошем смысле *чужой*. Не говоря о том, что из фрукта, именуемого Гайдабурой, выжимал максимум. Как после обучения в разведшколе, Петра Степано-

вича можно было теперь разбудить среди ночи — он не задумываясь бы запел тирольским соловьем. Возвращаясь к Ансельму. Раз он был по уши влюблен, то других ему, собственно, не полагалось. Очень даже трогательные уши. И всегда караулил Панечку возле редакции...

Это было в день восемнадцатиповешения (числовая символика здесь имела место, но тайная, надругательски-изуверская, аллюзией к совершеннолетию обязанная разве что *путевкой в жизнь*: 77). Если образцово-показательный прогресс при свете дня оставлял советским людям право на самоуважение в условиях повальных арестов, ограниченных действием комендантского часа навыворот и отграниченных от солнечной зоны счастья звукосветопуленепроницаемой стеной НКВД, то публичная казнь, да еще с негигиеническим оставлением трупов «после того», отказывала киевлянам в этом праве. А разве они не такие же европейцы! И в их городе были кондитерские с французскими названиями. И Гауди свой был, и бородавка оперного театра, удалению которой немецкие же саперы и воспрепятствовали. «Так что же вы...» — хотелось спросить у Ансельма, который уже час как топтался у дверей Паниной работы, привлекая к себе внимание.

— Здравствуйте.

Паня ответила, не останавливаясь, но он уже шел рядом, как будто вскочил на ходу в тот же самый вагон.

— Вы и в прошлый раз убежали и сейчас...

— Потому что тут меня каждая сявка знает, — в подтверждение этого Паня поздоровалась с выходявшей из дому Яновской (которая что-то зачистила в наш кадр). — Вы же не мотоциклист — доставили конверт и уезжаете. Невооруженным глазом видно, что вы ко мне по личному делу. А какие девушки ходят с военными?

— Это мне все равно. Когда вы одна на улице, вы в опасности.

— А как же вы сможете меня защитить без пистолета?

— Силой духа.

— Это не считается. Если заслонить своим телом...

— Это и есть силой духа.

— Но это женский способ, Ансельм, — впервые назвала его так, совершенно ощутив себя Марусей Миль-

гром. — У женщины нет оружия, поэтому, когда у мужчины кончаются патроны, когда он ранен...

— Мелодрамы — не мой жанр. Давайте лучше инсценируем... — Он поднял руку ладонью кверху (изобразил себя отлитым в бронзе):

Zwei Häuser gleich an Stolz und Bürde,  
Im prächtigen Verona wohl bekannt,  
Entfachen neuen Groll aus altem Streites Bürde,  
Und Bürgerblut befleckt aufs Neu die Bürgerhand.

Verhängnis, Folter, daß aus beider Schoß  
Ein Liebespaar entsprang.  
Der Elternhaß bringt jammervolles Los  
Und hat sein Ende erst durch ihrer Kinder Tod.

Вы согласны, что это про нас с вами?

Если б еще знать, что — «это»? Выдала «Верона». И уже Ансельму вторит по-русски Паня (вышло на зависть любому режиссеру).

В двух семьях, равных знатностью и славой,  
В Вероне пышной разгорелся вновь  
Вражды минувших дней раздор кровавый,  
Заставив литься мирных граждан кровь.

Из чресл враждебных, под звездой злосчастной,  
Любовников чета произошла.  
По совершение их судьбы ужасной  
Вражда отцов с их смертью умерла.

Кругом пустыри скошенного задворками пути: грязные зады (благоухающие сады?) одноэтажного Киева. Ни души, и к тому же смеркалось. Но согласиться, что «Ромео и Джульетта» — это про них, автоматически означало сократить и часть другого пути, срезать еще один угол. К такой стремительности Паня внутренне не была готова.

Но Ансельм настаивал:

— Я видел их могилу, Верону, как и Киев, называют mater urbium.

— А в Париже вы были?

— Очень недолго. Три дня.

— И на Эйфелеву башню поднимались?

— Да. Как раз в тот день с нее кто-то бросился, какая-то Marianne...

Сын русских эмигрантов, писавшихся «немцами» в силу одного лишь расового предрассудка, он стоял, обмундированный в немецкую форму, лицом против ее лица, и они уже никуда не шли.

— Я бы тоже согласилась прыгнуть с Эйфелевой башни. Тому, кто видел Париж, жить больше незачем. — Это сорвалось с ее губ, как шляпка в бурную ночь, и унеслось в потоке дыхания, встречного его дыханию. Первый поцелуй случается либо под открытым небом, либо на худой конец на лестнице. «А все-таки какие у него интересные уши», — подумала Паня, закрывая глаза.

Мы же целомудренно вознесем свое «кинооко» в тускнеющую лазурь, к розово-облачному суфле.

Сколь лакомы были до него символисты, запатентовавшие предвечерие красоты.

«Ромео и Джульетта» прерафаэлитов.

Ностальгический fin-de-siècle со смертным душком:

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

Паня открыла глаза. Случилось.

Они шли, он держал ее руки в своих, две пары рук — цепью жемчужною, гирляндой небесною.

— Ну и что теперь будет?

— Я люблю вас.

— Я вас тоже люблю. Это ужасно.

— Почему ужасно? Я так счастлив.

— И все равно ужасно. Ансельм, что теперь с нами будет? (Смакуя имя.) Ансельм...

— Любовь моя, душа моя, только ничего не бойся.

— Я не за себя боюсь, любимый, а за тебя. Ты солдат, и твой долг воевать с нами, со мной... Молчи. Но я не в силах тебя ненавидеть. Я чувствую, как люблю тебя с каждой минутой все сильнее. Еще пять минут назад такого не было.

— А у меня и пять минут, и пять часов — как только увидал тебя, все едино. Помнишь, где мы встретились впервые?



— Да, в редакции. Скоробогатов еще спел что-то про солдат и девушек.

— Пошлая песенка.

— Немецкая.

— Ну и что? А помнишь, ты удивилась — когда со мной знакомилась: «Как, тоже Ансельм?» Тогда в редакции. Я еще спросил, почему «тоже». Ты говоришь: «Ансельми». Но я-то знал, что ты написала рассказ про какого-то Ансельма.

— Знал?

Он поспешил объясниться:

— При мне это говорил русский писатель из Берлина.

— Февр! И что сказал?

— Ему очень понравилось. Он наконец понял, что такое писать — это мечтать с карандашом в руках.

— Ансельм... — Пальцы их снова сроднились. — Когда я писала, я не знала о тебе. Обыкновенное чудо. Как в «Алых парусах». Знак, что мы созданы друг для друга.

Он заключил ее в свои голодные солдатские объятия. Оба были неловки, угловаты, неопытны.

— Потому что это про нас: браки совершаются на небесах, — шептал он.

И словно в ответ как-то сразу стемнело. Он целовал ее на ощупь, все подряд, в слепой страсти. В темноте было больше не видно, что она — богиня красоты. Должно быть, когда так любишь, это уже не имеет значения.

С другой стороны. Слово произнесено, и слово это «брак». Означало это предложение руки и сердца или нет — во всяком случае, это предполагало отношения мужа и жены. «Невежливо идти на свидание в блузке, которая застегивается сзади», — говорила Маруся Мильтром, чем четко определяла границу дозволенного. Но это была одесская кошечка с конфетной коробки, спрятавшаяся в пушистую муфту — если не времен Очакова и покоренья Крыма, то времен «Очакова» и «Потемкина», — папаша которой был набит ассигнациями. А здесь что, киевская нищенка с дурацким именем Паня? Павшая смертью оперной героини в лимонном краю самозванка?

— Не надо... а если кто увидит...

А ему уже и так не надо, и так уже счастья полные штаны. Облегчение такого рода есть некоторое испытание для любви, но его любовь выдержала оное с честью: не умалась ни на гран.

— Мы пришли.

Рассусоливать у калитки нельзя, проститься по-быстрому — тоже.

— Входи! Скорей, чтоб никто не увидел.

Входи, зольдат. И ты убедишься на собственном опыте, что газета «Унтерменш» не врет, когда пишет как *кто* они живут.

Но Кирка любви, разводившая на своем острове известно кого, извратила Ансельмово восприятие. Он только умилялся при виде пианино и книг в свинарнике.

— А дядюшка еще рассказывает о киевлянах чудовищные вещи...

— Сам он чудовище. Знаешь, что его называют не капитан Мюнстер, а капитан Монстр.

— Знаю. Он смеется над этим. Он такой же монстр, как ты комсомолка.

(«Я такой же наци как и вы», — говорит Мюнстер Лозинину.)

— А я была комсомолкой, могу показать фотографию.

— Хорошо, как твоя мать — партизанка. А покажи альбом — какой ты была при большевиках?

Снимки хранились не в альбоме, а в черном конверте для фотобумаги.

— Лучше сохраняются и меньше места занимают, — сказала Паня, смахнув на пол крошки и вытряхивая гору фотографий на клеенку, от несменяемости уже проросшую поверхностью стола. Фотографии были самого разного формата: от паспортных с лунками уголков до групповых, на картонных паспарту. Панина школа, мамин театр: мужчины в «косорылках» (косоворотках), женщины в косынках, в глаза тем и другим закапано молоко. Паня в седьмом классе, а вот Паня с бабушкой, а вот справляют день рождения, а это где-то на море... и вовсе не где-то, поперек кипариса белеет парусом пропись: «Гелленджик, 1934 год». Вот бригада артистов в подшефном колхозе.

Пожелтевшие, мертвые, глупые десятилетия. Куда глупее настоящего, которое без дураков.

— А это кто?.. А это кто?.. — спрашивал Аксель и страшно радовался, когда вдруг сам же мог ответить. Чем короче совместная память, тем нежнее дуэт воспоминаний. — Ба, знакомые все лица! Петр Степанович!

— Это во Львове. После воссоединения он ездил туда с концертами. Только жаль, что сам. Иначе тогда бы на пластинку его записали с мамой. А так — с их аккомпаниатором.

Не скажешь даже, что человек рядом с Гайдабурой был интеллигентного вида, просто обладал, по-паниному, *культурой лица*. Позади огромными буквами: CISZA NAGRANIE. Но и без этого видно, что заграница: воздух уютный.

— В этом платье ты была в театре, видишь, я все помню. А это кто, твой отец?

Паня не удержалась чтоб не расхохотаться:

— Это я с нашим учителем литературы на выпускном балу. Настоящий русский барин, только носки нештопаны. Они чем-то похожи, лицо тоже заграничное. — Она имела в виду польского пианиста.

— Паня, моя любимая, я боюсь тебя спросить... — Паня пристально на него посмотрела — а для этого надо было распустить узелок объятий. — Твой отец на фронте?

У нее вырвался вздох облегчения. Мало ли о чем спрашивают, когда «боятся спросить». Она не знает своего отца. Мама только сейчас призналась, что он, чтобы не даваться большевикам живым, выбросился из окна. Это всегда скрывалось.

— Но больше скрывать это незачем, наоборот... — Получалось, что у них общие враги.

— Все равно опасно.

— Вы думаете, что большевики вернутся. А им крышка. То, что твой отец не в Красной Армии или что его не сразила немецкая пуля... знаешь, это бы всегда стояло между нами. Я вздохнул с облегчением, услышав твой ответ.

— А я твой вопрос, — простодушно сказала Паня и опять прижалась к Ансельму.

Одной рукой он обнимал ее, другой перебирал карточки: сперва посмотрит картинку, потом — не написано ли чего на обороте, и снова на картинку. Так проверяют документы.

— А это кто?

Величественный профиль. Человек, который не удостаивает вас взглядом. Личность. Карточка была не любительская, а типографская, с линейками для почтового адреса.

— Не знаю. Может, мамин профессор. Что там, прочитай.

— «Любезной сердцу Валечке с девизом: все прочее — театр».

Подпись он уже не смог разобрать: какой-то бронепоезд, несущийся вперед и стреляющий из всех орудий.

А между тем темная страсть, как выражались встарь, нахлынула снова. Или, как тогда же пели, темные силы в атаку пошли. Приличествующая их возрасту многоступенчатость «в овладении близостью» свелась к минимуму — подстегивала заданность образа: Ромео и Джульетта в обстановке войны, когда люди — фишки, а страсти те же и надо спешить, пока не погас свет. Шинель победителя — серо-щучья? Что тут скажешь, во всяком случае, шинель побежденного — цвета душистого сеновала — и давно не могла бы служить аргументом в пользу того, кто ее носил. В девичьей груди, в девичьем сознании, в спертом дыхании это в гомеопатических дозах присутствовало: вот идет он, герой-победитель твоей матери-родины. А Паня примерная дочь. Нет-нет, все это не поддается проявке, но извлеченное из черного конверта дает некоторые представления о жизни за семью печатями.

— А шинелька тоненькая, как летнее пальто. Милый, что будет с тобой зимой? И о чем только твои командиры думают...

— До зимы еще дожить надо. — И правда, бывают такие минуты в жизни, счастливый исход которых (в эти минуты) желаннее грядущего благополучия.

— Мама может прийти.

— Нет, она сегодня в восемь встречается с дядей. Тридцатого января в Берлине большой праздник: десять лет

победы национал-социалистической революции, Петр Степанович официально приглашен участвовать в концерте.

— Ура!

— Дядя хочет сам сделать ей приятное, только боюсь, у него не получится. Я его опередил. Правда, Валентина Степановна обещала изобразить восторг...

— Изобразит, не бойся. Это мы умеем.

Мы умеем:

плавать по-собачьи,  
говорить по-звериному,  
любить животной любовью,  
сгибать ноги в локтях,  
летать невысоко и падать низко.

А кто не умеет, учись, памятуя, что ученье — свет рысых глаз в ночи. А еще мы различаем животное тепло.

— Ансельм, ты мой муж... — Нет, отнюдь не констатацией совершившегося, а в оправдание предстоящего.

И не будем на сей раз стыдливо возводить очи горé. Это не первый поцелуй, взывающий к деликатности — это было бы то же, что отворачиваться при виде крови. На приеме у врача раздеваются за ширмой, тем не менее стесняться во время осмотра не принято. Осмотр не есть подсматривание. Поэтому рассказываем.

Операция по превращению Ансельма в «мужа» была вдвойне болезненной. Дева вверяется мужу-оператору, а он и сам-то еще только кандидат в мужи. Добро б операционным столом им служил не продавленный диван, на котором возлежит дева-кузнечик, уже лишившаяся очарования тайны, но не очарования девства. Отсутствие первого теперь можно компенсировать лишь потерей второго. Покамест это не удастся. Вину за фиаско, казавшееся неотвратимым, каждый приписывал своим несовершенствам. Наконец природа сжалилась над ними, надоумив Ансельма избрать местом «бесплодных усилий любви» пол. После чего обнаружилась актуальность некоторых английских сюжетов: «Кентервильского привидения» Оскара Уайльда, «Второго пятна» Конан Дойла и т.п.

— Я не отпускаю тебя ночью.

— Для меня нет запретных часов, — сказал Ансельм, так бахвалятся: «Для меня нет запретных тем», а в итоге... Впрочем, после того, как он чуть было не оскандалился, но в итоге *взял свое*, его самооценка — победителя на всех фронтах, допускала такие шуточки.

— Нет уж, если тебе наплевать на себя, подумай обо мне. Ты безоружен, и это безрассудство, а вовсе не храбрость. Ты остаешься здесь, точка.

— А мама?

— Ты меня проводил, назад возвращаться уже было поздно. Мама такие вещи хорошо понимает.

Но проверку на понимание «таких вещей» Валечка не смогла пройти по той же причине, по которой Ансельм не смог заночевать у дяди в Липках: она тоже засиделась в гостях и тоже не рискнула возвращаться затемно. Уже всю пели птицы — и соловьи, и жаворонки, — а Валина постель все еще пустовала.

Наутро Паня впервые делала «вдвоем» то, что прежде делала только одна: «вдвоем» мылась из бочки, «вдвоем» одевалась, и было это куда веселее.

— Это самое счастливое утро в моей жизни, — сказала она Ансельму.

— А ночь?

Паня уткнулась лбом в его плечо.

Она вскипятила воды, достала повидла, хлеба, коленку колбасы. Заколебалась: открывать или не открывать консервную банку с интригующей надписью «Amtlich» (а вдруг какой-нибудь сверхделикатес — что мама скажет?). Ансельм прочел, и занесенный было над банкой консервный нож дрогнул в его руке: а вдруг там служебная тайна? Особенно смущало клеймо в виде орла: на рыбных консервах изображают рыбу, на говяжьих — корову, на свиных — поросенка. Почему там орел?

— А ты что, не завтракаешь? — спросил Ансельм, за каждой щекой у него было по теннисному мячику.

— Завтрак отдай врагу.

Она сохранила привычку подкреплять силы исключительно сном, хотя обстановка военного времени на современном этапе от нее этого уже больше не требовала. Рацион киевлян за последние месяцы значительно обогатился

такими продуктами питания, как хлеб, молоко, масло, мясо, яйца и др. Отошли в прошлое оладьи из альбумина, студень из столярного клея и тому подобные деликатесы. Обстановка военного времени на современном этапе требует от нас...

На этом она вчера остановилась, с этих слов она продолжит сегодня печатать дальше — но будучи совсем уже другим человеком. Бездна разверзлась между двумя частями статьи, лишь ей одной ведомая. Ничего не заметят ни корректорша Деспотули, ни наборщик Макар Комáренко, ни даже сам В.Шурин (псевдоним Скоробогатова), а уж тем паче тьмы читателей, включая далеких потомков, которые будут изучать «этот этап» и «эту обстановку» по газетным страничкам, рассыпающимся в желтоватый прах, в лунную пыль, точно странички эти — высеченная из песчаника фигура Времени в его космическом осмыслении... и тут на экране возникает «The End».

Баля возвратилась в десятом часу «на Гейнце» с двумя пудовыми сетками, которые этот боров, пыхтя, поставил на пороге. Открыла дверь, потянула носом: кто на моем стульчике сидел, кто из моей чашки хлебал? Прошлась по комнате, выглянула во дворик. Половичок явно переместился, с чего бы это? Она отогнула его. Тайника под ним не оказалось, но тайна была раскрыта. Глаза наполнились слезами — при том, что не могла не усмехнуться, вспомнив, на чьей кровати сегодня спала.

«А ей что это даст, хотелось бы знать?» — вздохнула.

## XIX

Тайнобрачия в природе нет, ни в растительном, ни в животном мирах, а есть лишь человеческое неведение, преодоление которого — вопрос времени. Так с последующими научными открытиями утратила всякий смысл *criptogamia* Линнея. Это же относится к Пане. Бессмысленно было обманывать редакционных юннатов, выдавая себя с Ансельмом за «бесцветковых». Бессмысленно было и дальше работать под девушку с веслом, а Ансельма прятать в соседнем переулке. Ансельм неизменно дожидался

ее в Телятинском переулке позади церкви, куда она для отвода глаз заходила, якобы послушать службу. (Эта церковь, как чеховское ружье: рано или поздно выстрелит. На первых же страницах мы видим из окна редакции синий в золотых звездах инжир ее купола. И далее она упоминается постоянно: то при ней «пункт раздачи», то там в хоре пела «славу людей твоих Израиля» бабка с Подола, к которой непонятным образом вели следы Гайдабуры. Неспроста все это.)

Из церкви они окольными путями, чтоб не встретить знакомых, пробирались к Паниному дому, вот уж кого не рискуя встретить, так это маму. Водить к себе огородами немца, а это именно так называлось, было наихудшим из всех возможных видов конспирации. Не говоря о том, что искони огородами пользовались для своих оперативных целей партизаны. Если признавать это сугубо их правом, то выходило, что не немец, а заяц какой-то повадился к Пανε.

С возвращением оперы из Одессы работы у Ансельма сразу прибавилось. Он уже не мог располагать собою как прежде. Встретиться, обняться — это становилось вожделенной целью далеко не каждого дня, случалось, и по три-четыре дня не видеться.

«Обнимитесь миллионы...» Миллионы роз? Нет, всего лишь чуваков. Хор пел бодро, вопреки тому, что стальная дирижерская палочка Мюнстера на поверку оказалась палочкой из манной каши. «Радость!» — выкрикивали по-немецки тенора. «Радость?» — словно не верили своим ушам сопрано.

Мюнстер стучал манной кашей по пульту:

— Freude!

Когда государственным языком репетируемого произведения бывал немецкий, Ансельм присутствовал на репетициях неизменно. И репетиций таких — росло, и росло, и росло. Как в сказке про чудесное зернышко. Хористам от Ансельма пользы было мало: в жерновах хорового пения индивидуальный акцент перемалывался.

— Фрейде, фрейде! Радость, радость! — лаял хор, словно ему бросили кость. И не нужна им никакая «Freiheit», собачья бывает радость.



Зато при разучивании сольных партий, когда заходились в истериках, бились головой о стенку, Ансельм был незаменим.

— Что я в Гэrmании радылс? — рыдала Аравидзе. — В Расыи я радылс, рускы я пэвиц...

— Джорджия Ивановна, уже намного лучше. Давайте попробуем снова.

И медленно из сияющего тумана выплывал трехактовый «Лоэнгрин».

— Приготовились! Михаил Петрович: «Ich bin Lohengrin...» Сперва произносим по складам: Lo-hen-grin... grin... grin... Рина Зеленая...

Прусак при упоминании о «Лоэнгрине» махал руками, как терпящий бедствие в открытом море: нет! его озолоти... Все понимали: зелен виноград. Раз уж «самого Лозинхена» сняли с рейса, щелкунчика нашего, а пригласили какого-то Нускнакера.

С «Лоэнгрином» будет так. Прусак сперва пройдет с оркестром и с певцами оперу целиком, и только тогда Мюнстер возьмет еще сто двадцать пять репетиций — чтобы заводить и заводить себе живую пластинку, пока не разучит под нее энное количество дирижерских «па». Цирк!

Лозинину тоже была уготована егермейстерская роль: все организовать, смазать, подготовить, а потом, со словами «стрелять подано», картинно простереть руки в направлении сцены, по которой, как в саду Эдемском, мирно бы прогуливались разные звери: солисты, статисты, хористы. Еще на нем лежала забота о сценографе. Слава Богу, сейчас не сорок первый год, а сорок второй. И все равно, разве другого такого найдешь, как Гурьян?

Случившееся с ним как-то разминулось с народной любознательностью, которую можно уподобить хору в античной трагедии. Сто раз справедливо, что трагедия — это когда гибнет хор, а не герой. Но когда гибнет герой, а хор этого даже не замечает — тут уж черная дыра, спектакль попросту отменяется. Кого прикажете укорять? Автора? Его в зале нет. Героя? Хор? Кто скучен и безлик, тот не вызовет к себе даже минутного интереса — хоть бы и материалом, пригодным для первой полосы. Между прочим, к

сведению террористов-одиночек: лед безразличия к себе можно растопить, но не взорвать. В компании, куда тебя не зовут, ты все равно ничего не докажешь, хотя бы среди шумного бала тебя разорвали волки. Танцы не прекратятся и музыка не смолкнет. «Транснистрия моя» будет веселиться до упаду (а срок упасть никому неведом). «Что?» — переспрашиваешь — когда кругом свальный грех гастролей, до полусотни спало вместе, снедаемых завистью к чужому одесскому счастью, от которого предусмотрительно хотелось урвать кусочек на продажу (знал бы Гошкевич, что возможного покупателя сейчас вешают). «Кто? Кто? — переспрашиваешь. — Гурьян? А это кто?» Невероятно, но *так*. Кроме Лозинина, которому предстояло искать теперь нового Гурьяна, никто ничего не заметил. Да и как заметишь исчезновение лица того, кого прежде не знал в лицо?

Лозинин... Так и хранился под спудом его режиссерский дар — в планах реализации которого бедняге сценорафу отводилось далеко не последнее место. Все равно бы ничего не вышло. Ситуация не та. Все откладывается до лучших времен. Что, если о них-то и говорил в поезде Февр? Немцы, похоже, действительно увязают.

Мысль Лозинина была стремительна, она была легка, она была как пушинка: подует ветерок в другую сторону, и ее отнесет к другому бортику. Но зато никакой силы ветры не изменят его эстетических принципов, здесь он стоял неколебимо, как Россия — на берегах Волги. Ввиду недоступности европейского репертуара, он шарит мысленным взором по корешкам клавираусцугов с русскими названиями в поисках подходящего. «Борис Годунов» хотя бы. Тоже есть что переосмыслить.

«Борис Годунов» осмыслен режиссером в плане остросоциальном. В одной из лож, аляповато обклеенной оранжевой фольгой, мы видим последнего царя, царицу, великих княжон, наследника, одетого в матроску. Они словно отбрасывают на сцену свое отражение: действующие в опере Борис, Ксения, Феодор — в такой же матроске — подобны их двойникам. Этим достигается эффект двойной реальности, знакомый нам по новелле Гофмана «Дон Жуан». Со смертью Бориса царская ложа пустеет.

Глубоко впечатляет образ Гришки Отрепьева. Самозванец не только рыжий, он еще и лысый, борода клинышком, тогда как Марина выглядит отвратительным трансвеститом, Парвусом в дамском белье. В страстном дуэте сливаются их голоса.

«Сцена под Кромами» представлена как восстание матросов, в нее мастерски введен ряд мизансцен: изнасилование Ксении, убийство царевича, переход представителя высших классов на сторону восставших. В финале оперы на заваленной горами трупов сцене в живых остается один лишь юродивый — олицетворенная Россия. Поэтому, кроме цепей и вериг, на нем еще сарафан и кокошник. И когда тоненьким голосом поет он: «Плач, плач, русский люд...», то ярким светом вспыхивает правительственная ложа с сидящими в глубине Сталиным, Ворошиловым, Молотовым».

Очередной бессонной ночью, ворочаясь с боку на бок, имитируешь будущего своего биографа. Но можно и сменить тему. Тетрадь попала к нему... как кур в ошип? Ничего, такая тетрадка навару даст. Отведаем-ка бульону из эротических грез прехорошенькой курсистки. Все так устраивается, что барышня сама, прекраснотеликой дичью, спешит на стол к повару. Он не мстителен. На чувстве, которого бы другим с избытком хватило, чтоб истребить город, он возведет уютный домик, позаимствовав у мести лишь ее сладость. Ах, что изведает жертвы его нежности под угрозой быть избалованными — в чем? А ни в чем. В преступлении, которое не подлежит наказанию, потому что не выражается ни делом, ни словом, ни мыслью — подобно яду без цвета, запаха и вкуса, к тому же абсолютно безвредному, но только если ничего о нем не знать. Поэтому нижайшее мерси, мадам.

Merci, madam!

O Paris!

На бульварах твоих я изведаю скорбь и любовь на троих, акордеоном твори, трали-вали, смотри, я готов на пари —

O Paris...

И вздрогнул — а ведь уже слипались веки. Вздрогнул от мысли, что Февр прав и есть третья сила. В Киеве все-

гда считали: «Тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы». Вы еще поезжайте в Гомель, спросите, что там думают...

При встрече с Войку Лозинин об этом помалкивал. Консул уже высказался по поводу третьего пути, одним концом ведущего в интеллигентс сервис, а другим в гестапо. Лозинину тогда представилось, как в обе стороны движутся караваны с тюками, содержащими всевозможную информацию, она же дезинформация, причем отделить одно от другого ни получатель, ни отправитель не в состоянии.

Он рассказывал Войку, как съездили, какие феерические были гастроли, как впору прихлipsis румынские порядки Одессе (не то что немецкие Киеву). Нельзя сказать, чтоб не помешал в бочке меда ложечкой дегтя: «Вот только художника нашего жаль...»

Войку вздохнул:

— Они, подлецы, прячутся в своих катакомбах. Похитить кого-нибудь среди бела дня, и чтоб исчез без следа — их стиль. Но это не носит массовый характер, просто не повезло человеку. Вы же видели, как живет Одесса — купается в изобилии.

— Купается, — поспешил согласиться Лозинин. — Мэрия закатаила банкет, куда там моей Дарье...

— Каждому овощу свое место.

— Со временем все приедается. Вам никогда не хотелось поиграть... — Лозинин болезненно втянул обе щеки, так что губы сперва изобразили красную календарную восьмерку в марте, затем раздался чмокающе-чавкающий звук, — в дочки-матери втроем?

— Вы Февра начитались. Поверьте доктору, не стоит. Как вам, кстати, Видрашку?

— Черномор... в меру асимметричен.

— Это чудо медицины. У него ведь был сифилис мозга в последней стадии, как у... ну, «колеса тоже не стоят...» — у Шуберта. Представляете, трехнедельный курс шоковой терапии в Мункачеве, и все как рукой сняло. А еще говорят, что это не исконно румынская территория.

Побывал Лозинин и в доме номер семь по Бессарабке, заранее предупредив запиской о своем визите. Ответ был:

«Ждем не дождемся». Помня о «монтрейльском» кошмаре, разлитом по глазным рюмочкам, он прихватил с собою один из фальшивых рубинов в оправе на дурака: «“Абрау селект”, 1926 год, Арнаутский вино-водочный комбинат им. 10-летия Октября».

— Гостинец из Одессы. Получите и распишитесь.

— Ох, Иван Борисович, вы нас балуете. В Новый год непременно разопьем. — И бутылка была торжественно установлена за стеклянной дверцей буфета, на самом почетном месте. — Закладка, можно сказать, состоялась, а на открытие — милости просим.

На сей раз к столу были поданы драники с яблочным пюре, как пример заимствования у других народов того лучшего, что ими создано. Это уравнивалось отказом от собственных национальных пороков, главным из которых является употребление алкоголя. Черешня, как всегда, присутствовала, но исключительно в виде вышивки на подушечке, предназначенной облегчать Скоробогатову его тазобедренные страдания. Вышивала Настасья Филипповна, сейчас она привычно сетовала на то, что драники остынут, и призывала отложить все приветствия, разговоры и прочие любезности «на потом».

— У нас кухарка говорила «деруны», — сказал Лозинин.

— А моя бонна всегда говорила «картофельпuffer», — сказал Виталий Арсеньевич, чем поставил «все точки над ё». (Таких шуточек — «расставить точки над ё», «эссэ хомо цвай уха», «на ухо доносор» — у него был полный таз.)

Звонок.

— А вот и они.

Федор Парфеньевич задержался в Институте физиологии, трудясь над изготовлением «Фрейи». Два пустовавших рядышком прибора смотрелись двумя заблаговременно установленными беломраморными плитами, на которых еще ничего не высечено, — верная Ириша предпочла ждать своего Богатырчука дома.

— Сухою корочкой питался, — сказал Богатырчук хозяйке, сердобольно предположившей, что он аж с утра не ел. — Ну что Одесса под румынским каблучком? — обратился он к Лозинину. — Не очень стонет?

— У одесситов такой запас витальности...

(«Меня?» — балагурил Скоробогатов.)

— ...что ваши коллеги из Дирекции науки создают аналог «Фрейи» на основе сеянной вытяжки.

Богатырчуку это показалось колкостью. Он насупился, откашлялся и сказал:

— Что такое молодость — это каждый понимает по-своему. Есть, например, любители незрелых фруктов. Ваш опыт работы в кременчугском Театре юного зрителя, думаю, это подтверждает.

«Как он дернулся, — скажет потом Федору Парфеньевичу Ириша. — Представляю, как он испугался».

Лозинин действительно подскочил, но всего лишь от неожиданности. Пугаться? Прошли те времена, когда его преследовали кошмары: «Не поможет, гражданин Лозинин... Разоружайся перед советской властью, гнида!» Теперь он сам кого угодно до смерти напугает. Теперь и с Зинаидой бы вышло иначе — когда б Светочке светил Бабий Яр.

Осведомленность Богатырчука, однако, застигла его врасплох — если только это не случайность.

— Вы ошибаетесь, я никогда не работал в ТЮЗе, — ровным голосом проговорил он, — а работал в Театре имени Восьмого Марта.

— В Театре имени Восьмого Марта... — повторил Скоробогатов брезгливо. — Какая это была все же пошлость — советская власть.

— А может быть «Театр имени Восьмого Марта»? — удивилась Настасья Филипповна.

— Почему нет? — отвечал Лозинин. — Был же на Владимирской «ТЕПАЖЕДЯ» — Театр Памяти Жертв Девятого Января. Да, чуть не забыл, всем привет от Николая Николаевича.

— Ну, как он там?

— Вроде бы им довольны... я хочу сказать, что румынские власти не чинят препятствий его патриотической деятельности. А так... отбивается от поклонниц типа вашей красотки.

— Если вы о Панечке Лиходеевой, то боюсь, она больше не его поклонница... Тюпа, не будешь так любезна, не передашь мне еще немножко апфельмуса...

— Как это понимать? — проговорили хором все, за исключением Настасьи Филипповны; у рукодельницы голова занята лишь тем, чем в эту секунду заняты руки.

— Боюсь, она предпочла ему другого... И это был правильный выбор.

— А кто избранник? Она и правда изрядно хороша собой.

— Федор Парфеньевич... Федор Парфеньевич... нам ли с вами, в наши лета... Тут есть, правда, один политический нюанс, но об этом в следующий раз... Иван Борисович человек аполитичный, ему такие вещи неинтересны. Я даже не спрашиваю его, не встречал ли он в Одессе национально мыслящих русских людей, хотя там таких немало.

— И напрасно не спрашиваете. Ко мне на банкете подошел один господин и представился: он из организации, которую возглавляет полковник Кричевский, их штаб находится в Болгарии.

— Кричевский полностью креатура гестапо, к тому же монархист, — сказал Богатырчук. — У них нет никакой программы, они не обладают самостоятельностью. Они против создания Русской освободительной армии — а еще именуют себя «Русским Воинским Братством». Они за русские части в составе СС. Хорошенькое братство.

— А вы полагаете, немцы когда-нибудь согласятся на создание такой армии?

— Вне всякого сомнения.

— Жизнь заставит, — сказал Скоробогатов язвительно. — Вам известно, что с февраля наша газета уже получает новое помещение? Это историческая победа. Мы боролись за это начиная с октября сорок первого. Охримюк — я на него, страдальца, зла не держу — говорил: пусть скажут спасибо, что им вообще позволили выходить. Выделить нам чердак, когда вокруг пустовало столько квартир, — это было политическим жестом. Нам ведь предложили либо подвал, либо чердак: выбирайте. Помнишь, Шурочка?

Соратница все помнила. Закрыла глаза и закивала.

— Это было такое издевательство. Виталий Арсеньевич, думали они, предпочтет подвал — рассчитывали, что он не сможет подниматься. А мы решили: нет! — ладош-

кой по столу. — Мы вам не крысы! Колокольный звон из подвалов не раздастся. И каждый Божий день Виталий Арсеньевич на пятый этаж поднимается. Знаете, каково это ему?

— Немцы тогда шли на поводу у самостийников во всем, — продолжал Скоробогатов. — К ним взывать было бесполезно. Русские — это Москва, Москва — это комиссары, евреи. Следовательно, русскими в Киеве являются... Доходило до абсурда. Я, честно говоря, не понимаю, как, располагая таким доверием у немцев, можно было в считанные месяцы все растерять.

— Усатый же говорил: головокружение от успехов, — сказал Богатырчук. — «Сказка о рыбаке и рыбке».

— Да, пожадничали, — согласился Лозинин и рассказал полуанекдотическую историю о том, как Прусак предложил за каждое русское слово на репетиции штрафовать: одно слово — один карбованец, два слова — два карбованца и так далее.

— И что же?

— Мюнстер сказал, что он разорится.

— Он мне все симпатичней и симпатичней, этот Мюнстер. Немец, у которого открыты глаза и уши. И таких становится все больше. А то ли еще нас ждет. Чем ближе конец войны, тем яснее становится горизонт. В одном я с Гитлером согласен полностью: в этой войне не будет побежденных, только победители. Раньше ли, позднее ли, но Европа пойдет по пути братского сожительства на началах справедливости, взаимного уважения, добровольного сговора, а не принуждения и нового покорения. Также и в грядущей России жизнь будет строиться на безусловном признании силы права, а не права силы.

Скоробогатов говорил как по-писаному — кем и когда, не важно. Плагиат ничему так не обязан, как хорошей памяти, — а ею Виталий Арсеньевич мог по праву гордиться.

— Буди! Буди! Создание Русской освободительной армии — дело ближайшего будущего.

Но аплодисментами ему было лозининское «не дай Бог».

— Как прикажете понимать?



— Немцы пойдут на это, только если их собственная армия перестанет существовать. Надеюсь, этого не произойдет никогда. Я далек от того, чтобы переоценивать немцев, они безумцы, это однозначно. Но все же не настолько безумны, чтобы иметь у себя в тылу еще одну русскую армию.

— Это вы мне должны объяснить, это вы мне должны хорошо объяснить, Иван Борисович.

— Тут нечего объяснять, эта армия в первом же бою повернет оружие против них. Вы когда-нибудь были в Дарнице? А я был. Вы когда-нибудь слышали такую частушку:

Господи, вступи́ся за Советы,  
Сохрани страну от высших рас,  
Потому что все твои заветы  
Нарушает Гитлер чаще нас.

Вопросы есть?

— Ответы есть, — вступился Богатырчук за *соратника по совместной борьбе против общего врага* — но не за Германию, которую Виталий Арсеньевич имел обыкновение именовать так в каждом номере своей газеты — за самого Виталия Арсеньевича: режиссер отбирал у него роль. Это была его роль — говорить от имени народа. Скоробогатов растерялся, и тогда Богатырчук с блеском продемонстрировал, что и русская земля умеет рождать своих макиавелли.

— Прежде всего: если Германия будет истощена войной настолько, что мы сможем представлять для нее угрозу, то, знаете, тем хуже для Германии, — проглотил «картофельпупфер». — И тем лучше для России. Однако наша задача состоит в противном: убедить немцев, что нож в спину им не угрожает как раз благодаря нам. «Ножом в спину» Гинденбург называл революцию. Немцы считают ее следствием двух факторов, причем взаимообусловленных. Первый: предательство евреев — коль скоро им больше этого бояться не приходится, разубеждать их в этом не в наших интересах. Второй фактор: неудачи на фронтах, во избежание чего — говорим мы им — вами и формируется русская армия, действующая под русским командо-

ванием, хотя и в рамках совместной борьбы против общего врага. Идея ведения войны с Советами руками русских должна стать идефикс в военных кругах. В этом направлении следует проводить постоянную работу. Самое главное для нас сейчас — это контакты, контакты и контакты с немецкими военными.

Богатырчук кончил говорить так же решительно, как и начал. Не болтун: такого молча выслушивают до конца и чуточку дольше. Первой нарушила молчание Настасья Филипповна:

— Ирина Антоновна, вы совсем драников не берете. Съешьте еще.

Женщины в «политике» не участвовали. Соратница участвовала, но ограниченно: притулившись, свернувшись калачиком у ног разговора, лишь время от времени одобрительно повизгивая или враждебно рыча. На щите ее лица было начертано: *честность*. Тогда как на лице Ирины Антоновны читалось: *верность*. Девиз не бывает случаен, его изначальная функция — опровержение.

— То, что «нам не дано предугадать», еще не освобождает нас от обязанности действовать, — сказал Скоробогатов, как бы оправдываясь перед Лозининым, в предвидение возможных его возражений. — Мы действуем в меру отпущенного нам разума, но, главное, мы не сидим и не ждем сложа руки. И когда наступит час дать ответ, мы скажем: мы сделали то, что могли, а кто мог лучше, почему не сделал иначе?

— Ну, батенька, это не разговор. Здесь рефлексии неуместны. Я не вижу альтернативы. Война когда-нибудь кончится, и на каких бы условиях это ни произошло, к прежнему возврата нет.

То же самое говорил и Февр: мир после войны, после такой войны, не может не измениться. Скоробогатов — пустобрех, это ясно, Богатырчук — дурак-гроссмейстер. Лозинин обоих ни в грош не ставил, он насквозь видел этот «Союз меча и орала». Но Февр — западный человек, умный, без раскисона. Он ставит на ту же карту.

— Верно, что я держусь от политики в стороне. Политика — слишком серьезное дело, чтобы ею занимались театральные работники. Но я не аполитичен. Да и как вы се-

бе это представляете, когда ты стоишь посреди минного поля и это поле — Россия? Я не знаю, я в мучительном раздумье, мне с немцами тоже не по пути, а с большевиками — России не по пути. Третий путь — другого не дано. В моем лице, Федор Парфеньевич, вы имеете единомышленника. Самое нереальное на поверку оказывается единственно возможным.

— Так вы с нами! — вскричал Скоробогатов тоном, каким на его месте вскричал бы любой заговорщик.

— Я с Россией, Виталий Арсеньевич. Можно быть либо с Россией, либо против нее.

— Да, третьего пути нет, — сказал Скоробогатов. В знак полного единомыслия они соединили руки в тройном рукопожатии.

— Как по вашему, Мюнстер может оказаться в наших рядах? — спросил Богатырчук у Лозинина.

— Друзья мои, — сказал Скоробогатов, — Панечка Лиходеева, дочь вашей, Иван Борисович, ну... — он не находил нужного слова: коллеги не коллеги... подчиненной не подчиненной... — ну, вы знаете...

— Валентины Степановны Лиходеевой, — проговорил Лозинин с каменным лицом.

— Она ведь встречается с племянником Мюнстера. И насколько я понимаю, это очень серьезно. Они вместе ходят в церковь.

— Держите меня, — прогремело тяжелым басом.

— Ты этого не знала, Тюпа? Вся редакция только об этом и говорит.

— У парня губа не дура, — сказал Богатырчук. — Его дядя знает об этом?

Ну прямо в одно слово с Лозининым, который мысленно с тем же вопросом адресовался к самому себе.

— Простите, что вы?.. Я отвлекся.

— Я говорю, знает ли об этом его дядя?

— Муж, Федор Парфеньевич, обо всем узнает последним, это известно. А про дядю я не знаю. Я могу поинтересоваться у ее матери.

— Непременно. И потом скажете, что она вам ответила. У Мюнстера должны быть широкие связи. Для нас он

был бы незаменим. Сделайте одолжение, не забудьте переговорить с ней.

— Не извольте беспокоиться.

Лозинин посидел еще сколько-то для приличия и ушел на боевое задание. Перед самым своим уходом, как близкий отныне человек, он был посвящен Скоробогатовым в семейную тайну:

— Я вам открою семейную тайну. Стихи, которые нам якобы присылают то сантехник, то учительница, в действительности пишет вот кто... наш Кузьма Прутков.

Все засмеялись, а Александра Филипповна покраснела.

Когда за Лозининым закрылась дверь, Скоробогатов сказал:

— Этим приобретением мы обязаны Февру.

Богатырчук возразил не сразу:

— Этим приобретением мы обязаны правоте нашего дела.

Обиделся.

## XX

Мюнстер — последний человек, с кем Лозинин будет обсуждать расовую мораль его племянника. Согласно новейшим рунам, немецкие жеребцы могут покрывать только чистопородных кобыл по предъявлении теми сертификата, удостоверяющего чистоту крови шестнадцати поколений предков. По крайней мере, он о таком слышал — видал, правда, прямо противоположное: унтершарфюрера Яшке с фрейлейн Машкой под мышкой. Но в споре слуха со зрением решения принимаются в пользу слуха со ссылкой на «обман зрения». Даром что все ведут себя как если б не то ослышались, не то ослушались. Это в порядке вещей. Лозинину к этому не привыкать — еще с советских времен, когда одиннадцать сестер были просто целочки. На вид. Как Валечкина Панечка. А приподними подол — клейма негде ставить.

И так разили его «крила огня» и пытало «уголье огненно», что приторный «лозинхен», он вдруг преобразился в пребольно секущую лозу — в долгожданного хама.

— Ближе! — скомандовал он Валечке, когда та появилась в дверях.

(Накануне Полина Петровна — коса короной, «локон страсти» уреем — постучалась в третью студию:

— Иван Борисович велел сказать, чтоб вы пришли завтра в пять. — «Когда тебя уже не будет, выдра», — подумала Валя.)

— Еще ближе!

Он сидел на стуле, как подросток: нахально расставив ноги.

— Жизнь стала чертовски опасной, на людей нападают, людей похищают, был человек да сплыл.

— Я слышала... с художником... — прошептала Валечка, стараясь дать ему упиться своей властью над нею — хоть бы лопнул уж наконец.

Он похабно посмотрел:

— Как всегда готова ко всему, а? И к труду и к обороне? С Берлином поздравлять не буду, я уже говорил, это может быть и очень больно тоже. Особенно после того, как наша Пеночка заразила немецкого солдата дурной болезнью...

У Валечки подкосились ноги, и она плюхнулась в борщик ковра. Долго ли, коротко ли они летели, Лозинин ей и говорит, перекатывая лежащее тело взад-вперед, как бревно — остроносый, черешневого цвета, ботинком:

— Пошленько, но со вкусом.

И видит она: высоко в небе парит крапчатая тетрадь со значком ГТО, такая безобидная прежде — на клеенке, сросшейся со столом, на комоде-уроде, а более всего на дне котловины, по старой памяти называемой диваном. И такая страшная здесь. Лозинин помахивает ею как-то чудовишно грязно.

— Сочинение под названием «Маруся Мильгром». — Читает: — «Зи золен рейтузен вег. Лиген зи унд нихт беверген, — прошептала она Ансельму. — Абер их верде плетен ир копф. — Она протянулась рядом с ним, и он почувствовал прикосновение ее коленей». Райское либретто. Вот бы поставить своими силами. Втроем. В нарушение всех законов, и божеских, и человеческих. Слушай... — Лозинин присел на корточки и заговорил, быстро, как будто боял-

ся, что кто-то войдет. (А коли и войдет? Ну, плохо стало Валентине Степановне, ну, присел он на корточки над Валентиной Степановной, в одной руке тетрадка с либретто какого-нибудь Скриба, в другой — стакан воды... того же Скриба в исполнении театральной группы русского юношества... Но только не бойся, не войдет никто.) — Мюнстер не для того спасал своего племянника от фронта, чтобы здесь им гестапо занималось. Для парня во сто крат лучше было бы сифилисом заразиться, чем с твоей дочкой связаться. Мюнстер исключается. И весь мир исключается. Я... только я один. Режиссеру очень хочется по этой тетрадке пьеску поставить. Поменяем имена: Валечка, Панечка и Ванечка. Будет одной героиней больше. Будет хорошо — я обещаю. Мамочка, Панечка и Ванечка. Ну? А нет — будет так плохо, что... Это я тоже обещаю. Потому что твоя девчонка — и сифилис, и чума, и полный ров тел. Все, вместе взятое. А поверх известка. Чтоб воняло санэпидстанцией.

Влив ей в рот воды, Лозинин принялся прохаживаться по комнате, а Валя продолжала сидеть на полу. Впрочем, отчего же не сказать «на ковре»? Философ-идеалист сказал бы: не место красит человека, наоборот. Итак, Валя сидела на ковре, а Лозинин ходил кругом, как по цепи, и говорил, говорил... Валя листала оброненную им тетрадку с задумчивым видом. Или с рассеянным видом.

— Я всегда выходил победителем, противиться мне бессмысленно. У меня желания безумца, но тем острее они, и тем блаженней бывает их утолять. А должен сказать, мое блаженство заразительно, у меня имелись случаи в этом убедиться. Так что тебя пугает? Это древнейшая в мире практика. Самая прекрасная из женщин, египетская царица, делила своего супруга и брата с их общей дочерью — сладость была неописуемая, до нас дошли их стихи. Аристократия рода человеческого. И твоя дочь об этом же грезит: стать единой плотью с мужчиной своей матери, со-обща с нею отдаваться ему. Почему она от Февра умирала, почему посылала ему свои тетрадки? Да потому что это его излюбленная тема. Ты Февра читала?

Как ей было отвечать? Пересохшими губами, едва слышно, не поднимая глаз? Вообще, потупившись мол-

чать? А может, глядя на Лозинина в упор — но тогда, расположившейся на ковре, ей пришлось бы обольстительно, по-лебяжьей, выгнуть шею? Сам ответ роли не играл: не все ли равно, читала она Февра или не читала.

— Нет, — сказала она, запрокидывая голову, как для поцелуя с врубелевским демоном.

— Февр пишет недомолвками. Тут тоже замаскировано, — и выстрелил указательным пальцем в тетрадку, всю в родимых пятнышках камуфляжа. — Замаскировано, да плохо. А что у нее есть Ансельм — это хорошо. И для нее самой. Белой магии без черной быть не может. И потом... ансельмы приходят и уходят, а Россия остается. Нам. Я — будущая Россия. Ради меня немцы истребляют большевизм. Чтобы мне вручить ключи от города. Мне и таким, как я. Пускай себе гуляет твоя дочка с Ансельмом, аппетит нагуливает. Пускай в церковь с ним ходит...

— В церковь?

— Чего ты всполошилась, не в синагогу же. Или не всполошилась, наоборот? Хорошая партия? Нет, этого ему не видать, как своих арийских ушей. Даже если б по дурости и захотел. Только осторожно с фотографией.

— С какой еще фотографией?

— Ты же должна хранить его фотографию. В России любой театровед сразу бы узнал. Или со страху все сожгла?

— Не сожгла.

— Принесешь. И всегда будешь с собой приносить... Сегодня же заведи с ней разговор о Февре. Признайся: чем-то это тебя забирает. Спроси: а ее? Вот тебе книжка, — выдвинул ящик письменного стола, где хранят пистолет с одним-единственным патроном. — Почитайте вслух, я отчеркнул где. Там всё вполне в трусиках и в лифчике, можешь поверить. Читайте вместе, чтоб в один голос голоса слились. Голоса — вы, а то что вы читаете — я. Говорите об этом, обсуждайте. И придет. Она этого хочет не меньше тебя.

Валечка не опровергала наличие такого желания.

— Я даже больше того... по одиночке вы вольны, что хотите... никаких возражений... Тайна трех все собою покрывает. Тайна трех — это будет пароль. Нет, лучше... Я берусь наставить ее сам. Не бойся! Обещаю, без тебя не нач-

нем. Я обольщу ее речью, спровоцирую ее подсознание. И тогда, обращенную и одновременно еще не верующую, я подведу ее к занавеске, которую отдерну: «Смотри!» И там будешь ты. Решено. Ты не сумеешь, я сам. Вставай.

Он стоял в полушаге от нее, чем-то напоминая чугунового Маяковского. Вероятно, столь же глубоко и столь же решительно запустил руки в карманы. (Вместо того чтоб помочь ей подняться. Сказал же «не притронусь ни к тебе, ни к ней, когда вы порознь», — и не притронулся.)

На улице была позднеосенняя темь, но не набрякшая сыростью, а сухое холодное безветрие — но еще не ледяное, тоскующее по снегу. Днем, при свете солнышка, было бы и хорошо. Это в кромешной тьме неуютно. И даже страшно. Валя помнила, что третьего дня угодила ногой в колдобину с мазутом. Результат — домой пришло двенадцать поросят (негрятят, тоже можно). Изгадиться второй раз ей не хотелось, и она была бдительна. Паня в церковь ходит — а она и не знала. В какую? Наверное, в том переулке, рядом с газетой. Нет, все же холодней, чем показалось, надо надевать вниз теплые вещи. А Паня бегаёт, словно лето. Как время пролетело. Оглянуться не успела — зима. Что между ними (весна, осень), то не в счет. В прошлом году морозы были — старожилы таких не припомнят. У них вообще с памятью плохо. Мама ничего не помнила. Но, правда, в это время снег уже лежал. Когда всё под снегом, забываешь, что под ним, и чувствуешь себя как в детстве: ничего больше не страшно, никто не обидит, никто не накажет. На святки всех разбирали, кого родители, кого родственники. Занятия на рояле тоже прекращались: Феодора Гореславовна уезжала на свои «вайнахты»... в Ревель? В Невель? Забыла. Какой-то город на «эн». Из двенадцати кроватей одиннадцать пустовало. Благодать! Когда после смерти отчима мама с братом вернулись, стали забирать и ее. Так закончился праздник Нетронь-меня, который, подобно снежному заносу, ненадолго отрезал ее от мира, тянувшегося к ней не с добром. Паня ходит в церковь... бедная девочка, неужели она такая несчастная... А может, и самой сходить? Просто у ограды постоять. Сегодня вечером ее никто не ждал, знали: эта женщина больна, по-женски. Домой тоже нельзя, еще ча-



са два нельзя будет... А ведь могут начать смотреть фотографии. Дьявол, как он догадался? Дьявол... Дьявол... Если б она тоже была ведьмой. Были же когда-то, таких за волшебство сжигали люди. Да-а, если б самой быть ведьмой... Как говорит Мюнстер: *«“Nicht zu machen”, — сказал я себе, появившись на свет, и покину его с этими же словами»*. Он стервятник и глумливец, и клоунское в нем на переднем плане, а мужское на заднем, но... *«nicht zu machen»*. Ансельм ему ничего не рассказывал. Ей, правда, Паня тоже не рассказывала ничего — все равно же она знает, когда домой нельзя приходить. Что немцам нельзя, что там свои законы, она слышала. А тут свои. Запрети-ка закон притяжения — что, падать перестанут?

Она ступала очень осторожно, боясь оступиться и изгадиться. Но когда боишься оступиться и изгадиться, еще верней изгадишься. Бояться не помогает, уже замечено. Все равно боишься, привычка. Плюс спокойней. Профилактика страхом, как любая профилактика — ничего не дает, зато совесть чистая: ты сделала, что могла. *Nicht zu machen*. И закон притяжения... мужчины к женщине — тоже *nicht zu machen*. Так сделано — чтобы дети на свет рождались, с этим тоже *nicht zu machen*.

Девственно постоять у ограды не вышло. Жарко горящие окна соблазнили стынущую, побиваемую ознобом Валечку подняться по ступенькам и войти. (Почему «соблазнили», а не «побудили», скажем? Да потому что «нечет» пускают не дальше предбанничка, где тетушка торгует свечками. А ежели так, то и соблазн не может быть односторонним: дуализм предполагает равенство сторон.) И очутилась она в благоухающем ладаном пространстве. Оглядывается: нет ли здесь Пани, не крестится ли с сумасшедшим видом? Нет, слава Богу!

Ярко горело паникадило. Людей было наперечет, всего несколько человек. Поодаль батюшка и еще двое. В этот момент батюшка, подняв высоко над головой голое тельце младенца, начертал им в воздухе крест. Потом пошел с ним куда-то, воротился и передал женщине, уже державшей наготове стеганое, в пунцовых шелковых горбушках, одеяло.

Возгласил:

— Ризу мне подашь светлу... — Бывшая на нем, золотая, сочетаясь с винным пятном одеяльца, подчеркивала неказистость восприемников. Пунцово-красную плачущую куколку вернули матери, которая озабоченно и вместе с тем умиленно заглядывала внутрь.

— Мир вам... — Актуальней всего это было для отсутствовавшего отца ребенка. «Ясное дело», — подумала Валя. И еще подумала, что Панечку не крестили.

Спины всех склонились.

— Ты что, знаешь их? — Яновская (а это была она) указала глазами на крестивших ребенка. Впрочем, ошибочность такого предположения была очевидна. — Да ты чего, мать? Ты здоровая? Ты хвора, поди...

Слабая корочка еще здорового состояния окончательно рассыпалась при этих словах, выкликающих болезнь, которая, сметая все преграды, рванулась наружу. Валю тряс озноб, лицо сводило судорогой, не дававшей открыть рта.

— Елицы во Христе креститися, во Христе облекатися. Аллилуйя, — раздалось по-старушечьи назидательное пение — это запели две старушки.

— Яна... — Яновскую так все звали, хотя имя у нее было совсем другое: Раиса. Сплошь и рядом кличка, образованная от фамилии в детстве, потом на всю жизнь приставала: Булкина — Булка, Сычева — Сычиха.

— Може, тиф? — спросила Лизавета у Яновской, которая — добрая душа — привела Валю к себе.

— Иди ты на фиг, у самой у тебя тиф.

Валя дрожала беззвучной тенью.

С Яновской ее связывала исключительно давность знакомства, что чревато само по себе сентиментом. Они и виделись-то редко, в последний раз та прибежала... в общем, на одной из первых страниц романа, когда в газету бросали бомбу. Натерпелась Валя страху. Нет, Яна — верный человек. А так что — ну, заходила, приносила какие-то ноты, романсы, городские баллады с дореволюционными виньетками и просила сыграть. Она легко запоминала мелодию, подбирала на баяне похожий аккомпанемент и исчезала — снова на месяцы. Знакомство не обременительное. Со своей стороны, Яновская была им польщена и

дорожила — судя по ее самоотверженным порывам. Здесь было стихийное преклонение перед Вале́й, чье умение играть с ходу музыку по нанизанным на пять линеек черным бусинам граничило с чудом.

Другое чудо: ртутная палочка оставила без внимания Валину подмышку, ее серебристая завязь почти ничего из себя не выпустила.

— Ты — чай? — помрежем хочешь стать?

Валя кивнула и получила кружку — чаем назвать это было трудно — кипятку, подкрашенного морковкой. А прежде чем «помреж», как было не исповедаться Яновской — ниспосланной ей самим провидением, да еще в каком месте.

С каждым словом исповеди и с каждым глотком «чаю» ей становилось лучше. В припадке болезненной откровенности, совершенно Вале́чке несвойственной, она рассказала все. Это не означает, что все из рассказанного ею было верно понято. Что-то осталось неопознанным, что-то было неверно истолковано, но главное — цена неразглашения страшной тайны, назначенная Лозининым, — отпечаталось в сознании слушательницы вполне адекватно услышанному. Весь вопиющий к небесам ужас Вале́чкиного положения был ей очевиден, а клиника лозининского сладострастия, в сущности комического и пахнущего хлестаковщиной, очень даже ясна. (Лозинин напрасно бы утешался или упивался изысканностью своих претензий, его порок не такой уж и изгой среди пороков. А хоть бы и был. Только в собственном изгойстве чудится аристократизм.)

— Убила бы своими руками!

— Я уже думала. Говорят, для этого надо вылепить из воска куколку и проткнуть иголкой.

— На фига? Это как царапаться, когда ногтей нет.

Валя произвольно взглянула на свои — как смотрят мужчины (или музыкантши): повернув ладонью к себе и согнув пальцы. Утром она испробовала новый лак, который купила у Цесаркиной-Цераскиной. Лак назывался «Вампир», и пузырек завинчивался крышечкой в форме кровавого клыка; чего только одесситы не выдумают.

— Прежде всего спрятать ее в деревню. Я с бабками нашими поговорю.

Яновская ведь в «благотворилке» — при церкви: платят шиш, но с голоду не «помреж». Опять же штамп в арбайтс-карте. А добрать деньгой или папиросами всегда можно. Пойдешь на Житный... Взяла с полу баян, загудела. Много, много их было, таких очарованных певуний, в Киеве:

Твои глаза, как два тумана-а-а,  
Полуулыбка, полуплач... —

голова набок, мехи выворачиваются китайским драконом, —

Твои глаза, как два обмана-а-а,  
Покрытых мглою неудач.

И смотрит на Валу.

— Раньше в деревне схорониться было проще пареной репы. Подводы как проверяли: жидов нема? В паспорте русский? С лица русский? Кати в свою «Парижскую комму»<sup>1</sup>, матки-яйки. А когда международное положение-то усложнилось — подразумевалась отправка в Германию, — на молодых девчат и пошла охота. Но все равно можно. То, что она с немцем любовь крутит, — как бы это неуценным фактором не оказалось. Я их вижу тут иногда. Ушастый... А я на опере была, все тебя смотрела. На наш приход двадцать билетиков пришло. Мне в первую очередь полагалось, батюшка знает, что я *спиваю*. У нас культурный батюшка, книги читает, музыку слушает серьезную. В войну сан принял, а раньше был учителем. Ну что, полегче? (Она выговаривала «полехше».) Дура — тиф... Ни фига, мы тебя в обиду не дадим.

## XXI

Все эти люди, что они, как прикажете их оценивать? Отметки выставляет учитель, мы констатируем: сделано то-то. Из таких-то побуждений — если не очевидно, из каких.

Паня идет утром на работу. (Или как это называется — то, чем занималась крыловская обезьяна?) При виде чего-

то там она подумала о чем-то таком, а не видя ничего — мечтает. Какая Паня, помимо того, что «распрекраснейшая наша панна», — хорошая, плохая, умная, дура?

А Ансельм? Бойкий недотепа, головоух из закордонья, где у людей сердце справа, хоть и бьется точно так же. Отсюда многие недоразумения. Там говорят, что тут инфантильны, тут — что там. «Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне тесаки и каски...» Подростки в касках настолько доверчивы, что их, по нашему мнению, только ленивый не обманывает. Наверное, поэтому, случись им обнаружить обман, они ужасно сердятся, никаких объяснений не принимают и расстреливают на месте.

В русско-немецкой голове Ансельма мы и подавно ничего не поймем. В ней два мозга, две гортани, два языка — разве в жизни такое возможно?

Все — немножко кукольный театр в прозе. Сказать почему? Извольте. Автор не отражается в этих зеркалах, а те, в которых бы отражался, — перебиты. Не во что ему больше смотреться, не в ком больше себя узнавать. Что называется, автор умер.

Да здравствует автор! И шепотом: крохотный осколок где-нибудь да спрятан.

В этот день Паня пришла на их обычное место встречи с известием, разбившим обоим сердце: она уезжает в деревню, в колхоз «Парижская коммуна». Так мама сказала. Иначе ее ушлют на работу в Германию.

— Но почему в колхоз? Уж лучше в Германию, чем в колхоз.

Паня покачала головой — с самым несчастным видом, на какой только было способно ее отчаяние.

— Нет, там хуже.

— Что за ребячество — в Германии хуже, чем в колхозе! Хуже может быть только в окопе. Или в Сибири. Я дам тебе мой берлинский адрес, Антиох-Епифанштрассе...

— Ты как маленький. Сейчас русским в Германию нельзя, нехорошее время, я должна его переждать в деревне. Так маме верные люди сказали. Ансельм, мой любимый, мы, может, в последний раз видимся.

Ей мало было страдать, это страдание надо было до него донести — как написанное композитором надо еще донести до слушателя. Что она и сделала, воспользовавшись всеми отпущенными ей Господом Богом средствами. В ответ, как ей показалось, *картины* равноценного страдания не получилось. Недостаточно изучать историю театра, чтобы умело запечатлеть свое страдание в нужный момент. В итоге Ансельм оправдывался. Но пытающийся выпутаться только более запутывается. Каждым словом, каждым жестом он лишь усугублял свою вину. И надо же было ляпнуть, что Парижская коммуна лучше, чем обычная коммуна. Хотел завить горе веревочкой — в доме повешенного.

— Не хочу тебя больше видеть... Оставь меня... Уйди, умоляю...

— Но, Панечка, душенька, что я такого сказал?

— Вот именно, ты даже не понимаешь что... Не понимаешь, что меня, может быть, в Германию погонят рабыней, скованную, в цепях...

— Сердце мое, это ты не понимаешь, что говоришь. В каких цепях?

— А как ты себе это представляешь? Что я поеду в мягком вагоне и поселюсь у твоих родителей на этой самой... Елифанштрассе? Немцев с русскими девушками и не расписывают-то.

— Кто? Чиновник в бюргерамте? Ты со мной повенчана Богом. Панечка моей души, жена моя. Я тебе это докажу...

— Докажешь... с ветром я повенчана... — Она уже была зареванная, как зацелованная. — Ты вернешься на свою штрассе...

— Если буду жив.

Она метнулась к нему:

— Не смей, Ансельм, слышишь! Даже говорить такое не смей! О, почему я такая несчастная... — Яростно, словно требуя к ответу оккупанта, она стала трясти его за обтянутый темно-серым фланелетом воротник шинели — на самом деле как бы уже и переставшей быть заповеданной, оккупантской, с победоносного плеча (но только как бы...). — Если с тобой что-нибудь случится, я

не проживу и часу. Помни об этом. Береги себя ради меня, слышишь?

— Я докажу тебе... — Что он собирался ей доказывать, ясно: беззаветную любовь, беззаветную преданность — то же, что доказывают и фатерланду, кидаясь на амбразуру вражеского дота. А вот какова здесь будет формула доказательства? — Я должен обратно в театр, в шесть тридцать квартет репетирует финал Девятой.

Придуманно на ходу, ложь во спасение любви. Пока покорная своей доле Паня честно брела домой, наш Ромео избрал странный маршрут: какое-то время петлял близлежащими закоулками, в итоге этот умозрительный пунктир заячьих следов вел обратно к церкви. Вечернее богослужение, венчаемое баландою из пареной репы (в чьем-то случае уместнее сказать «заедаемое ею»), близилось к концу — опять же, в чьем-то случае наоборот: никак не могло закончиться. С пищею не от мира сего, по сравнению с мискою баланды, вечно так: вроде бы и конец, а нет, на дне еще что-то плавает, и еще... и еще тропарь, и еще...

Когда окончательно пал невидимый занавес, отделявший священную сцену от полупустого зала, сами же зрители и стали раскланиваться — и креститься. Ансельм не ушел вместе с другими прихожанами, а приблизился к алтарю. Дождался батюшки, открыл было рот. Но право заговаривать первым батюшка оставлял за собою (в точности как вошедший в класс учитель). Причем говорил он, словно водил кистью шириной с бороду — таким густым тоном. А главное, не обинуясь, прямо по-русски, поверх барьеров вражьей униформы. Последнему объяснение одно. Ансельм уже прежде видал этого батюшку — то же и батюшка; это по здравой логике рассуждая, чем порой пренебрегаешь: не видишь себя, кажется, что и другие тебя не замечают. Но Ансельм неинтравертен, его взгляд на вещи прост, здрав и не отягощен рефлексией, отсутствие которой, столь смущающее нас в иностранцах, возмещается часто недюжинной наблюдательностью, качеством, которое мы в них недооцениваем и которого они подчас напрасно ждут от нас. Да уж тысячу раз этот поп видал нашу парочку! Не слышал слов? И взгляда довольно, чтобы

понять: их речь — не примитивная сигнализация, художественно связывающая два лингвистически разобщенных мира. А что Паня с надлежащей живостью изъясняется лишь по-русски — это хорошо известно ее бывшему учителю. Да-с, именно-с... На сей счет сомнений не возникало. Оказавшись с отцом Лаврентием лицом к лицу, лицо это Ансельм как раз-то и разглядел. Ни бешеная гордыня бороды, ни смиренный пук волос на затылке ввести в заблуждение не могли. Учитель, тот самый, которого он на снимке принял за Паниного отца. Из обедневших дворян, в прошлом барин. В нештопанных носках.

— Могу ли я вам быть полезен, сын мой? — И далее, после искусственной заминки: — Нуждаетесь ли вы в духовном наставлении?

— Я евангелического исповедания, ваше преподобие, как и семья моей матери. Отец, формально по крайней мере, православный, но тоже из немцев. Я родился в Берлине, и вот видите... — Ансельм пригладил себе уши.

Батюшка участливо кивнул и мягко пророкотал: «Секвенц, майн зон», — видно, что ему давно был любопытен этот чудной солдатик из вражьего стана.

— Я хотел поговорить, преподобный отец... простите, если неверно к вам обращаюсь, у нас в «Театральной школе русского юношества» ставились и Островский, и «Смерть Подколесина», но в русской драматургии, кажется, не принято выводить на сцене духовенство, а у меня другого опыта нет.

— Пусть это вас не беспокоит, главное не путать «конфессию» с «концессией», это грубая ошибка.

— Я хотел поговорить об одной вашей ученице, Степаниде Лиходеевой...

— От вас не скроешься, — улыбнулся батюшка, но только бородою, глаза выразили другие чувства. — А я грешным делом подумал, что распрекраснейшая наша панна меня и вправду не узнает... в облачении. Выходит, прикидывалась?

— Я только сейчас догадался, ваше преподобие. Паня показала мне вашу фотографию — где вы с ней на выпускном бале. Я много с гримом работал, проходил практику в одном театре, в Риме. Моя специальность —



комедия дель арте. И я столько накладных усов и бород перевидал, и столько переодеваний...— Ансельм смешался и покраснел.

— Ну, коли так... А то негоже было бы придуливаться, а про себя думать, что это стыдно — сан принять.

— Нет, что вы, Паня не знает, я ей скажу, она очень обрадуется... Мы любим друг друга, и между нами та близость, которая меня, как честного человека, обязывает на ней жениться. Много столетий назад в Вероне тоже проливалась кровь. Ваше преподобие, вы согласны стать нашим падре Лоренцо?

Совпадение имен, конечно, сильная вещь, но сразу счесть его за указующий перст Господень можно лишь в одном случае: если сам этого желаешь. Вопрос, однако, был поставлен с протестантской прямоотой и требовал такого же прямого ответа. И тут со всей ясностью священник осознал, что перед ним иноземец, немец. Не потому лишь, что обмундирован по-ихнему, носит ихнюю форму, — но так же и по сути. (Как, впрочем, осознал и другое: мнимость своего духовного превосходства. Православие всегда втайне трепетало перед суровой правдой протестантизма, предпочитая сражаться с кривдою латинян: эти красивые наглецы, избрав своим девизом *pulchritudine mundus servabitur*, сгубили немало нордических душ.)

— Вы говорите так, будто вот сцена, вот театр. — Священник обвел рукою то место, где недавно еще, как жар горя, служил вечерню. — Только вам аплодировать не станут — осенят крестным знаменьем себя... если отважатся. — Он сердито покачал головой. — Это ваша гримерная. А не всякая рана кровоточит кармином.

— Я — солдат на войне, я видал кровь. Меня уберегла судьба, смею думать, ради того, в чем вы, преподобный отец, мне сейчас отказываете... — И, ожидая, что священник его оборвет, проговорил быстро: — Если нашему венчанию по православному обряду есть чисто формальное препятствие, о котором вашему преподобию мне неугодно сказать, то я готов креститься в православие. Протестантизм не способствовал развитию во мне набожности,

возможно, таинственность православной церкви к этому больше располагает.

Дыхание твое ослабело, отец Лаврентий... Сатана ли соблазняет, Господь ли испытывает — хрен редьки не слаще. Совершить чин крещения над солдатом фюрера, дабы обвенчать его по православному обряду? Разом два преступления, из которых каждое по меркам гестапо заслуживает виселицы. Нет, сильный Израилев, нет, Боже святой, Ты видишь, не живота своего ради убоился священник. Случись с ним что, и приход погиб. Закроют столовую, его детище, закроют пункт раздачи лекарств, налаженный с таким трудом. Все, все прахом пойдет, и что будет тогда со всеми этими полоумными стариками — голодными, бездомными? Сколько народу тут кормится! Спасается в лихую годину! Что станет с ними, такими больными, хромыми... с моими зверями лесными? А тот живой мертвец, которого он схоронил заживо от идущей по пятам смерти? Схоронил до радостного утра...

Отец Лаврентий в душе был поэт. Живи он хоть в \*\*\*надцатом веке, фармакологией он бы вряд ли увлекался. Зелий бы не смешивал и пробуждению Джульетты (еще в этом мире) никак не споспешествовал бы. Вместо этого он бы сам в нее влюбился, чему свидетельством был бы корявый сонет. Отсюда и странная для мужчины в наши дни профессия: учитель литературы. Мнение, что он из бывших, затаившихся, из-под полы продающих на советской барахолке фамильное серебро в виде культуры серебряного века, не имело под собою никакого основания. В действительности мальчиком-канонархом он рос в Верхней Лавре, которую о те поры ненавидел всем своим цыплячьим сердцем. Тошно было и скучно распевать «Седе Адам прямо в Рае...», имея за пазухой «Сборник новейших романсов “Брильянтовые глазки”». Это потом уже, когда, выражаясь языком тех же романсов, «исчезли чудные мгновенья, угасли яркие мечты», когда все восторженные попытки найти себя обернулись нулем — вокруг своей осины — и начавшееся в мужской обители Киево-Печерской лавры, замкнулось на себя в женской обители, каковою являлась учительская, вот тогда-то одно из двух полукружий в его нетребовательной памяти затеплилось

нездешним сладостным светом. Сладостным до обморока. Трепещущих огоньков — без числа, яко душ. Во храме митрополит, архимандриты, игумены, иеромонахи, вся начальствующая братия. Троекратное лобзание иноков со словами «Прости меня, отче» в канун Великого поста, сотни клобуков, склоненных до пола. Все это складывалось, как старинный паззл, в картину невозвратного, навсегда отнятого счастья.

С вступлением в Киев 19 сентября 1941 года моторизованных частей вермахта счастье стало вновь возможным. Хронист пишет: «Стихийно стали открываться храмы, монастыри. Почти ежедневно производились рукоположения в священники и диаконы». Среди призванных ко служению был и отец Лаврентий.

Как вертоград, девственно белеющий в тридцатиградусный мороз на стекле, лишен благодати, дарованной всему живому: воссоздавать себя, так вертоградарь, возделывающий свой сад в зиму Господню одна тысяча девятьсот сорок вторую, обречен практике «малых дел». Но складированием оных, осторожным и умелым, может быть достигнут животворный эффект вопреки всем законам природы. Отец Лаврентий, в тайниках своего небезгрешного сердца сравнивающий это с евхаристией, объясняет все пастырским смирением: кто намеренно ограничивает себя богослужебными рамками, кто готов умалиться, казаться проще, чем он есть, тот расширяет поле своей пастырской деятельности в счет сбереженного духовного ресурса. И глядишь, становятся возможными столовая, медпункт, иная благотворительность. Жива любовь во Христе. Это вроде как ты ее в дверь, а она в окно.

Ничего подобного отец Лаврентий прежде не знал. С принятием сана жизнь свелась к одному всепоглощающему деянию, в котором нет места томлению духа, — и еще многому другому, с чем средств бороться, может быть, и превеликое множество, да только все они опасней самого недуга. А враг проницателен, как старый друг. С ним тепло и радостно. Он нечаянно нагрянет. Когда его совсем не ждешь, он подстержет тебя в облиии такого неодолимого соблазна, каким для христианина может быть только

любовь. Любовь! (Да посмотри ты лучше, какие у него уши — это ль не метка?) Разбойное лукавство состоит в том, что, скомандовав «кошелек или жизнь», тебе не оставляют якобы выбора, тогда как все наоборот. Будучи весь в делах, ты не ведал сомнений. А теперь не увильнешь. Ну-ка, решай: любовь ушастика — это Антихристово или Христово? Решай, не отходя от кассы. «Распрекраснейшая наша панна...» — он всегда так ее называл. А про себя думал: «Красота твоя — не награда и не тенёта, она — твой великий крест. Это другим она в дар: уже тем, что дает познать небесную любовь». Скольких сам он любил такой же идеальной любовью! И готов поклясться вечной жизнью: чистое это было, лучезарное, сравнимое с любовью к Господу. Не всякая красота излучает свет: чуть нога полновата, стан тяжелей, волос темен — да просто глянет, как Панина мать, и ты во власти темных начал. А Паня — эфирная субстанция, грех дать ей почернеть... По словам ушастика, грех уже совершился. Правда, он хочет загладить его, но, если это откроется, расплатою будет мученичество. Он, положим, готов, а она? И не знает, поди, бедняжка, на что идет. «И гибель всех моих полков...» Вновь вспомнилось вверенное ему стадо: согбенные, хворые, прибившиеся к стенам церковки в Телятинском. За них он более не в ответе, что ли? Или ради одной заблудшей... А не за себя ли ты, отче, грешным делом, боишься? Говоришь, нет? А крест святой облобызав — тоже нет?.. Нет, за себя — нет, — твердо, решительно, малюя каждое слово кистью бороды. На это второй, с жиденькой бородашкой, дразнящийся своим козлогласием: а разве чада твои, малое стадо, мычащее в страхе, о котором ты так печалиться изволишь, разве это не ты сам? То-то. «Лютерово отродье! — вскричал в сердцах отец Лаврентий, отвращая свой лик от Ансельма. — Знать бы, чей ты? Божий или подучен Дьяволом?»

— Хорошо, сын мой, — сказал он как ни в чем не бывало, — пусть будет то, о чем вы просите. Ибо горе церкви, в которой попы по слову царей земных решают: этих спасать, а этих нет. А остальное приложится. Остальное предоставим Господу. Совершится сие, как при первых христианах, окруженное завесой тайны. Я кары не стра-

шусь, пострадать за Господа — умножить славу Его. Но мы в ответе не только за себя.

Ансельм кивнул, ему этого объяснять не надо. Паня боится попасть на работы в Германию и, возможно, будет неопределенное время скрываться. Но прежде чем это произойдет, он решил — не то голос у него дрогнул, не то он подыскивал выражение — ...навсегда связать свою судьбу с ее.

«Унесший Россию» изъясняется готовыми, словно спекшимися, фразами. Речь эмигранта, непривычно гладкая, не знает броуновского движения слов, она не мозаика, в которой чем мельче камешки, тем больше жизни.

— Термйн согласуем позже. Ночью совершим. У вас есть время еще раз все обдумать... хорошо, хорошо, я принимаю вашу решимость и ценю.

— Спасибо, святой отец.

— Спаси вас Бог, сыне... обоих... знаете что: если она меня не узнала, то и не надо, и хорошо. С бóльшим благоговением внимать будет. Не следует ей говорить.

Германия wpłyвает в Рождество раньше, чем Украина. Европа лидирует и здесь — запад во всем опережает, на западе даже стрелки часов впереди.

Со времен Бозио опера была частью рождественского антуража. На старой литографии — всегда с подлетающими к ней санями. В благодарность за наше счастливое детство трижды в день на зимних каникулах давался «Щелкунчик» — словом «зимние» заклеено другое слово. После «визволения» наклейку содрали, да толку? Прилагательное «рождественские» не к чему стало прилагать, без школ нет каникул.

Тем не менее опера не канула в Лету. Как распухший от слез носик, запудрена снежком, а так все продолжается. На пароль «Россия, лето, Лорелея» отзыв «Германия, Рождество, гусь» — кстати, спасибо, что сэкономили нам пулю. И, утирая рождественский пот, усаживаемся послушать такую же неотъемлемую, как гусь в эти дни, Девятую. Скоро она станет гимном новой Европы, европейский гимн должен звучать по-немецки. С авторством еще крупно повезло: Шиллер. А если бы слова написал... тот,

кому не положено? Тогда что же, и гуся, выходит, не есть?  
Все бы пели, кто —

*You millions, I embrace you,*

кто —

*Un baiser au mond entier!*

кто —

Братья, над шатром планет... —

а мы бы молчали и облизывались? Бог миловал. И потому охвачена велика опера великой немецкой мовой, из всех окон бьют ее языки.

Подготовка к исполнению Девятой идет с небывалым размахом. Аравидзе уже десять раз готова была сделать своим супостатам типель-тапель, Гайдабуре снилось, что он во главе несметного краснознаменного хора поет: «Ширррока стрррана моя ррр...»

Но Ансельм неукротим.

Его дядя, наоборот, укротитель — в отчаянии своего дирижерского бессилия щелкает он бичом на бесконечных репетициях: снова и снова... Все тщетно. Написанное в расчете на упругую дирижерскую палочку (а не что-то там болтающееся), бетховенское скерцо двоилось, троилось. Не говоря уж о полной невозможности завершить его в первоначально взятом темпе. Что скажет Ансельми, что скажут другие? Офицерский корпус вермахта хоть и слеп на оба глаза, но слух-то у них собачий.

Вот так Германия вплывает в Рождество и тянет за собой брыкающийся Киев. Даже Паню это коснулось — краешком крылышка: ангел с арфой в руках иллюстрировал статейку, которую Скоробогатов дал ей перепечатать. Называлась статейка «Музыка в Рождество». Скоробогатов обнаружил ее в одном из старых рождественских номеров «Нового слова» и между строк вычитал «нечто». Почему, спрашивается, не прокатиться в чужих санях? С ветерком...

«Звездное небо всегда звучало, Пифагор слушал музыку сфер. С появлением звезды, которую видели вифле-

емские пастухи, в мир пришла идея спасения, а с нею и принципиально иная музыкальная речь. В ее основе система внутритональных тяготений с обязательным разрешением диссонанса в консонанс. Музыкальная формула христианства: гармоническая последовательность «тоника — субдоминанта — доминанта — тоника», которая может быть сочтена звуковым эквивалентом разрешения от бремени греха, спасения души. Так своей универсальностью, своей культурной всезначимостью европейская музыка свидетельствует универсальную истину христианского вероучения. Музыка — язык Бога.

В ночь на 25 декабря христианский мир Запада в 1941-й раз встречает Рождество (Скоробогатовым исправлено: «в 1943-й»). Улицы городов украшены гирляндами лампочек, уличные музыканты, краснощекие, притопывающие на морозце, разносят окрест мелодии, прекрасней которых нет в целом свете. «Stille Nacht, Heilige Nacht» звучит у Гольштинских ворот, «O Santissima, o Bellissima» вторят ей на Палатинском холме, а в Тюильрийском саду в это же самое время из кукольного театра несетя: «Noël, Noël...» Но самой знаменитой западноевропейской колядкой является «O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind Deine Blätter...». Кто не знает ее, елочку, родившуюся в немецком лесу! Бывает, что музыка, приуроченная к Рождеству — заказанная, скажем, королем придворному композитору, — позднее обнаруживается в фольклорном букете, составленном из популярнейших анонимных мелодий. Такова «Дочь Сиона» Георга Фридриха Генделя, которая давно входит в декабрьский репертуар шарманщиков и всевозможных уличных музыкантов.

Каков же эмоциональный строй рождественской музыки? Есть ли что-то, что в равной мере присуще и «Oratoire de Noël» Камилла Сен-Санса и «Старобогемской рождественской оратории»? Есть ли что-то общее у баховской «Weihnachtsoratorium» с «Мессией» Генделя? Бесспорно! Это в первую очередь соблазн пантеизма, обожествление природы и ее явлений, иллюзия, что истина может воцариться в мире без того, чтобы быть распятой на кресте. Гармония мира, гармония сфер празднуют свой час. Не природа преображается в человеке в согласии с

учением Христа о личном бессмертии, личном спасении — до Пасхи, до торжества над смертью еще далеко. Нет, гармония рождественских звуков выражает скорее обратное: человек без остатка растворился в своем восторге перед красотой мира, святостью ночи, в которую был рожден Божественный младенец. И через этот восторг одухотворена доселе бездушная материя. Косная, слепая, враждебная человеку природа как бы прозревает: животные, растения, небо, звезды — вслед за человеком все исполняется космического счастья. Западноевропейская музыка свидетельствует это — не потому ль и почиет на ней благодать Господня?»

— Виталий Арсеньевич! А как с подписью — печатать?

— Не надо, все равно псевдоним! — до трещавших четырьмя десятками пальцев машинисток было недокричаться.

— Что?

— Не надо, говорю!!.. «“Новое слово”, Берлин» — все!!.

## XXII

— Наконец! Я сколько дней простаиваю. Как трактор в колхозном поле. Решила, что ты уже не придешь, на что тебе трактор?

— Трактор?.. — Он сперва не понял, потом взорвался: — Как я ненавижу все эти колхозы... все эти «Парижские коммуны»... — Он прямо захлебывался от ярости — будто пробовался на роль кулака. — Панечка, душенька, не мог, поверь. К симфонии прибавился «Лоэнгрин». Дядя совершенно невменяем.

— Да, я слышала от мамы...

— Зато я договорился. Священник согласен нас обвенчать. Двадцать пятого ночью. Еще десять дней. Только на десять дней ты должна задержаться в Киеве. И мы — муж и жена.

— А я вообще никуда не уезжаю.

— Как!



— Опасность миновала. У мамы связи в самых неожиданных местах. Я каждый день жду тебя, чтоб это сказать... Не надо, молчи. — Она приложила палец к его губам. — Все знаю. Работы невпроворот. Я маму тоже не вижу, просыпаюсь — ее нет, засыпаю — ее нет. Сирота соломенная.

Ансельм в любовном столбняке не сводит глаз с Пани.

— А мы переезжаем в новое помещение. Это историческая победа. Симптом того, что в войне за Россию русские патриоты побеждают. Редакция будет на Банковской. Уже с февраля. Февраль — сокращенно Февр... я только сейчас поняла. «Прапорщикам» утерли нос со страшной силой. Жаль, нельзя будет сверху на прохожих смотреть. Опять же... с высоты своего величия рискуешь броситься головой вниз, а тут первый этаж. Ничего, заживем наконец без ведер. Что ни происходит, все к лучшему. Я уже начала в этом сомневаться, а теперь снова так считаю... Ансельм, любимый мой, видишь, я никуда не должна больше уезжать. Что ты так смотришь?

— Мы теперь станем мужем и женой.

— Не больше, чем мы были ими до сих пор.

— Конечно, соединены мы были еще до того, как рождение нас разлучило. Для меня церковный брак тоже не главное. Это больше для людей, чем для Бога.

— Именно что не для людей. Священник не расписывает и печати в паспорт не ставит. На честное слово.

(А он все умилялся. Ох уж эта Цирцея любви — ох уж эти кривые небеса русского языка! Вы одни поддержка и опора человеческой дурости: только отражаясь в вас, она способна растрогать и умилисть.)

— Это пережитки социализма, товарищ комсомолка.

— Пережитков социализма не бывает. И «товарищ комсомолка» — так тоже не говорят. Тебя бы сразу разоблачили. Но это не страшно, я бы тебя спрятала. Укрыла бы и никому не отдала. Я бы тебя спасла...

«Люди делятся на тех, кто нуждается в защите, и тех, кто призван ее оказывать. Все несчастье в неумении правильно распределять роли». (Иван Борисович — Светлана, которая заперлась от него в туалете.)

— Панечка, душенька моя, ты сегодня как солнце, на тебя нельзя смотреть без слез.

— Как «Солнце восходит на западе»? Ансельм, да что с тобой? У тебя глаза на мокром месте...

Паня ни в какой колхоз не уезжала — не было на свете такого колхоза, где бы она могла укрыться. Иван Борисович (Лозинин, а не Светланин) получил наконец роль, на которую претендовал. Валя изъявила готовность отдаться со всем своим семейством под его покровительство.

Она боком протискивалась меж кресел зрительного зала, их колени встретились.

— Завтра, на Мокром месте, в таком-то часу... — На ней не было лица — под такой вуалью носят траур по десяти тысячам братьев.

Внешне Лозинин сохранил полную невозмутимость. Но где-то в глубине сердца — в груди, в животе, словом, «далеко от Москвы», в какой-то крошечной черной точке, которую не отыскать на карте ни одному хирургу, завывали сирены счастья: гребь... да гребь же... Это потом, в кабинете, стоя посреди красного коврового квадрата, он запрокинул голову — зажмурился — стиснул зубы: здравствуй, рай.

Он знал, что не сможет уснуть. Поэтому сперва тянул с возвращением домой: вечером, после спектакля, обошел всех артистов и для каждого нашел доброе слово, точно на прощание.

— А ведь, Джорджия Ивановна, сознайтесь, приятней было бы отдубасить меня, чем Глушка?

— Я б атдубасыл здэс кой-кого другого, так чтоб пух-пэрья из нэго палетэл.

С полициями и с теми пошутил, прежде чем ступить в ночь.

— Слышал, бандитов в Киеве поубавилось: они вместо водки «ерш» употребляют, глядишь, все передохнут.

Потом тянул дома с ужином. Дарья Свиридовна готовила в кипящем масле налистнички с грибами — все остыло. Сладким Иван Борисович сегодня и вовсе побрезговал.

— Не огорчайтесь, Дарья Свиридовна, — сказал он, — сегодняшний день — разгрузочный.

Вместо этого он погрузился в раздумье в ванну, где заторможенно — или, наоборот, расторможенно, покуда ванна вконец не остыла — разглядывал ногти на ногах.

Чтоб согреться, бокал теплого вина. С каждым глотком переворачивалась страница альбома — фотограф в угоду Ивану Борисовичу запечатлел живые картины с участием одних только харит, без леля. Очередная картинка ласкала глаз, очередная крупная красная капля нежила рот — прежде заполняя глубокий ров между губой и десной, а потом и ублажая неповоротливую тушу языка за крепостными зубцами.

От этого пробудился аппетит, клевавшая носом Дарья Свиридовна кинулась разогревать налистнички. Правда, десертом Лозинин, к ее разочарованию, снова пренебрег.

С обеих сторон нагрев подушку, так что оставалось ее только по-цветаевски скомкать и выбросить, Иван Борисович, как в бреду, забредал мыслью в такие дебри... бредни, откуда, казалось, возврата нет — разве что пробудившемуся в брызгах утреннего солнца. Но как мальчик-с-пальчик, он всякий раз находил дорогу назад, сна не имея ни в одном глазу. И не потому, что в зарослях мелькали белые ноги завтрашних натурщиц. Он не Гурьян. Это Гурьян мог есть булку с кунстхонигом, запивая ее черешневым киселем («меня бы вырвало»). Тогда еще здесь был капитан Монстр... *енерал Монстир*... от кого он слышал: «енерал Монстир»? Вспомнил, лучше б не вспоминал. Красный пивник застегивает брюки, чехардой скачут Валечкины руки. В четыре руки. Крючки сзади. Помогут друг другу? Как это будет? Они, что ли, обе явятся к Третьей городской больнице? Или дочка будет ждать дома? Прошла ли она инструктаж у мамыши? Конечно, не без этого. Благопристойное: «Познакомьтесь». — «А мы уже знакомы...» — неловкая пауза вмиг наполняется соком вожделения. Знать бы... Ах нет, наперед ничего не хочется знать, завтрашнего дня все равно не избежать. Если б с такой же неизбежностью наступал сон, прибежище нетерпеливых... Но нетерпение как раз его гонит, и это заколдованный круг. Надо тихо ждать утра, помня, что блаженство — не что иное, как отсутствие страданий. Сравни себя с Гурьяном — и блаженствуй. Сравни себя с Майн-

цером — каково ему сейчас на больничной койке под капельницей где-то в Померании? Вот и блаженствуй. Ты-то убьешь себя сам — а значит, нескоро... Да, как быть со смокингом? Вечером «Пламя Рима», балет по мотивам «Тоски», домнер консул небось запасся цветами. Балетоголик. Иван Борисович повелел Локону Страсти отменить все термйны на утро... и многие клюнули на этот локон? А ведь его удит, сердешная... Итак, в двенадцать у Третьей городской. А конспирации-то! Будто за ними по пятам жандармы гонятся. Ладно, первый раз в первый класс, на голове три банта, портфель с ширму, мама подталкивает, дочка стесняется. Тогда мама показывает, как она сама пошла в первый класс. Спрашивается, сколько времени в этом случае иметь про запас? Трудно предвидеть все изгибы, и все складки, и все повороты. Ситуация неординарная. Возможно, и вовсе не удастся заехать домой, из этого надо исходить. С утра пораньше в лакированных щиблетах, бабочку меж крахмальных рожек приколот, ни дать ни взять, банкир, заколотый апашем. Неужто Гурьян впрямь был девственником? Гений... так и не причастился святых даров. Он, Лозинин, чего-то не понимает. Парень уже в армии отслужил, в плену побывал — и с бутонем в руке. Если только не анатомия подкачала, то что же это? Порок анатомический делает невозможным порок нравственный... нет, не склеивается. Порок единосущен пороку, как дочь матери. А если не един во всех своих лицах, значит, не порок вовсе. Свинство — да. Большое свинство. Как то, что готовится завтра. Но Цирцея любви преображает всякое свинство, какое бы ни развела на своем острове. Кому-то понадобилось пианино, чтобы починить дверцу свинарника... Она же пианистка — Цирцея, хоть и разминулась с Гурьяном... Розовоцерстая Перстея... Персями легкими как сон...

Розовоцерстая забарабанила по стеклу: вставай! Он повернул часы к себе лицом... нет, повернулся лицом к ним... спросонок он ничего не понимал. Что-о?! Без пяти три?! Нет, четверть двенадцатого... отдышался, все равно времени в обрез. Помывшемуся накануне можно ванну не брать. Только сполоснуть анус да почистить зубы. А бриться-я-я?... (Иисус — мальчику: вынь гвоздик... и из

другой ладошки... а ноги-и-и?... Иллюстрацией Валечкиному «Запрети-ка закон притяжения, что, падать перестанут?»)

Бриться надо, не оглядываясь на часовую стрелку. Бриться надо ровно столько, чтобы под рукою, когда ею проведешь во всех направлениях, возникло ощущение великого шелкового пути... сегодня как никогда. Для этого быстроходный язык изнутри бороздит эпителий щек, представляясь снаружи блуждающей шишкой, манящей лезвие. Но не дай Бог, порезаться... сегодня как никогда. Одеколоном побрызгал на щеки и в трусах, потискав обтянутое китайским шелком резиновое яйцо. И облачился в смокинг.

С утра облачиться в смокинг — в этом даже что-то было: завтрак с шампанским. Подобно Михаилу Афанасьевичу, Иван Борисович не понимал, что все равно выйдет «хран шампань» — в этом Хороде.

В действительности, стоя на одной ноге, то есть в позе праведника, говорящего неверному: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе», он проглотил чашечку кофе (сливок с цикорием). На голову — папаху из овчины нерожденного агнца, на плечи — шубу из шкуры неубитого медведя, проскользнул лакированными туфлями в черные с ампутированными голенищами валенки и дверью пальнул себе в спину.

Нет, успевает. Загодя нанятое дворничихой «ландо» уже с одиннадцати стояло в воротах. Это был большой рессорный экипаж с верхом, на добротных резиновых шинах, пригодных в любое время года. В Киеве таких раз-два и обчелся, а на полозьях нынче далеко не уедешь. Немцы с их центральноевропейскими представлениями о безопасности уличного движения и сугубо армейскими требованиями порядка, помня к тому же ужасы прошлогодней зимы, когда все буксовало, немилосердно заставляли жителей скоблить тротуары, как какие-нибудь котлы из-под ледяного жаркого. Сиденья, на одно из которых опустился Лозинин, были автобусные, но абсолютно новенькие, никем не сиженные, наверное, прямо со склада. Под передним «стенка разин» — что-то вроде одеяла: ноги кутать.

— Куда, ваше благородие?

— На Мокрое.

Маниакально покачиваясь, он глядел перед собой. Короткий клюв его взгляда огибали два бегущих вспять мутных потока домов. Боковым зрением он не различал ничего. Ни добра, ни зла, ни греха, ни добродетели — ничего. Только впереди посверкивало чувство чести, хоть и «польско-сабельное», но не связанное с понятием родины (впрочем, когда однажды большой ценитель русской культуры оберст Майнцер спросил у него, что для русского означает родина, он, не задумываясь, ответил: то же, что и смерть). Этому сверканию было подчинено все. Гнуснейший шантаж тоже был делом чести: оскорбленная, она рифмовалась с «местью». Как и за его мятущимся сладострастием, за этим стояла гордыня. Смертный грех последней в виде мельчайших осколков спокон веков сыпался на нас, а это не осенний мелкий дождичек. Истолченный аптекарем в роговых очках, издревле оседал он в наших легких. Зато наши лица дышали гордостью, и самое прозвание наше, человек, звучало гордо. Даже скромность, наша «лозининская скромность», птица того же, в сущности, полета. И честь, и скромность, и отвага — все это логарифмы гордости. Различие в одном: отвага ни в коем разе не обернется трусостью; скромность обнаглеет в защиту кого угодно, только не самой себя; бесчестных же поступков, совершенных по причине поруганной чести, извините, не счесть.

— Отпустите извозчика и идите за мной, — сказала Валечка, все тем же бездыханным голосом.

Одна. Она поджидала его у дверей больницы, наполовину скрытая, как под маскировочной сеткой, мельканьем платков, ватников — люди несли передачи, катили за собою на тележках больных. Тут же несколько искореженных красноармейцев, безруко-безногих, которых даже плен отрыгнул, молили всех без разбору об окурке.

— Идите сзади, не приближайтесь.

Глаз легко вбирал в себя ее фигурку, всю целиком — так, несмотря на близкое расстояние, уютно ложится в кадр французский «шато» (чего не скажешь о немецких замках). Валя двигалась уверенно, не мешкая на перекре-

ствах, то и дело она резко меняла направление, как бы заметая следы. Но это была безжизненная уверенность автомата. Ее даже не занимало, поспевает ли он за ней. Не оглянувшись ни разу — не потому ли, что была Эвридикой, спускавшейся в ад, хотя Лозинин и нарекал это раем: «На то и нежить, чтобы нежить».

Моцион затягивался: не киевлянину, ему трудно было понять, где они, она явно его вела не к себе. Интересно, что еще за притончик. И тут Лозинин сообразил: их хождение — топографическая «потемкинская деревня». Дорога к храму Афродиты могла быть короче: уж его-то он узнал сразу. Сюда хаживал Гайдабура, своими блиц-визитами к набожной старушке ставя в тупик Ивана Борисовича: *бабушка скупенька, сметаны маленько*. Так-так, избушка на курьих ножках, бордель в первобытном вкусе. Эх, Гурьянушка, где, в каких райских куцах твоя праведная душенька ныне обретается?

### XXIII

Полагаем, что сейчас самый раз ответить на этот вопрос. Для этого надо перенестись на полтора месяца назад и еще на одну клеточку в сторону, в смысле, в сторону Одессы. Если не «ход конем», то «финт ушами».

Октябрь на Черном море, полдневная одесская улица. Гурьян брел куда глаза глядят. Персонаж сказки «Бременские музыканты», про которого говорилось то же самое, имел перед собой какую-то цель — Гурьян этим похвастаться не мог. С указанным персонажем его сближало лишь твердое намерение к хозяину более не возвращаться. И да будет то, что будет.

Первое впечатление: город скорей разорителен своим миром, чем разорен войной, дороговизна во всех отношениях. Потому никогда не окупятся расходы души на краски, даже если душа эта изнывает по львам Атласских гор и палитре Жерико; выбеленные африканским зноем дома не так прихотливы: каса бланка («Танжер — город белый»).

Доносившаяся из репродукторов музыка, как крысолов, вдруг приманила Юона с его первомайскими шествиями, марокканские же львы были слишком далеко, чтоб Юона спугнуть. Но что тогда говорить о львином зеве в иллюминаторе трансатлантического «Метро-Голдвин-Майер»? От него Гурьяна отделяло даже не Черноморье Антонеску и Средиземноморье Муссолини, а девятый Атлантический вал, вознесенный фюрером немецкого народа до небес, на тысячу лет. Взаправду или понарошку? Ни Одесса, ни Киев тогда еще этого знать не могли: немцы есть немцы, их воля, их слово чего-то да стоят. Как почтительно говорил Остап Бендер, «великая сухопутная нация».

Но Гурьян после Киева с упрямством осла, вознамерившегося давать реситали на привокзальной площади Бремена, сказал себе: назад дороги нет. Он так долго экономил на мужестве, что теперь, в решающий момент, его скопилось изрядно. В продолжение какого-то времени он непроизвольно сминал в шарик бумажку с адресом гостиницы, а потом разжал пальцы: катись и ты, куда хочешь. Если бумажку эту уподобить путеводной нити, которой администратор по имени Костя озаботился его снабдить — догнав уже на улице, — то Гурьян тем самым ее символически перерезал.

Одесское градостроительство приземисто. Южанам в целом свойственна низкорослость, кому-то это даже позволяет испытывать моральный комфорт. Поэтому или по чему-то другому, но Гурьян себя чувствовал на одесской улице неплохо. Хирургическим путем избавленный от своего гангренозного вчера, он не должен был непрестанно повторять: блаженство — это отсутствие страданий (суждение, уразуметь справедливость которого умозрительно не дано никому); не должен был себя ни с кем сравнивать, ни с каким другим гурьяном, чтобы воскликнуть: блаженствуй, пока не отошел наркоз!

Не зная, что его отныне ждет, он не неся как угорелый в будущее, а чем Бог послал, тем и разговлялся после Великого поста. Здесь поклует, там поклует. В глубине черной арки синее небо, на фоне которого, черный же, как вырезанный в голубой жести, движется силуэт. По-



смотрела на Гурьяна и продолжает вешать белье. Белье в полосе яркого света. И через дорогу белье: на балконе одинокая пара розовых женских штанов «зажми нос», от ветра чудится, что по балкону разгуливает невидимка.

На допотопной водосточной трубе с квадратным, как у громкоговорителя, раструбом объявление, давно потекшее слезами: «Котят бесплатно». «Топить», — неумолимо сказал внутренний голос. Его внимание притягивало к себе все, чем были изукрашены стены, от оскорбительного ответа на предложение выбрать оружие: «А ты меня забодай», нацарапанного мелом еще при советской власти, до плакатов, где выбор оружия — уже дело решенное: винтовка. На голове либо румынская каска с реактивным задом, либо бескозырка. Если же, заметьте, бойцы выступают в парном катании, то пехотинец всегда с краю. Весь их вид говорит: «Прохожий, ты ведь не такой кретин, как мы, ты-то ведь всему этому цену знаешь».

Долго и с удовольствием, как разгромную рецензию, написанную идиотом, он перечитывал афишу фестиваля, к которому больше не имел отношения.

На десять (двадцать? тридцать?) чумаzych фасадов один попадался празднично-нарядный, как воздушный шарик, вроде этого ликующе-желтенького, под вывеской: «Братья Пынтя продают и покупают все» — а местный хулиган учинил братьям обиду, переправив «все» на «всех».

Еще встречались изображения — больше в витринах — доброй феи. Даже с маленькой короной — такой доброй. (Ну, такой доброй, что Ансельми с его мышами, за ночь шившими бальные платья алого бархата, впору было удаться с тоски. Как минимум бы избавил себя от аналогичной процедуры в будущем, только более унижительной.) Встречались также изображения сказочного принца с орденой лентой через плечо. И конечно же — первого министра, очень симпатичного, который будет руководить поисками удравшей Золушки, что прозрачно намекало Гурьяну на некую перспективу. Прозрачней любого хрустального башмачка.

А тут еще виденье роковое: под сенью пятиглавой Средтенской церкви знакомые зеленые спины — и сколько! наверное, тоже гастроль — держат в осаде лудильный ряд.

Кипит работа на Новобазарной, дело налаженное: сперва приобреталась пустая банка, потом, уже полная масла, она заклепывалась — и на родину малой скоростью, прямиком в рождественский соцреализм. (Счастливая семья, уместившаяся на поздравительной открытке: «Посмотрика, Фрицик, что Фати нам прислал из России!») Он повернулся и быстро пошел прочь, он не желал их видеть.

Что в Одессе выглядело совершенно по-заграничному, так это козырьки бывших киосков «Союзпечати» — благодаря газетным шапкам со всего мира, точнее, кокардам от них («Нью-Йорк таймс» здесь не продавался — только анонсировался). А все равно приятно: по крайней мере, идейно это не возбранялось. К тому же какие-то иллюстрированные журналы, по преимуществу румынские и немецкие, на прилавке лежали, не говоря о том, что выходило в самой Одессе. Заголовок жирным шрифтом: «Ужасное убийство в притоне разврата. Известный...» — Гурьян хотел перевернуть вдвое сложенную газету на другой бочок, но услышал:

— Молодой человек, если вы имеете честные намерения в отношении этой газеты — одно дело, но если вы думаете, что со следами ваших пальцев я продам ее потом дороже, то вы ошибаетесь.

Так и не узнал он, кто же был убит в притоне разврата. А вот золотистым беляшом соблазнился. Пришлось разменять у торговавшего ими малого румынский дензнак. В мгновение ока добрая фея обернулась полдюжиной засаленных премьер-министров и целой оравой безымянных поселянок, лапанных-перелапанных. Несколько почерневших грошиков не в счет — они уж точно с картины Николае Григореску «Без кормильца».

Уписав пирожок и без большого труда устояв перед искушением съесть еще один, Гурьян продолжил экскурсию по этому безоглядно любимому многими городу. Провинциальные души! По-провинциальному самоуверенные, по-провинциальному уязвимые... Что же, *рассмеяться в голос?* Ибо потрепанная тетрадь пошлых романсов трогает нас наподобие кладбища. Что за беда, если на могилах безвкусные памятники с надписями — из хранимого ими праха вспорхнут стаи душ, держа в клюве еще не остыв-

шую мечту, в ней радость или слезы здешней жизни. Пернатые крестики закружатся над пепелищем былых дней и утех: над дачами Аркадии, над Ланжероном, над Александровским парком и остатками турецкой стены. В предрасветной мгле просыпаются первыми две краски (лиха беда начало): красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Но солнце мертвых встает все выше. Уже под увеличительным стеклом его лучей пошли тленом декорации дворцов, тщетно прячущихся за кленами бульвара. Крайний из них, Воронцовский, дымясь, цедит сквозь портик: «Я стою по-над обрывом...» А в ответ снизу доносится жалобное: «Нашла притулище соби...» — и воздетая со дна морского Гигантская лестница в мелкую складку. («Двести низеньких барских ступеней, второй такой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть», — он делает мне смешно, этот муниципальный патриот, аж до слез.)

Гурьян двигался по Одессе на ощупь. Вслепую — не скажешь: все-таки нащупывал дорогу глазами. Если правда, что вся Одесса построена из ракушечника, то катакомбы, в которых он добывался, — ее негатив. Перед мысленным взором зачернела каверна в форме греческой колонны. Не случайно: Гурьян очутился возле свежоштукатуренного и побеленного двухэтажного здания — в академических кругах сказали бы, «простого греческого рисунка» (вот только «будильник» на крыше подкачал...). Оно вполне могло бы быть уездным capitoлием в каком-нибудь заокеанском Ричмонде. Или в Энске — исполкомом трудящихся (пока гром не грянул). Как и, впрочем, выставочным павильоном в местах народных гуляний, почему нет? Бисквитно-кремовый торт одесской Думы, перед которым Гурьян остановился, служил именно этим целям. Над седой колоннадой гордо реяло пришитое на завязочках к невидимым ушам: «Выставка достижений промышленности и сельского хозяйства Транснистрии». Как на молдавской свадьбе, стояли на улице столы, ломившиеся от экспонатов (а по радио, не переставая, шел концерт из произведений соловья-разбойника).

Один стенд привлек особенное внимание Гурьяна. Скажем сразу, к Художественной академии он не имел ни

малейшего отношения. Также и к Управлению аэрофлота — последнее под руководством известной летчицы Ирины Бурной специализировалось на полетах по линии Одесса — Дубоссары — и обратно. Нет, это был макет одесского порта, и впрямь мастерски выполненный, даже не без изыска, с моделями понтона, плавучего крана, маяка. В каждый без исключения объект была воткнута иголка с люциферовой циферкой, ясно, с какой целью — отнюдь не ради пояснений, которые для отвода глаз давались на отдельной табличке. Ведьма хитрила: непосвященному все равно не понять разницу между «брекватором» и волнорезом. А ну-ка что там, под цифрой тринадцать? Читаем: «Карантин». А под цифрой девять? «Эстакада». В головах Карантинного мола стояло грузовое судно под каким-то экзотическим флагом. Поменьше, значит, Андросовский мол, правей — Платоновский, рядом еще какой-то, безымянный — они для своих, отечественных суденышек. «Декретом маршала Антонеску, — читаем, — была отменена запретная зона, введенная при большевиках. Благодарное население чувствует это и понимает». Благодарное население — это деловитые крошечные человечки у рыбацких шаланд, парусных дубков. Виртуознейшим образом была воспроизведена потопленная противником при отступлении техника, которую наши водолазы успели за это время поднять на поверхность. В воспроизведенном виде ее количество, правда, уступало перечисленному: «нескольким пароходам, ста пяти автомашинам, двадцати одному трактору, трем буксирным судам, десяткам пушек, лафетов и другому военному снаряжению» — все это на макете было редуцировано в несколько раз. Зато его создатели не забыли о выброшенных в море запасах продовольствия. То, что не было окончательно испорчено морской водой, трудолюбивые человечки теперь грузили в вагоны и на подводы.

В поисках клочка бумаги Гурьян наклонился, делая вид, что завязывает ботинок. А сам незаметно оторвал полоску от афиши: приклеенные к составленным в ряд столам, они закрывали им ножки ниже колен, сразу много-много-много афиш, и с каждой, словно обознавшись спяну, к тебе лезло с блаженными объятьями: «Трансни-

стрия моя!» Многократно... заплетающимся языком... «Ты-ранс...» звезды врассыпную...

Гурьян аккуратно перерисовал макет.

— Где море? — задумчиво спросил он — должно быть, у ползущей по земле гусеницы, которую провожал глазами, безотчетно дожидаясь, когда она наконец сольется в одну линию с желобком для стока воды. Этого не произошло, к безотчетной опять-таки досаде.

— Он спрашивает, где море, — голос позади доносил кому-то на него. Гурьян обернулся. Должно быть, гражданин за его спиной беседовал с собственным зонтиком. В противном случае тоже непонятно, к кому он обращался. Поскольку ничто не предвещало дождя, зонтик в его руках выглядел подозрительно. — Какое море вам нужно, молодой человек? Черное? Белое? Желтое? А может быть, Красное? Знаете — каждый охотник желает... Морей много.

Так, поймав зеркальцем луч, пускают солнечного зайчика куда хотят. Гражданину только и надо было, что на миг завладеть вниманием Гурьяна, перехватить взгляд, а уж от него заработали сразу все фонтаны — и Большой, и Средний, и Малый. Такова неистребимая потребность одесситов: при любой погоде искупать вас в струях своего красноречия.

— Идите по бульвару, а там спуститесь по лесенке. По такой ма-аленькой лесенке. Но купаться не советую. А позвольте узнать, зачем вам море? Можете не отвечать, я вижу по глазам: вам нужен порт, вы хотите приобрести у итальянского моряка пару носков на резинках. Полагаю, в подарок своей покойной бабушке.

— Моя бабушка жива, — сказал Гурьян утрюмым, не терпящим возражений тоном — именно потому, что не был в этом убежден. О Ленинграде ходили слухи, верить которым было бы кошунством: жители там поедают друг друга...

— А откуда вы, извиняюсь, будете?

— Из Пушкина... — Во избежание недоразумения уточнил: — Из Ленинграда (дело в том, что прямо против часов бронзовел бюст, соразмерный со славою поэта; постаментом ему служил дельфинарий).

— О-о-о-о-о...

Так через два дня будет гудеть испанский сухогруз водоизмещением в сто двадцать тонн. Он прибыл из Ливорно и направлялся в Кадис.

— Молодой человек, послушайте старого одесского джентльмена. Оставьте ваших глупостей, потому что румыны этого не любят и могут начать по вам стрелять.

Он глядел на Гурьяна, прищулив один глаз, как будто сам целился в него.

— Но если вам таки да надо в порт, то скажите часовому фразу, которую в Одессе знает каждый ребенок — если на радость папе с мамой ходит в школу. «Траяску Романия Маре!» И не забудьте преподнести мамалыжнику изображение королевы Юлианы. На ближайшие четверть часа его расположение будет вам обеспечено.

Гурьян сделался как день ненастный. Он тихо пошел в указанном направлении, кляня свое обжорство.

— Послушайте, — окликнул его обладатель подозрительного зонтика. — Будете спускаться по ступенькам, остановитесь, оглянитесь. И вы увидите человека в тоге. Это каменный Дюк, протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю Плесси де Ришелье, помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город.

А все же любой одесский юморист в душе исповедует идеалы драмкружка.

Но Дюка («Местный всадник») Гурьян не заметил. Его взору предстал порт. Хоть и величиною с портик, он помещался не на стенде — на синем блюдечке, вспыхивая золотыми чайниками.

«О таллата!» — вскричали десять тысяч воинов.

Все повторяло макет, включая экзотический сухофрукт-сухогруз. Не то беда, что проткнут флажком был здесь лишь он один, а остальное представлялось немой картой — Гурьян вызубрил урок и в подсказке не нуждался. Беда, что ты обжора, проклятый обжора, вот что!.. Добрая фея румынского народа, способная на такие чудеса, — в сортире! Даже не в сортире — пусть, пусть тебя вырвет этим беляшом! Подумаешь, без еды живут долго, а пить можно бесплатно. В Дарнице не расстреливали —

чертили круг, кто в нем, тем просто есть не давали. Ничего, тянули до двух недель.

Но потом голод взял свое, и Гурьян подкрепился хлебом с простоквашей. Типично дачный натюрморт — на табуретке рядом с кроватью ставится на сон грядущий. Так на газоне он и заснул. Дорогою спал плохо, Казлатырский все кряхтел да крутился, да в придачу снилась ужасная мерзость — как всегда, впрочем.

Реализация желания посредством реализации плана — это одно. А реализация желания посредством реализации желания — это совсем-совсем другое. В первом случае необходим план действий, во втором — желание желать, но уж зато по максимуму, действительно с горчичное зерно. И, глядишь, на крыльях ночи можно перенестись из точки *А* в точку, которую *Я* тебе укажу.

Проще всего было бы забиться в мешок, бочку, ящик — во что-то, подлежащее погрузке. Но это, если играет несколько человек, которые заранее подготовились к игре, обо всем уговорились. Играющий с судьбой один на один, да еще экспромтом, должен идти ва-банк — призвав на помощь фортуна, горя нетерпением. Нет-нет, он тоже имеет шанс, да и выигрыш куда крупнее. Расчет каков? Шансы *в принципе* имеются, но они распылены по жизни. Их, эти счастливые фишки, по возможности надо сгрести все вместе, для чего осатанело сжигают за собою мосты — чтобы по этим камешкам перебраться на корабль, когда стемнеет. Капито?

Румынские мундиры были сплошь в прорехах естественных человеческих слабостей. А то и противоестественных. Их носители — мундиров — отнюдь не казались таким уж непреодолимым препятствием на пути у желания. Посмотри на офицера. Глаза подведены, губы накрашены, ношение корсета — очевидное — объясняется последствиями ужасного ранения: расшнуруй — и рассыплется. Зато его денщика, его солдата, ничто не скрашивает, никакая косметика, даже та дрянь, что продается на углу Дерибассовской и Соборной под вывеской «Галантерейная торговля». Этот бесстыжий шакал кормится чужими объедками, и чем жирней стол, тем больше ему перепадает.

Ни тому ни другому незачем брать пример с немцев. Жируйте, одесситы.

Когда Гурьян проснулся, его уже всюду окружал «Вид Одессы в лунную ночь» кисти Айвазовского. И тогда коллега и сродник последнего, он спустился к морю неказистой улочкой — а не по Гигантской лестнице (которую переименовать в «Потемкинскую» было глупо хотя бы потому, что она — реальность).

И у Айвазовского, и у Жерико лунный блик ближе к Рембрандту, чем к Дебюсси: он еще тепл, как беляш, и, как он же, золотист. Но море, широко раскинувшееся под боком, все равно черным-черно. «Как зеркало моей души» (по выражению одного безумца).

У каждого порта, у каждой портовой воды запах шлюхи. Но определенной. Свой — как и у каждого пакгауза. Щекотавший Гурьяну ноздри отдавал сувенирным сушеным крабом, мокрым бельем и сыроежками. Гурьян долго брел им — запашком, ветерком. Сперва вдоль, погранично, потом углубился в него — когда над головой стал пульсировать свет. Это на ночном ветерке покачивались фонарики — тусклые, редкие зубы дракона, которому суждено издохнуть, но не раньше, чем он перекусит тебе хребет.

Мол.

Он крался по молу, закапанному теплым лунным светом, как стеарином, посекундно прячась в тени неведомых предметов, что неодушевленными чудовищами обступают новичка в ночном просмоленном порту. Их наутро-то, озаренных резво-розовым светом занимающегося дня, и не опознаешь — как не вспомнишь по пробуждении и со-той доли чудовищ, порожденных офортом сна.

Испанец стоял дальше, в конце, ни малейших сомнений быть не могло. Гурьян напряженно прислушивался к голосам вдали, но то были голоса чаек, других не доносилось, а под ухом лишь сонно чавкала вода.

— Стай!

Поздно. Свет больше не пульсировал над головой, он бил прямо в лицо. Это же надо: красться, чтобы влететь туда, где у румын располагалось их «ка-пэ-пэ». Часовой медленно стянул с плеча винтовку; под плоским фонариком, висевшим на груди, не доставало пуговицы. При та-



кой подсветке — снизу вверх — он был вылитый Дракула, разве что вампиры по ночам бодрствуют, а этого Гурьян разбудил.

Смерив Гурьяна взглядом и громко зевнув во всю свою квадратную пасть, он сказал:

— Давай деньги, давай часы.

Гурьян протянул сдачу с королевы. Солдат, не считая, положил ее в карман, но при этом покачал головой:

— Часы.

Гурьян только развел руками — словно выворачивал карманы: запястья с печальным видом оголились. Солдат снова зевнул и легонько кольнул Гурьяна в живот, давая понять, что он добрый, не заколол, а мог бы. Так что проваливай, парень, и благодари судьбу, что на доброго напал.

Что оставалось Гурьяну, ну, для виду внять добродушному увещеванию штыка, а дальше? Прыгнуть в воду, вплавь обогнуть ка-пэ-пэ и снова вскарабкаться? Он стоял на краю мола, носы ботинок нависали над пустотой, вода по близости что-то молвила, различаясь только на слух. Если б еще уметь плавать.

«Лучший способ выучить плавать — кинуть в воду... и вся наука,» — донесся голос из детства, вроде бы хозяина дачи на Селигере. «Не все ли равно теперь, — подумал Гурьян. — Жребий брошен», — и шагнул в пустоту.

Вместо перины воды, пусть даже пугающе заглатывающей, удар и дикая боль (в лодыжке). Даже прошиб пот и тошнота подкатила к горлу, всякую секунду могло вырвать... Так действуют проклятия — когда уже выясняется, что и проклинать-то, в сущности, было не за что — здесь: себя за обжорство. Ох, не только мечтайте осторожно, но и проклиняйте осторожно... Все, все сбывается, и всегда не вовремя. Ох... зубы стучали как в ознобе.

Позднее стерпит. Слюбиться не слюбится, конечно, но смиряешься. Если не с болью, то с мыслью: а не было бы еще хуже — бултыхнуться со всего маху в воду? Не ангел ли хранитель подостлал в последний момент крылья в виде бетонированного выступа, обносившего снизу оголовков мола? Жестко падать, а все лучше, чем спать среди разного мусора, пошедшего ко дну.

Другими словами, сгоряча боль была острее, а не то что «сгоряча я не почувствовал боли». Подняться на ноги Гурьян даже не пытался: к счастью, выступ оказался достаточно широк, чтобы по нему ползти, а не двигаться бочком, как по карнизу, рискуя сорваться. Шириною с карниз, коль уж на то пошло, была шелка небес. (С какой же высоты он грохнулся? Видать, без крыльев точно не обошлось.) Эту щель — между плохо отполированной поверхностью моря и глухо черневшей стеной мола — плотно забили облака. Куда ползти, куда влачить свою боль, в каком направлении?

И снова, уже не столько на память, сколько на помощь, пришел Айвазовский — говорят ведь, что армяшки друг дружку тянут. «Вид Одессы в лунную ночь». А помнишь, с какой там стороны луна? Кстати, в ореоле совершенно тернеровском. Раз она сейчас скрыта от тебя молом, то берег с этой стороны, а корабль с той. Туда и ползи.

Нынче днем под безотчетным взглядом Гурьяна куда-то настойчиво ползла гусеница. И вовсе не туда, куда ему — опять-таки безотчетно — хотелось. Не помогай, не надо, но только не подталкивай к водостоку, не губи. Вот на него самого устремлен взгляд, пристальный и неосознанный одновременно. Что же осознавал глядевший, чем был озабочен? Бог весть.

«Больно, но можно». Это сказал он себе, когда оцарапал вдруг лоб о металлическую, в шипах ржавчины, трубу, оказавшуюся лесенкой. До этого Гурьян тянул себя (армянин — армянина), работая локтями и одной ногой. По силам ли ему вскарабкаться по ней? Метра три, ну, от силы четыре — будь выше, никакие крылья бы не спасли. Попробовал и сказал: «Больно, но можно».

Сперва правая рука, потом за ту же перекладину хватается левая, подтягиваешься, здоровая нога уперта в следующую перекладину, уф... И снова. Одна рука, другая настигает, подтянулся, под ногой следующая перекладина. Так двенадцать раз, по числу апостолов. Он считал. Рывком выбросил тело на мол и перевел дыхание. Луна светила там, где ее нарисовал Айвазовский, в таких же желтоватых кудрях облаков. И так же умиротворенно бликовала вода. Над темным обрывом в едва различимой

дали светлела ленточка зданий, точней, верхних этажей, погруженных в сон. Совсем рядом, в нескольких шагах, высился борт корабля — а кто был лишен возможности измерять расстояние шагами, тому до него было рукой подать.

Гурьян попытался прочесть: «Глория Н...» — остальное отсвечивало, как на бескозырке. Надпись закруглялась вместе с кормой (окончание см. на оборотной стороне Луны). Сигнальные огни, покачивающиеся шляпки фонарей да свет, опрыснувший подлунный мир, — этого довольно, чтобы разглядеть и корабль, и спущенный с борта трап, и труп вахтенного поперек него.

«Разбудить?» — подумал Гурьян и позвал:

— Эй!

На голове у матроса была грубой вязки шапочка, скатанная с краев; запрокинувшийся подбородок, шея, щеки лоснились недельной давности щетиной; рот — разинут. Он вздрогнул и, со сна ничего не соображая и ничего не видя, стал озиаться по сторонам.

— Эй! — режущим темноту шепотом повторил Гурьян.

Скорей всего, ответом был вопрос, практически немой, поскольку слов Гурьян все равно не понял. Но и немые вопросы бывают риторическими. Самый вид Гурьяна, его поза — все это красноречиво — чтоб не сказать исчерпывающе — свидетельствовало о его обстоятельствах. И, как следствие, намерениях. Пресмыкающийся во прахе в библейском смысле, сочетающем иносказание с прямым значением, он подобрался чуть ближе к трапу и так застыл.

Моряк презрительно плюнул на кончики пальцев, потом большим и указательным выразительно пощупал воображаемую наличность.

— Но песет, но... — проговорил Гурьян. Вместо денег он достал из-за пазухи тряпицу. Развернув, протянул кусочек серого полуистлевшего коленкора. Красноармейская книжка Владимира Николаевича Гурьяна, 1918 года рождения, выдана военным комиссариатом гор. Пушкина, 6 июля 1941 г. Фото отсутствует.

— Солдато русо, гефангенер... — и полоснул себя ладонью по горлу.

Испанского моряка звали Рамон Кордовес, родом из Каталонии. Брат Рамона погиб на Сарагосском фронте, сражаясь в анархистской дивизии П.О.У.М. Рамон обхватил Гурьяна правой рукой, левой перекинул его левую руку себе через плечо и вывел, раненого, из боя.

## XXIV

На сюрреалистическом полотне под названием «Некалендарное время» изображены журавли, джоггер и циферблат в виде подошвы, которая вот-вот раздавит муравья. Экскурсовод при помощи дирижерской палочки объясняет: это годы — они летят, это недели — они бегут, это часы — они идут, это минуты — они ползут. Один из экскурсантов возражает: это как посмотреть. Если из окна вагона, то наоборот: шагом, магом, четвертагом. Лес на горизонте стоит насмерть, ельничек, что поближе, — его враг уже теснит, а у телеграфных столбов только пятки сверкают.

С одной стороны, вчера еще цвела буйная головушка июня — по-летнему вздохнул, взасос, с другой стороны, днями ожидавшаяся встреча с Яной, казалось, не наступит никогда. Время для Вали тянулось как в окопе. Сколь же утешительно далеким представлялся Мюнстеру рождественский концерт: бравый униформист боялся его больше, чем вырвавшегося из клетки тигра. А тридцатое января, нереальное, как путешествие на солнце или в Берлин! Это еще только в сорок третьем году... В этот священный для всякого немца день слух величайшего из них будет ласкать сладкопевец с Украины, а взор — алое платье его пианистки. Валечка не верила, что доживет до этого дня, Гайдабура — что не потеряет голос.

Яновская, когда они наконец встретились, была многозначительно немногословна. «Пойдем», — это все, что Валя от нее услышала. И пока они не поднялись к ней, Яновская не произнесла ни слова.

— Ну что? Ну, Ян, ну говори — измучилась же.

Каменное лицо как род надгробия. Длившееся еще секунду безмолвие не оставляло надежды.

Валя вцепилась своими обреченными пальчиками в спинку стула, отчаяние в маникюрную крапинку.

— Проверки на дорогах. Бабы говорят, двух девок штыками насмерть проткнули в стогу. Не спрячешься. А кто добрался до деревни, там облавы еще хуже киевских. В Германию всех угоняют, совсем озверели. Я тебе говорила, раньше надо было думать.

Когда это она ей говорила, да они вообще ни о чем таком не разговаривали. Надо же сказать что-то. Главное — отказ. А причины... какое это теперь имело значение.

— Ну хорошо, я пошла.

— Погоди... погоди...

Дверь прорастает головой — так средневековые соборы обрастали химерами.

— Ты чего, тетя Лиза?

— Хлопчик прихотился до тебе.

Яновская отмахнулась.

— Надо будет, снова придет, да, Валь? Да сиди, тебе говорят. — Она достала бутылку, хотела налить Вале тоже, но та покачала головой. — Как хочешь. — Выпив залпом полстакана, многоступенчато поморщилась, гримас пять-шесть кряду сменилось на ее лице. — Ну и что делать будем?

Валя никогда не была под следствием, в этом «будем» ей послышалась готовность разделить с нею все... не глядя... даже вопреки золотому правилу «третий лишний» (здесь — четвертый).

«Боженьки, боженьки, боженьки».

— Говорю, выпей, — и снова налила себе.

Вторично показалась в дверях голова Лизаветы и так застыла — без единого слова, без единого звука, вперед лбом.

— На... — точно собаке, только не кость швырнула, а налила — преданной своей псине. — Эх, девочка, девочка... А не одумается? Что, совсем полоумный?

— Совсем, — с мольбою в голосе, дескать, помоги, ну посоветуй что-нибудь, вся надежда на тебя.

— А я б ему: делай что хошь, лучше пусть расстреляют... обеих...

Советчица.

Валя поднялась, чтоб уйти.

— Да ты погоди, говорю. Придумаем что-нибудь. — Яновская взяла ее за руки, усадила насильно. — Ну, тогда одно остается: напиться да на пару дать. Объяснишь ей: так и так, доченька, или мы ему... дело бабье... Эх, Валюша, Валюша, и на фига тебе надо было, козе... — Баян, валившийся на полу, очутился у нее на коленях. — А то ведь, доченька, как будет... — и в протяжном отчаянии заголосила, вторя себе мехами: «Я стою по-над обрывом, над рекой...» — И фриц твой тебе не поможет.

У Вали даже не было сил встать — даже разреветься и ревом душу облегчить... Слезинки в глазах скупые — как если б на обрыве уже.

*Бабушка скупенька, сметаны маленько.*

— Я знаю одно место. Понимаешь, есть, конечно, средство. Ты говорила, что своими руками готова... Эй, тетя Лиза, иди-ка, чайку поставь... Заманить в это место надо. А там люди добрые помогут. Поняла? Готова? Стоить ничего не будет, я договорюсь.

Камень свалился с Валиной души. Не будь эти слова метафорой, от грохота проснулись бы мертвые и восстали бы из своих гробов. И судил бы народ Бога своего. Но так как «массенморд» — тоже не более чем метафора, а на самом деле есть только одна-единственная, неповторимая, и ты-то ее все равно не увидишь, не услышишь, не потрогаешь и не понюхаешь, считай, что ее и нет, Ансельми прав, защищая Шуберта.

— На когда свидание можешь назначить?

— Завтра я его увижу. Утром Девятая, уже с хором. Он приходит на все репетиции и сидит. А не придет — вечером, на спектакле. Не помню... «Пламя Рима»? Нет, «Пламя Рима» на следующий день. «Тарас Бульба». Не важно, завтра я его увижу. Да хоть на послезавтра. Скорей бы уже.

— Хорошо, тогда так. На послезавтра на двенадцать назначай ему свидание. У Третьей городской больницы, скажешь. На Мокром, знаешь где?

Валя сосредоточенно кивала.

— Пусть идет за тобой. Мол, все готово. Что в тайном месте, так от соседей. Барышня моя уже ждет. И держись

меня, я все время буду впереди. Покружим немножко. Как покажу куда — входи, не робей.

Чужая смерть — это не смерть, она только называется тем же словом. Со смертью супостата приходит свобода — от всех страхов, от всех кошмаров. Свобода дышать полной грудью. Смерть изверга — жизнь! жизнь! жизнь!

А не страшно попасться?

Нет, Яна все устроит. Валя всецело полагалась на Яновскую. В том, к чему сам непригоден, всецело полагаешься на других. А хоть бы этот страх и был! Он легко вычитался из *того* страха — настолько был с ним несоизмерим. Да нет, просто разошелся бы в кипятке победы...

И вдруг испугалась — того, что он откажется.

— А если чего заподозрит или не сможет в этот день?

— Откажется? Фиг он тебе откажется. Как сумасшедший прибежит. Я полудурков на своем веку навидалась. Чайку тоже не будешь? Давай, тетя Лиза, ставь сюда.

— Не хочу. Я правда пошла. Спасибо, Ян, спасибо за все. — На прощанье она крепко расцеловала подругу, та смутилась:

— На фига ты так...

Она еще спускалась, когда ей вслед понеслись звуки баяна:

Я стою по-над обрывом, над рекой,  
Не могу...

И это пение, лизни его, на вкус было бы слаще халвы Ширази, слаще трупного запаха твоего врага. И ведь сколько раз пелось под порхание ее пальчиков: «О, ты не знаешь, как месть сладка...» И впрямь не знала, вперед наука.

Вкусы изменчивы, диктуются обстоятельствами жизни. Все та же потрепанная тетрадка пошлейших романсов, вчера бы пущенная — не спрашивайте на что (по правую руку от унитаза прикреплена льняная мешочек с вышитой по нему крестиками птичкой, много-много крестиков, образующих птичку), завтра исторгнет у тебя же сладкие слезы: по-над обрывом, над рекой ожидает своей участи, будучи не в силах шелохнуться от ужаса, — узнаешь этого человека? Узнаешь его лицо?

А пение по-прежнему лилось, теперь помоями из окна, под которым она прошла по Дубенской. Когда темнота почти поглотила ее, от стены отделилось нечто человекообразное и шмыгнуло в подъезд, а там наверх к Яновской.

При его появлении баян резко спрыгнул с колен, вскрикнув, как перепуганная внезапной облавой потаскушка.

— Ну на фига ты? А если б полиция за собой привел? Сколько тебе говорить: не ходи.

— А велено ж было узнать.

— Не тебе. У тебя, парень, еще молоко на губах не обсохло, сопляк ты, перепутаешь все.

— Кто перепутает?

— Кто — Иван Пихто! Горилку от ерша не отличаешь.

— Когда это было... А кто старое помянет, тому глаз вон... — Что-то вспомнил, засмеялся. — Честное слово, вот скажи мне — все передам, лох буду.

— Да ты и так лох.

— Ну, Рая...

— Я уже сорок лет Рая.

— Ну, Ян, ну пожалуйста, что тебе стоит. Скажи только, приведет она своего фашиста?

— Много будешь знать, скоро состаришься. Тише... Лизавета. Ну чего, тетя Лиза?

— Ще б трошечки налила...

— Хватит, у меня не ликерно-водочный завод.

— Доню, трошки... Ну як жид у мистечку скупа...

— Поговори мне о жидах. — Но старуха Лизавета настойчиво тянула кружку и свое выклянула. — Иди, больше не дам. Мне с хлопчиком потолковать надо. Девку сукин сын обрюхатил, а жениться не хочет.

— А ты скажи бабушке, вин их враз женит.

— Иди, иди.

— Женит... на Немоляке, — осклабился Кирпатый, когда за Лизаветой закрылась дверь.

— Заткнись, полудурок. Совсем съехал, да?

— Рай, мне б того... тоже рюмочку.

— Ишь чего захотел.

— А Сычиха бы поставила.



— Ну и катись к Сычихе, чего приперся? Катись, кому говорят. У Сычихи и увидимся.

— А когда? Скажи...

— Да в воскресенье, в воскресенье — вот зараза какой на мою голову.

Яновская принадлежала к числу лиц актерской ориентации, «носительниц эмоционального импульса», которых обычно осаждают посредственности, остро нуждающиеся в подзарядке. Яновская рассадит их вокруг себя: спляшет, споет, заморозит — из подобных ей в прежние годы подбирался отечественный легион ведьм. В том, что Яновская при причте, при клире, при благотворилке, нет ничего удивительного: во все времена ведьмы были равнодушны к церкви. Еще она может вдруг беспричинно наскандалить, но больше известна благими порывами. Свою душевную безалаберность охотно согласится вместе с вами считать следствием бескорыстия и даже неотмирности, хотя о волевом альтруистическом усилии говорить не приходится, ее общительность корыстна. Публика для нее тот же гумус — самый запах которого соприроден баяну (певцу-почвеннику, а не музыкальному инструменту). Нравственность? Не то чтоб нравственность там не ночевала — она там плохо выпалась: беспрерывно зевает, средь бела дня может уснуть. На таких никогда и ни в чем нельзя полагаться: страстные голоса — безвольные души, начинают за здоровье, кончают Третьим отделением. Вот уж из кого делать провокаторов одно удовольствие. А потом все удивляются: кто бы мог подумать — душа-человек! Яркий, бессребrenник, а доброты — все бросит, побежит последней жучке лапу перевязывать. Разве не бежала она, как сумасшедшая, к Вале: дескать, скорей, в редакции стряслась беда (правда, Валя не «последняя жучка», в опере играет — не по базарам). А на этот раз что, не искренне загорелась помочь? Малость перебрала, хвастаясь подругой: какая вся из себя да как к Ансельми возят играть. Валечка играет, а Гайдабура поет... между прочим, Петра Степановича он же и выслеживал, их директор — так напугал, что тому все мерещились патрули... патрули... патрули... Пришлось против правил батюшку в это дело впрячь —

против правил, поскольку первое условие успешной работы подпольщика: полное и неукоснительное отделение церкви от государства.

— Так это из-за него тогда чуть явку не размагнитили? — Насчет же Вали было сказано: — Ну ты, честное рогатое, мать... Мы что, по-твоему, Тимур и его команда? За здорово живешь? Такой кадр и не вовлечь...

— А Петр Степаныч почему не вовлечен?

— Не беспокойся, товарищ Яновская, на крючке у нас твой Петр Степанович. Понадобится — используем, вас не спросим. Что дочка-то ее?

— Красавица. В газете работает, с солдатами путается.

Поздней и сама себе сказала: сто раз артистка-разартистка, а гражданином быть обязан.

Не забудем, что Яновская служила ведьмой в *отечественном* легионе: «свои», «мы», «наши» — свяшенно для нее. «Двадцать второго июня, ровно в четыре утра...» — свяшенно, начало праздника со слезами на глазах. В этом вся «геополитика». Покуда не научатся петь: «Первого сентября, ровно в четыре утра...», так и будет: запад — восток. В далеком городе Риме (от них далеко, от нас не очень) есть улица Двадцать восьмого августа — виа Вентотто Аугусто. Поставьте эксперимент, порасспросите прохожих, почему она так называется. Никто не скажет.

## XXV

Там репетируют, тут репетируют. В Божьем храме две бабушки разучивали акафист, одна все сбивалась. «Ну, сначала», — говорила другая. Они каждый раз начинали сначала, доходили до того же самого места, останавливались. «Ну, сначала...»

Завидя Яновскую, та, что знала потверже, сказала:

— Погодь, Сергевна, шо-то крестница моя до меня больно рано. Отдышись покедась.

Между тем Валя тоже явилась в храм искусства — и тоже в неурочный для себя час. С утра пораньше пришла послушать, как всем миром репетируют Девятую.

Когда Яновская поднялась на клирос, Сергевна с Патрикевной («Сычихой») выводили в терцию: «Радуйся, Невесто Неневестная».

А когда Валечка пробиралась бороздой кресел, Степаныч с Петровичем в сексту скандировали похвалу an die Freude.

На обеих репетициях двумя совершенно разными людьми в одно и то же время получено одинаковое известие. Сокровенное. «Завтра в полдень на Мокром». Точно адскую машину пронесли.

Шепнув это, Яновская воротилась домой.

Валя осталась в театре. Между рядами движутся бочком — как сомнамбулы по карнизу (хотя и без риска провалиться в шелку небес). Она села с краю, укрепив своим присутствием пустой фланг.

Паня еще удивлялась, что мать встала ни свет ни заря.

— Мама, еще только...

— В первый раз сегодня репетируют с солистами. Должна послушать. Неудобно, Петр Степанович просил.

Паня вздохнула — так что даже голос прорезался. «А и правда, уж скоро двадцать пятое».

— Ты чего?

— Ничего. Монстр-то небось волнуется, как сумасшедший.

Валя тоже вздохнула.

— Знаешь, какая афиша будет? «Людвиг ван Бетховен. Девятая симфония. Первое исполнение в освобожденном Киеве. Исполнители: солисты, хор и оркестр Киевского Большого театра. Весь вечер за дирижерским пультом генерал-музик-директор капитан Георг Мюнстер».

— Так это как про клоуна.

— Ну да.

— Ах, в шутку... Надо не забыть Виталию Арсеньевичу рассказать. Он человек с чувством юмора, поймет.

— Забыла. У меня для тебя новость. Все уладилось, из Киева тебе уезжать незачем.

— Мама! Что же ты в самом деле... И молчит! А я уже сказала... — и прикусила. То, чем сказала.

— И кому же ты это сказала, тоже Виталию Арсеньевичу? С его чувством юмора, он уж точно все поймет.

— Мама...

Знает.

— Что, доченька? Все в порядке. В жизни раз бывает восемнадцать лет.

Обе кусали губы — словно нудили вспять слезу, с которой связано такое, о чем приличные люди вслух не говорят. (Ладно, так и быть, сладкую слезу, как при звуках иного романа...)

— Мама, мне пора, — поцеловала Валю и убежала.

В темноте сверкало декабрьское утро. В театре тоже все сверкало. В году раз бывает такое: когда нет пыли, кроме снежной — за окном, — и нарядней модного паркета только речка. Медные наличники, ручки и шпингалеты вспыхивают сами собой, без чьего-либо вмешательства. Чудо самовозгорания. «Благодатный огонь» (даром что декабрь на дворе) в дружбе с полотерами, уборщицами и прочими лежебоками, не слезающими с самоходных печей. Это их неделя — накануне фрицевского Рождества; те весь христианский мир хотят в эти дни уподобить голенищам своих сапог. Чистите, драйте, полируйте... Ах не можете, такие сякие? Начнем сначала... и опять сначала... Уронил дирижерскую палочку, давая ауфтакт.

«Плохая примета», — подумала Валя. Она пыталась как-то отвлечься и в то же время собраться с мыслями. Трое в зале: изверг, чьи ноги в красных ботинках она только что безжалостно отдавила, Петя-петушок — больно звонко ты поешь в такую рань, и этот, ну... кто палку взял, тот и капрал. О первом — ничего или хорошо (хорошо, что ничего, — все вычеркнется, сотрется, как страшный сон)...

В этот момент Мюнстер и уронил палку. Брызги манной каши. Но смех, помноженный на страх, не в удовольствие, а в пытку: террор пытается не только голодом, мором, каленым железом, но и щекоткой.

Все дружно грохнули, когда дирижерская палочка Мюнстера траекторией полета уподобилась проходящему испытания новому секретному оружию вермахта. И зажмурились: ну, что наш монстр еще может? Из пистолета уже всех перестрелял, в рабочие лагеря всех поотправлял...

Кнут нельзя держать все время поднятым. Если не в состоянии им огреть, то следует незаметно, чтобы не потерять лицо, его поджать.

Зная цену этому кнуту (вместе с кнутовищем — усмешка женщины), Валя лишний раз убеждалась, до чего же всегда была права в своем презрении к шутам. Сколько ночек она промаялась, слушая вариации на тему: я — дерьмо на палочке. И пошло-поехало: пусть не думает, что дерьмо когда-нибудь бывает отдельно от палочки... гы-ы... Всё вид один. Включая самых главных знаменитостей. Взмахни хорошенько рукой — вроде как «хайлы!» сделай, — и панургово стадо в восторге утопится. Что такое оркестр? Многоклеточная инфузория, которую следует превратить в одноклеточную, и тогда она синхронно задвигает своими ресничками. Задача дирижера делать вид — а чтобы вся свора при этом делала дело. Хорошая работенка.

И так до умопомрачения. Тому, кто уважает свою профессию, слушать подобное тошно. Вдвойне тошно — от такого дерьма. И втройне, если оно — твой начальник.

Случался и галлюцинаторный бред, который бесстыдно набухал в Валечкином присутствии, тесня реальность, пока не разрешался... вполне невинным сном.

Уже стемнело (мечтал он)... уже все готово к началу. Всех лихорадит: музыкантов над замерзшими инструментами, хористов и хористок, в укромных местах делающих «а-а»... Солисты, те мечутся из угла в угол, ощерив клыкастые пасти. Скоро семь. Бомонд освобожденного Киева полыхает лампасами, наиширочайшие показались из кабины «опель-адмирала»... и — пеньг! пеньг! С криком «за Сталина!» фанатики большевизма пытаются сорвать историческое исполнение Девятой симфонии... (Еще накаркает, кретин.) Ответные очереди, крики, кровь на снегу... чуть театрально, но ничего не поделаешь: под боком опера... чей-то стон... не самого ли... Нет, слава Богу. Правда, шальной пулей, влетевшей в окно, дирижеру оцарапало руку, и врач заботливо перевязывает ему царапину. «Гы-гы... — всхлипывает дирижер. — Мы им Бетховена, а они... такой концерт сорвали... варвары...»

Он через минуту уснет, а что Вале прикажете делать?

— Сначала! — взревел Мюнстер. — В последний раз! Всех перестреляю, как партизан!.. — Он машинально проговорил «данке», что называется, апарте, беря из чьих-то услужливых рук дирижерскую палочку (а на том конце палочки все дышало подобострастием: извольте, маэстро, ваш кнутик).

«Конечно, немец — а кто он?» — подумала Валя, обязанная столь неожиданным поворотом мысли даже не машинальному «данке», прозвучавшему с голубиной кротостью, — нет, она случайно встретилась глазами с Петром Степановичем, ну и вышел карамболь.

Конечно, немец. И конечно, немцев она уже давно терпеть не может. Больше — ненавидит. Как все, и те, кто по ним стреляет, и те, кто им прислуживает — и потому видит в них опору. Но русских... презрительно усмехнулась: не по-женски, на сей раз — по-свойски. Вот, герой, русской ложкой деревянной восемь фрицев накормил — а сам, не евши, стоит, раззявился. Валя была честна: русских презирала, немцев ненавидела. Но ей не были даны крылья, чтобы улететь. И оставался Валечке польский вариант: и вашим и нашим за копейку спляшем.

Коли уж быть честной до конца, то немец немцу рознь. Да и не всякий русский русскому ровня... Тремя рядами ближе к звучащей Бетховеном инфузории сидел Ансельм — прелестный же, при всех своих ушах. «Сударыня...» Что он такое — русский? Немец? Нечто национально бесполое.

На последнем пределе честности, выдавливая самую что ни на есть последнюю каплю гноя из сердца, она должна признать: на месте этого мальчика естественней смотрелся бы величавый мэтр с надменным профилем, глядящий поверх тебя. Орлиный нос, седые кудри, запрокинутая, как у слепца, голова. Прикажете расстраиваться оттого, что наши дети не повторяют наших... она запнулась... ошибок? Ни единой минуты она не раскаивалась, и не раскаивается поныне. В его лице с нею говорил Бог из горящего куста, она прикинула ненадолго, на краткий миг, к божественному.

Ведь и Валечка жила в суеверном страхе не по недостатку мужества, но оттого лишь, что пыталась возместить

этим отсутствующее благочестие. Все напрасно. Экономия на мужестве, не в пример Гурьяну, ее не спасет: экономленным придется пожертвовать ради спасения дорожного тебе существа, отнюдь не себя. Женщине — хуже.

Но мужчины словно ничего об этом не желают знать, они гнут свое крутое. О чем, например, думает Гайдабур: у Вали, прежде безотказной — чем она снискала себе даже в известном смысле его уважение, — теперь вечно какие-то отговорки. Месячные начинаются, не успев кончиться. А то вдруг острый приступ страха перед гестапой — может, и не прикидывается: с того дня, как Лозинин их накрыл, этот крутеж и начался... вон, лыбится, временщик. Или чуть что, Мюнстер вызывает к себе. Петр Степанович удавил бы и дядю, и племянника: по их милости ему петь стало не в сладость, только распоешься — «Петр Степанович, произношение...». А он русский — русский он певец! Как Аравидзе рыдала: рускы я пэвиц... в Расыи я радылс... Смешная.

(Freude trinken alle Wesen  
An den Brüsten den Natur, —

спел он.

Alle Guten, alle Bösen  
Folgen ihrer Rosenspur, —

подхватила Аравидзе.)

Хотел бы он знать, зачем она здесь, никогда на оркестровые репетиции не ходила, что происходит? Не далее как вчера: не могу, говорит, подруга попала в беду, надо к подруге. И Петр Степанович, веривший только в мужскую дружбу, приревновал. Держась метрах в тридцати от Валечкиной спины, он проследовал за ней до Дубенской. За унижение воздалось унижением (иначе и не бывает). Когда выяснилось, что Валю ждала женщина, ревность уступила место стыду.

Но то было вчера, а сегодня Петра Степановича снова терзало сомнение — глинковско-пушкинское, всегда занимавшее в его репертуаре почетное место: как бык шестикрылый и грозный, мне снится соперник счастливый. Из напетых во Львове шести пластинок «Сомнение» он

считал лучшей. Шуберта — тоже, да. От Шуберта немцы писали кипятком — со своей волшебной горы. Но в глинковском романсе Гайдабура был равен Шаляпину.

А вышло так. Думали записать в виолончельном сопровождении (благородный низкий голос, грудной тембр), но аккомпаниатор сказал:

— Муй млodzi брат ест скшипкем. Пан Гайдабура може ми вежичь: лепей ниж Витэк никт тэго соло ту не загра. Он ест наджеион цалой роджины, правдживы Бронислав Хуберман.

Действительно, молоденький хлопчик, лет двадцати, хоть и бородат, что твой Сарданапал. Играл — человеческим голосом, до слез проникновенно. Расстались лучшими друзьями. Гайдабура звал в Киев: красавец город; убеждал братьев не бояться Советов: «У Радяньскому Союзи жидив та музыкантив не обижают».

И вот младший появился. В прошлом году, в декабре — бежал из львовского гетто. Ночью стук в дверь, Валя переполошилась (его жена тоже Валя, и в этом мнимом удобстве, исключавшем опасность проговорки, было что-то от дьявольского круга, что-то шизофреническое, как сон внутри сна). Петр Степанович, «прежде всего мужчина, а потом уже баритон» (сам о себе), пошел взглянуть, кто бы это мог быть.

— Здравствуйте, — пропела хриплым тенорком фигура и закоченевшими, больше не скрипичными пальцами, ухватилась за башлык.

— О Боже!.. — Это могло относиться и к внешнему виду гостя — страшному зрелищу обмороженного человека — и к той смертельной опасности, которую он своим появлением навлекал на хозяина.

Была ли жена Лота в ярости оттого, что муж вверг семью в гибельную ситуацию, укрыв у себя каких-то чужих людей? Жена Валя точно была, и эта ярость столь неприлично выглядела, что удесятерила в Петре Степановиче чувство приличия.

И еще. Поступив каким-либо иным образом — а не так, как он поступил, — он отрекся бы от лучшей своей пластинки. Навеки бы лишил себя небесного блаженства заводить ее (примерно то же, что писателю лишиться мо-



рального права на авторство лучших своих страниц — да в огне сгорю!). Как бы Петр Степанович ни выпячивал свое мужество, прежде всего он был баритон: для него наивысшая ценность — собственный голос. Вследствие этого парадоксальным образом на высоте оказалось его мужество. Отогрев и накормив беглеца, он не отправил между тем свою благоверную с черного хода за полицией, а отправился сам к тете Фросе, которая перед войной работала у них приходящей.

Тетя Фрося из породы «соловьев» — людей, упоенных своим голосом («мене, молоду, жодна ваша спивачка не переспивала б!»). И все демонстрировала свою колоратуру, если случалось убираться в присутствии Петра Степановича, которого почитала почти так же, как их деревенского дьякона, обладавшего могучим басом: «глухого мог зцилиты». Петр Степанович решил, что, доверившись бывшей своей домработнице, ужасно ей этим польстит — и не ошибся. «Запытаю в церкви». — Фрося эта и была «Сергевной», что разучивала с Сычихой акафист. В тот же день она объявилась, сказав: если харч будет, то ее напарница согласна схоронить у себя.

Потянулись героические будни, конец которым положило гестапо в лице Лозинина. Петр Степанович понял, что в своем героизме зашел слишком далеко. Жить на новый лад становилось все привычней. Привычнее — еще не лучше. (Ср. «пойти на новый лад» и «пойти на лад» — о жизни.) Но привычка подобна сырости, в том смысле, что лишает запала. У нее могучие союзники: жена Валя и мальчик Вовка. Хотели назвать Алькой, но соседи опередили, а два Альки в одной квартире — плохо. Кто же мог знать, что и года не пройдет, как те жильцы эвакуируются. Гайдабуры тоже должны были, но в прямом смысле слова застряли — в заторе на Безаковской.

С Божьей помощью со сто тридцать шестой попытки первые такты финала больше не походили на эхо в высокогорном ущелье. Спев «О братья, не надо печали» (в качестве позывных к «Sondermeldung'am» в обратном переводе это прозвучало бы уместней), Гайдабура увидел, как солдат Ансельм, беззвучно адресуясь к нему, воспроизводит ртом разные геометрические фигуры. Тогда Петр

Степанович демонстративно стал смотреть в другую сторону.

То, что било ему в затылок, в спину, вылетая из огромного тысячерылого раструба, то, что тысячезёво и ликующе разверзалось за его плечами, был еще абсолютный Руссо с его буколическими хороводами на развалинах Бастилии. Предстояло переболеть всеми формами немецкого романтизма, чтобы на последней его стадии все повторилось в виде жуткой гримасы, и где — здесь, в Нововизантийске, на развалинах купеческого Крещатика. На развалинах бывших развалин — при любой временной точке отсчета.

В попытке не смотреть на морды, которые ему строил Ансельм, Гайдабура съехался глазами с Вале́й. Валя-жена знала: многолетний творческий союз солиста и концертмейстера традиционно не имеет четко обозначенных внутренних границ. Женам не рекомендуется в нарушение этой традиции уточнять, где именно проходит демаркационная линия — так можно и разъехаться. Но с тех самых пор, как вопреки рекомендациям здравого смысла (и мирного времени) гражданин-мужчина стал в Петре Степановиче брать верх над кормильцем-защитником, возник некий вид семейной акупунктуры: подкалывание исподтишка Валечкой. Оно было бы и вовсе не чувствительным, когда б врачуемое этой подкожной китайской медициной в ней действительно нуждалось: а то ведь с его стороны выходила как бы чистая симуляция. Юпитер, ты сердисься, значит, *она не права* — в противном случае его б отнюдь не бесили намеки жены (как не бесили они еще совсем недавно).

Und wer's gekonnt, der stehle  
Weinend sich aus diesem Bund, —

пелось между тем всей четверкой. Акцент пропадает, когда баритон, тенор, меццо-сопрано, сопрано — вся квадратика — поют вместе. Так если б вместе...

— Мадам, вы не слышите, что ли? Вы отстаете... да, вы! Не Элизабет Шварцкопф, и не Тиана Лемниц, а вы. И не смотрите на меня, как Тамара на Демона. Я вам каждую ноту в рот вкладываю... не дирижер, а продовольственная

карточка... вторая флейта, я вижу, вам смешно? У большевиков за такую игру вас бы давно этой карточки лишили. Мне Радлов рассказывал, как это в Ленинграде делается, в оркестре радиокомитета. А вы благоденствуете в Киеве, не цените... Двадцать первая цифра: «Alle Menschen werden Brüder», eins, zwei, drei.

«Я ему после репетиции покажу фронт работ. Ансельм Сергеевич, скажу, звиняйте дядьку, сейчас мы с Валентиной Степановной займемся «Любовью поэта»: «На севере диком стоит одиноко...» Это на немецкий не переводится. Понял ты, от кия уши?»

— А вам, Петр Степанович, особое приглашение? Подарочный билет на пригородный поезд «Киев — Тифлис»? Гы-гы...

— Виноват, Егор Яковлевич, слюной поперхнулся.

На пожелание Петра Степановича заниматься сегодня исключительно Шуманом Валечка покорно вздохнула.

Ансельм стал откланиваться.

— В таком случае до...

— До послезавтра. — Завтра Валина подруга ложилась на операцию, в двенадцать Валя должна была быть в больнице, неизвестно сколько это займет времени.

— Надеюсь, опасности для жизни нет? — спросил Петр Степанович, пока Ансельм надевал шинель, нахлобучивал свой «ушастик» — так Паня окрестила его кепи с опущенным клапаном — и долго еще потом обматывался пуховым российским кашне, Вале хорошо знакомым.

— Ты чего, Петушочек, — сказала она, оставшись с Петром Степановичем наедине. И провела своими нежными пальчиками по тупому срезу подбородка, который на низких нотах имел обыкновение уходить в шею, выжимая из-под себя жировую складку.

— Больница, — передразнил.

— Да, Третья городская... может, ты мне не веришь?

— Верю, верю. Давай, а то еще Лозинин явится.

А еще Мюнстер — «чуть что, вызывает». И все это, включая предстоящую завтра операцию со... и не выговоришь-то... а ты учишь выговаривать, вспомни дитя свое родное — ну как, теперь можешь выговорить? — со смер-

тель-ным ис-хо-дом... все это медведем навалилось на Валу, даже не одним, куча мала медведей на Валечке. И не пикнешь. А хочется орать, по всем громкоговорителям, из всех рамколей: «Слушайте! Администрация Киевского ордена Ленина державного академического театра опери та балету имени Шевченка повидомляе, что сегодня, как и во все дни, вместо объявленной пантомимы «Валя и три медведя» будет показана «Маша в стране улыбок». Квитки дійсны». Скорее бы завтра. Всего противней с Мюнстером, который говорит, и говорит, и говорит... Уж лучше бы не знаю, что делал... С тех пор как он переселил своего племянника в какую-то комнатку — в театре на чердаке, — от него отбоя не стало. Ансельму, ясное дело, хорошо. За приливом родственных чувств неизбежны отлив и усеянная гниющим планктоном отмель — дядя с племянником этого счастливо избежали. «В интересах дела, — объяснил Мюнстер. — Артиллерист спит на лафете. И помоему, — прибавил он однажды, — у молодца есть в городе зазноба. Но... приличные люди об этом вслух не говорят. А мы, милочка, приличные люди». Если б Мюнстер был Лозининым, а Лозинин был Мюнстером, то утро вечера, по крайней мере для «милочки», мудрёней бы не было... Ну, иди сюда, Петушок, ты хоть человек настоящий, и дар тебе, лапотнику, свыше дан. На тебе и меня.

А позади Макара Скотника Ансельм был встречен — напомним — такими словами:

— Наконец! Я сколько дней простаиваю. Как трактор в колхозном поле. Решила, что ты уже не придешь, на что тебе трактор?

— Трактор?.. — Он сперва не понял, потом взорвался: — Как я ненавижу все эти колхозы... все эти «Парижские коммуны»... Панечка, душенька, не мог, поверь. К симфонии прибавился «Лоэнгрин». Дядя совершенно не вменяем.

— Да, я слышала от мамы...

Мать в театре, дочь дома.

— Ты знаешь, мама о чем-то догадывается.

— Обо мне?

— Не обязательно, может быть, о ком-то другом.

Ансельм в первый миг лишился дара речи.

— Другой — в смысле, она не знает, кого ей подозревать. Хорошенького же ты, однако, мнения обо мне.

— Я с тех пор, как в Россию приехал, по-русски понимать разучился, прости. О двадцать пятом маме не проговорись.

— Ты думаешь, мама нас выдаст? Ты мамы не знаешь. Она скорее умрет, чем меня выдаст. А я ее — скорее умру... слушай, у тебя и правда сегодня глаза на мокром месте.

Ансельм подумал, что венчать их будет Панин учитель, и это вдруг растрогало его. Но, помня, о чем тот его просил, он промолчал.

— То-то мы сегодня утром с мамой все о двадцать пятом да о двадцать пятом. У вас в театре этого дня все как огня боятся. А больше всех твой дядя, а? Как будто: вжик!.. И сам по себе огонь вспыхнет.

— Панечка, послушай, двадцать пятого делать... Нет, это невозможно, решается наша судьба, а ты меня даже не слушаешь.

— Ансельм, я тебя больше чем слушаю, я тебя люблю.

— Любовь моя... Запомни, двадцать пятого ты ничего не должна делать, ничего. Ждать меня в редакции, только и всего. Позаботься о ключе...

— Ключ — мой.

— Значит, двадцать пятого останься под любым предлогом наверху. Задержись. И жди меня, без меня никуда не уходи, как бы ни было поздно. В таких случаях и целую ночь ждут.

— Милый, да в таких случаях на ожидание жизнь кладут.

Гайдабура просыпался вместе с петухами — вместе с другими петухами. Эту привычку, обусловленную генетически, пускай даже унаследованную им не от петухов, а от многих поколений тех, кто эту птицу разводил, двадцатилетняя принадлежность к богеме не могла искоренить. Петр Степанович любил днем придавить пару часиков, но продирали он глаза каждое утро в шесть — как штыком. О том, чтобы поваляться, понежиться, не было и речи. Завтракал по рабоче-крестьянски: например, тарелкой «мара-

фон по клетке» — женина шутка (макарон по-флотски) или жареной картошкой с салом, только что аппетитно фонтанировавшими на сковороде, — после чего в области диафрагмы возникала, даже вопреки его воле, потребность распеться. Все было предусмотрено родным советским правительством. Жил он прямо на Карла Либкнехта, чье имя носил и театр до тридцать девятого года (мы помним, по пути к штатткомиссару Ансельми мы заезжали за Гайдабурой на Хорст-Вессельштрассе). Петру Степановичу надо было только пересечь площадь, как он уже оказывался на своей рабочей площадке. «А-а-а-а-а-а-а-а...» — это он, тот одинокий спивак, чей голос спозаранку день за днем уже много лет доносился из Большой Оперы. И снова, полутонем выше: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а...» Заслуженный муэдзин Украинской ССР на трудовом посту.

Это утро от прочих утр Гайдабуры не отличалось ничем. Распевшись, он освежил в памяти одно, другое, третье из своего репертуара, тыча неграмотным пальцем в клавиатуру: до до до, до до си, до си ля — музыкальных школ не кончал, в отличие от читателя, небось сразу узнавшего мотивчик. Слово за слово, «Сомнение» порождает сомнение, и часам к одиннадцати Петр Степанович вполне созрел для того, чтобы самолично проверить, врада Валя или нет насчет больницы, подруги, операции. Еще накануне он этого делать не собирался, помня свой конфуз, к тому же ублаженный вчерашним. Но петь «Сомнение» по-шалаяпински, и чтобы ни в одном глазу — для этого надо быть Шалаяпиным. Тогда как Гайдабур был «виднейшим представителем советской реалистической школы», то есть честно входил в роль.

В одиннадцать тридцать он притаился за памятником Героям Плевны. Не прошло и пяти минут, как презрение к себе обогатилось добавочным психологическим оттенком: постыднейшим утешением. Валечка появилась. Стояла, переступая с ноги на ногу, оглядываясь, как всегда, обеспокоенная — или даже больше, чем всегда. Увидала кого-то. Подругу? Гайдабура ее узнал. На душе сделалось совсем в рифму: гадко — сладко. Он стоял опозоренный, красный, а чего стеснялся, кого стеснялся... Не стеснялся,

пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного. Все свои.

Подруга шла медленно. Больна, предстояла операция, на Валу даже не смотрела. Поравнявшись с нею замедлила шаг... и прошла мимо! Гайдабур мигом взял назад все те нехорошие слова, которыми уже успел себя наградить. Далеко не ушла. Стоят, будто друг друга не знают. Сogleдатель на таком расстоянии от обеих, что в поле зрения попадает масса лишнего: был зимний полдень, Мокрое — людное место, на белом все густо чернело, мельтешило, копошилось — как мухи, облепившие покойника.

Вот и он! Не хватало городского, чтоб отдал честь, — такой шеголеватый, старорежимный, барский подкатил в ландо Лозинин. Гайдабур не верил своим глазам: Валя ждала Лозинина! Что дальше? Он приблизился к ней, но тут же отстал, дав уйти, а сам пошел за нею. А впереди Вали, о чем Лозинин явно не подозревал, шла мнимая больная.

Та сворачивает — Валя сворачивает, та переходит через улицу — Валя переходит. Петр Степанович был четвертым, предположительно, последним звеном этой странной цепочки, для сторонних глаз невидимой. Чем он был движим? Всем сразу: любопытством, смятением, которое, внезапно испытав, вдруг хочешь продлить, наконец — тем, что тайному открытию, как любому оккультному знанию, сопутствует удовлетворение, острейшее, по сравнению с легитимными формами познания.

В продолжении всего пути, долгого и стремительного, почти забега, ни один из его участников не удосужился бросить взгляд через плечо: а наличествует ли последующее звено? Словно зарок не оборачиваться был одним из условий этой непонятной разминки: в сущности, они кружили на одном месте как бы наглядным подтверждением известного диалектического принципа, согласно которому движение — все, конечная цель — ничто. Последняя тем не менее вырисовывалась, хотя Петру Степановичу, мужчине корпулентному, видному, пришлось попотеть. Вдруг он начал узнавать свой собственный ежедневный маршрут, видоизмененный, замаскированный: Туровский базар, от него по Партизана Голика направо, снова

направо, теперь... Нет, на эту улочку он не свернет ни за какие коврижки. Достаточно серпиком лица выглянуть из-за угла. Петру Степановичу еще какое-то время был виден удалявшийся Лозинин, пока знакомая калитка за ним затворилась.

Гайдабура хорошо помнил этот домишко: что в нем да как, да какой там тайник под полом. Скорее прочь отсюда! Лучше ничего не знать и не видеть. Раз он уже бежал с Туровской — от гестапы, от Лозинина. Или на самом деле все обстояло иначе? Он вообще уже не знал, что думать. Факт, что среди охвативших его чувств не было ни одного, даже отдаленно походившего на ревность.

## XXVI

Я стою по-над обрывом над рекой,  
Не могу пошевелить ни рукой, ни головой.

*Народная песня*

В течение суток хоть на миг Валя должна забежать домой, это было как притронуться к матери-земле — прикоснуться, хоть на миг, к их с дочерью жилищу. Все едино, все турецкий берег: Россия, Германия, призрак оперы, громоподобные речи с трибун на всех континентах — только единственная точка во всей ледяной многозвездной пустыне, крохотная как миг, мерцала и теплилась, различимая лишь ею одной и более — ни из каких телескопов.

Поэтому — на миг влететь домой.

Следы недавнего Паниного хозяйничанья. Что-то сделав, совершенно не существенное — подобрав с полу карандаш, переставив тарелку с одного места на другое, — Валя на минуту опустила на стул и закрыла глаза.

.....

.....

.....

Минута прошла, и Гейнц, на котором она примчалась, умчал ее дальше. Она велела остановиться на Сенном базаре: «Иш мусс нох айн пар блюмен кауфен». Какие, к



черту, цветы в декабре — мороз рисует их на щеках! («Мороз рисует на щеках свои узоры расписные».) Публично, пугливо поэтому, вышла из немецкой машины, которая, фыркнув, уехала, и от Львовской площади пошла пешком, здесь уже недалеко.

Она была первой. В своем стремлении ощущать себя манекеном — понимай, не ощущать вовсе — она не больно-то преуспела. Разве что волнение, охватывавшее ее все сильнее, не было новым, неизведанным ею доселе чувством. Волнение — оно всегда одинаково, и здесь многолетняя привычка справляться с ним (с собой) помогала. Артист смелее. Видимость, конечно — но ведь всё видимость. Например, понуро бредущая Яна. (Она появилась.) Не замечает никого и ничего, и уж ее, Валечку, в первую очередь. Валя отвечала ей тем же, да так убедительно, что Яновская попалась на крючок: остановилась, сделала глазами — лишь после этого прошла мимо.

Охотники были в сборе, очередь за зверем. Сперва Валентина Степановна увидела коляску, потом Лозинина. По-морозному бодрый, праздничный, по-дореволюционному заграничный, он уже спешил к ней, радостно оскальзываясь в огромных своих валеных ботиках.

— Отпустите извозчика и идите за мной, — голосом — «краше в гроб кладут».

Вернулся туда — вернулся обратно. В промежутке положил что-то в выпроستانную из огромной рукавицы ладонь.

— Идите сзади, не приближайтесь.

Впереди шла Яновская — не торопясь, но вдруг как припустилась. Валечка задыхалась, нетрудовой элемент непривычен к настоящей ходьбе. Но ведь не крикнешь: «Ян, не беги ты так!» А та, не оглядываясь, неслась, круто беря то налево, то направо, то назад, то вперед. В голове у Вали вертелась одна мысль: не обессилеть, не отстать, не потерять ее из виду. Рванули по Туровской, зачем-то дважды обогнули Туровский базар, долго шли по улице «Партизана Алкоголика». (Щекотка, вовсе не политика. Как не политика и юмор новейшего образца: транспорт оstarбайтеров, офицер — бабе: «Видпушу, якшо вгадаєш, дэ в мэнэ мое око, а дэ — скляне?» Баба: «Це скля-

не». — «Як ты вгадала?» — «Та воно ж дывыться людзяно» (глядит по-людски.).)

Свернули в переулок — малолюдный, простреливающийся взглядом. Яновская сразу включила тормозные огни. Пройдя несколько шагов, остановилась и высморкалась, но платок не спрятала в карман, а комком, наподобие снежка, бросила через забор. И пошла себе — совершенно иной походкой, совершенно иного человека, быть может только что вышедшего из соседнего домика.

Оригинально, но в меру: платками с момента их изобретения подавались условные знаки, но непосредственно перед этим «обходиться ими» — это ново.

Валя потянула на себя калитку и дождалась Лозинина, который, входя, калитку прикрыл. Тоже запыхался, но крепился — не подавал вида, улыбался.

— Фотография с собой?

Валя не поняла: чья?

Но они уже переступали порог, погружаясь в кромешный мрак и вдыхая запах чужого жилья.

— Добро пожаловать, — произнес мужской голос, не оставлявший сомнения в том, что мышеловка захлопнулась. Лучше сказать «ловушка»: попавшийся зверь был покрупнее мыши (впрочем, к ловчим не подольстишься, а пойманному уже все равно).

Чиркнула спичка. Пламя, заматававшееся было — как пленник в надежде вырваться, — потом уже горело тускло, ровно, покорно. Валя увидела лицо Лозинина с чем-то белым во рту, наподобие снежка, только не таявшим. На него тут же накинули покрывало, словно предстояло открытие мемориальной доски. Потом — связанного — куда-то втолкнули. Послышался грохот и удар захлопывающейся вслед крышки.

Валя пригляделась — сквозь заколоченное окно свет кое-как струился, недостаток же в нем восполнялся благодаря лампадке и привычке знать больше, чем видишь. Оттого увиденное показалось ей набором фигур различного калибра и различной конфигурации, но в целом предвосхищавших сцены из загробной жизни.

Главный — он же и всех массивней — сказал:

— Валентина... как по отчеству?

— Степановна... пить... пожалуйста, не могу говорить...

— Пить дайте человеку.

Сычиха, маленькая, в платочке, в сычовых очочках, шкрябнула железной кружкой о железное же дно.

— На, попей.

Валя пила, стараясь не очень громко стучать зубами.

— Спасибо, — несколько раз перевела дыхание.

— Сидай, доча, сидай, отдышися покедашь.

Валя села на подкатившую по-щучьему велению табуретку, и тут оказалось, что не только подбородок, но и колени, руки — все дрожит.

— Нервная ты, Валентина Степановна, женщина. Пугливая. А мы простой народ — не артисты, мы посмелей. Меня зовут Волком, будем знакомы. Я твой командир, понятно?

Он не сказал: «Я *здесь* командир», он сказал иначе. Пауза — в ожидании того, что Валя ответит категорическим и безоговорочным признанием этого. Она кивнула.

— Добро, — как-то странно было слышать это слово в его устах. — Мы, Валентина Степановна, чаи не распиваем и долго на одном месте не засиживаемся. У нас по-военному: приказ — есть, товарищ командир. Никаких производственных совещаний. Здесь совещание особое, и я его председатель. Боец Немоляка, выдай товарищу оружие и объясни принцип действия.

Немоляка походил на свою фамилию: как червяк — узкий, длинный, длинношей. Мечта карателя. Помимо него и Кирпатого, присутствовало еще два безликих, чтоб не сказать безмордых, существа — «без речей» писалось в старинных пьесах.

— Это дамский браунинг, — сказал Немоляка.

Как отделанный перламутром бинокль, умещающийся в театральной сумочке, остается все же биноклем, так и орудие убийства в миниатюрном издании, помещавшемся на ладони — или опять-таки в дамской сумочке, — при всем изяществе своем не перестает быть орудием убийства.

— Принцип действия простой. Вот, — передернул затвор. — И вот, — большим пальцем переместил предохранитель. — После чего пиф-паф. В упор, ясно.

Театральный бинокль тоже уступает полевому по своим оптическим возможностям.

Он разрядил и шелкнул курком.

— Теперь вы — дулом вверх.

Валя была умна и с третьего раза освоила эту премудрость.

— Добро, — сказал председатель подпольного ОСО. — Валентина Степановна, примешь боевое крещение. — При слове «крещение» лампадка как-то по-особому высветила лицо Сычихи. — Приведешь приговор в исполнение, убьешь своего первого фашиста.

Сказано: смысл наказания в удовлетворении потерпевшего, мера наказания в сердце потерпевшего. Но кому это сказано и когда?

— Но мне было сказано... мне не так было сказано...

— Кто свиней режет, тот их и ест. Я предупредил, у нас на приказ только один ответ: есть!

— Слушай, артистка, девиз народных мстителей знаешь? Кто не с нами, тот против нас...

— Обожди, обожди, Немоляка, не лезь поперек батьки в пекло. Я предупредил, верно? Теперь, Валентина Степановна, когда ты больше не фашистский прихвостень, ты — в наших рядах. Не рассуждать, а беспрекословно выполнять — все, точка. Патрикевна, налей-ка ей для храбрости.

— Ее же развезет, — сказал Немоляка, — она же промажет. Добивать же придется.

— Ничего, с первого раза не получится, со второго. Со второго не выйдет, так с третьего. Потренируется, руку набьет.

— Товарищ Волк, а можно мне с нею? — попросился Кирпатый. — Посмотреть.

— Цыц, бесенок! Сперва научись хрен от редьки отличать. Сама. Пусть привыкает, что у ней помощников нету.

Протянутая доброй самаритянкой кружка спалила Вале горло.

— Я же говорил...

— Ну да, сперва вдохнуть надо, — засмеялся Кирпатый. Сычиха сердобольно заметалась.

— На, доча, запей.

Пока сброшенный в подпол ничего об уготованной ему участи не ведал, он был волен в мыслях приуготовлять ее себе сам. Лиходеева заманила его в западню — он не внял предостережению, содержащемуся в самой ее фамилии, недооценил ее решимости стоять насмерть, поскольку ни разу не задавался вопросом, чем он был для нее. Он в принципе не утруждал себя оценками, соображениями, всякого рода умствованиями в подобных вопросах. Это было бы посягательством на его святая святых: чувство, страсть, безумство священного каприза, вокруг которого выстраивалась личность по имени Лозинин.

Безумцы поклоняются своему безумию с безоглядностью, в которую трудно поверить наблюдающему их в повседневной жизни — таких рассудительных, уравновешенных, светских. Даже брошенный в подzemелье со скрученными за спиной руками и мешком на голове, Иван Борисович не сразу лишается всех надежд. Содранная кожа, ушибы, полученные, когда он кубарем валился со всех ступенек, все это ничто в сравнении с громадою живого клокочущего *Я*, отсюда и эта на первый взгляд странность: дескать, как медленно догадывается человек, что случилось бесповоротное.

Уже целых шестьдесят секунд мадам Козодой — Маруся Мильгром — в огне и пламени. Давно — шестьдесят секунд как! Знаешь, уже космы шипели и всюду было — ну, «больно», а сама жалеешь платье, точно борщом залила, рассчитываешь, что, может быть, еще удастся вычистить пятна кипятком и пойти в гости.

Первая забота Лозинина была о смокинге, о пластроне — все перемазано землей, как же он в таком виде явится в киевскую Гранд-Опера? Балетоголик «Гаше», «Пламя Рима», Пьяцца дель Фьори, балет по опере «Тоска», особенно жаль было бы расцарапать лакированные туфли. «Дюруа любил хорошую обувь». Ах, прошу вас, еще не вечер. Зато он был *абсолютно спокоен* за свое белье, дорогое, надушенное, сегодня — предмет первой необходимости, белье ничего не могло сделаться.

А хватило ли ему шестидесяти секунд, чтобы все угадать и обо всем догадаться: о бесповоротности принятого

на его счет решения, о том, что летательному аппарату его жизни капут и землянка, куда он брошен, — это уже план на ближайшее будущее: одновременно и воронка, и мать-сыра земля.

Часов не наблюдают не только в счастье, не только на космических оборотах новейшей физики, но и в черной дыре ожидания конца, бесконечного уже потому, что тебе, ослу, до этой морковки не дотянуться никогда.

Зато, поняв, что видов на вечер нет, Лозинин перестал беспокоиться о своем туалете. А поскольку из всех беспокойств это актуальнейшее, то возмещение, по идее, было солидным: покой в преддверии конца. Чем не оправдание «суеты сует», когда простым отказом от нее достигается, казалось бы, невозможное. (Для сравнения: что бы делало покаяние без греха? Вот тебе и весь «Экклезиаст».) Дони-мает лишь только боль. «Лишь только бо-о-о-оль одна-а-а! Как берег в море суеты...» Нет, прибежищем она быть не может, да еще для всех. Он специально ездил посмотреть «Пиковую» в постановке Рейхваргера... Дура! Все-таки дура! Неужели она думала, что его дочь он бы отдал на растерзание немцам — скорее дал бы себя растерзать! Должна была взять фотографию...

Мысль осыпалась — словами, слогами. Потом почерневшие деревья-музыканты издавали отдельные звуки: здесь желтенький, там красненький, кружась, упадет.

Ему все равно, уголовники они или идейные бандиты. Между отношением Лозинина к тем и другим разницы не было никакой. Как не было ее между отношением к нему — тех и других.

Не было бы.

Прошедшее возможно лишь в условном наклонении, прочие времена — даже не условность, потому что для условностей требуется двое, это минимум-миниморум: субъект и объект. Но когда первый и настоящее-то не в силах удержать, что же говорить о будущем. Правда, только в настоящем чувствуешь боль, но еще не такую сильную, чтобы отождествлять себя с нею. Вот пустят ее на двести двадцать, станет она в двести двадцать раз нестерпимей, тогда я, Лозинин, может быть, и взмолюсь: выведите меня за скобки настоящего! И это будет равносильно

признанию себя в нем: мне больно, следовательно, я существую.

Но его мучения усиливались: руки затекли, в локтях и в лопатках стёкла, уже и в плечах тоже. А хуже всего то, что он задыхался. Влага дыхания оседала на лице, кляп намок, не хватало только пары затычек в нос... схватить насморк в земляном леднике — плевое дело... Кляп! Слюна шла в авангарде тошноты, не хватало захлебнуться в борще из собственной блевотины. Не хватало!.. Не хватило!..

В Киеве объявился Радлов с женой, свято место пусто не бывает (подразумевался его кабинет в театре, устланный густым наваристым ковром). Но чего они от него никогда не добьются, это сожаления: ах, дернул меня бес пойти с нею... не соблазнился бы, так и не... И показ альтернативных прелестей. Какое мерзкое прилагательное — «альтернативный». На литр раскаяния литр сиропа. Не-ет! Ни единой минуты он не раскаивался. Язык страсти — язык горящего куста. Ему открылось Божество.

Он тщетно пытался, цепляясь плечом о земляную стену, подняться на ноги. Извиваясь, пополз было по периметру, сразу уперся во что-то (то была лестница). Пополз в обратную сторону — снова лестница. Не жирно, от силы два метра.

«Радлов вам кланялся», — говорит Скоробогатов. А они и не знакомы. За два года все переменялось. Лозинину низко кланяются те, кто прежде, по их же излюбленно-му выражению, на порог бы его не пустил.

Отказ от исповеди. Ну, кончайте уже, делайте уже свое дело со словами: оставь нас, гордый человек. Но что у них на уме — почему не сразу, чего еще хотят от него?

Ясным декабрьским деньком в черной яме время тянулось медленно. Но за разговорами да за стаканчиком для Вали оно пролетело незаметно. Оглянуться не успела, как со стуком ударила об пол откидная крышка погребка. Валя стала спускаться, каждый раз лихорадочно тыча ногой в пустоту. В одной руке плошка — блюдечком чая. Другой — держась за лестницу. Снова грохот: черти, захлопнули за ней крышку, в воспитательных целях оставили один на один с врагом.

Лозинин вначале не понимал, что происходит: вроде бы уже идут, почему так долго? Но потом догадался: кто-то неуверенно спускается — либо старуха, которая здесь живет, либо... Валя? В любом случае — не мужчина. А может... Вспомнил Дину из «Кавказского пленника». А как Валину дочку зовут? (Безумец!)

Валя спустилась, ему бы наброситься на нее, начать душить — а он оставался недвижим, не мог пошевелить ни рукой, ни головой. И не видел ничего, и ни слова не мог вымолвить. Куль кулем. Она пристроила блюдечко с плавающим в нем язычком пламени на ступеньке, достала из кармана жакетки пистолет, натянула тетиву, отвела предохранитель — и растерялась: мешок был велик, голове в нем было просторно, куда выстрелить, где там голова?

Рука дрожала спокойной широкой дрожью, как будто махала на прощанье. Приставляя то к одному, то к другому месту дуло, Валя чувствовала под ним что-то твердое, но нажать курок не решалась: а если это кончик носа или подбородок? Тогда она стала водить ладонью по крахмальной корке пластрона, но попробуй-ка нащупай место, куда стреляются. Якобы должно быть на два пальца ниже соска.

Ободренный этой непостижимой лаской («Паня», вспомнил имя), Лозинин стал трясти головой — неожиданно сполз мешок: веревка вокруг шеи была завязана не туго, чтобы не придушить. Валя в испуге отскочила.

В темноте поблескивали живые глаза, забитый тряпкой рот делал их еще живей. Лозинин смотрел на ее руку, в любой миг готовую утопить пальцем гашетку. Испуг хоть и унял дрожь, но стоило ей поднести пистолет к его лбу, как дуло, под нацеленным на Валю пристальным взглядом, стало чертить в воздухе некие письмена, которые прочитаны могли быть только как «не убий».

«Значит, все-таки убивать», — подумал он (роли поменялись).

Здрав морду, Лозинин заскулил. Но не умоляюще, не прося сохранить ему жизнь — прося лишь слова, показывая, что желает что-то сказать, а не «дай надышаться перед смертью». Что тоже, согласись, для человека с кляпом во рту существенно: превращалось в право «последней за-



тяжки», в право напоследок вдохнуть полной грудью в прямом физическом смысле слова.

Это было единственной альтернативой немедленного выстрела — и вот уже рот Лозинина свободен от набухшего тампона.

Он прохрипел:

— Ты же не можешь... только мучиться буду... дай сам... развяжи...

Валю не нужно было просить дважды. Если она чего и хотела, то только одного: чтобы это сделал за нее кто-нибудь другой. («А в жабу слабо оборотиться?» — прибережем эти милые хитрости для «Золота Рейна».) Руки ее не слушались. Чудом, другого слова нет, ей удалось распутать веревку. Ее страх, ее слабость не могли не сообщить ему — преображенными в чувства-антиподы. За что только он ее не презирал, даже за неспособность его убить. Он преподаст ей, и в ее лице всему миру, последний свой урок. Рейхваргер тоже выбросился из окна. Но теперь еще неизвестно... его окно, может, будет этажом выше.

— Ты влипла... дай сюда... — Он повертел кистью — руки ему тоже не очень-то повиновались. — Всё, ты их... Кровью спаяны. Ты сама хоть понимаешь, как ты влипла? Гестапо до вас до всех доберется... По своей дурости... — Вдруг стал кричать: — Что ты видела? Кто ты вообще? — Последние его слова были темны: — Кто есть истина? Отец или мать? Если она война всех вещей?

Наверху уже засомневались в Валиной дееспособности, как вдруг прогремел выстрел. Потом ее заставили спуститься снова — за пистолетом.

## XXVII

Лозинин! Никто даже не заметил его отсутствия на «Плани Рима», асафьевском балете по мотивам «Тоски» — мотивам как в музыкальном, так и в сюжетном смысле. Никому он не был нужен. Кроме, может быть, Дарьи Фригидовны (или как там ее). Зная, почему фунт лиха в этом мире, она умножила свои скорбные познания, когда

была разбужена под утро не Иваном Борисовичем, что случилось не раз, а двумя типами, от которых за версту разило мастерством заплочного дела. Сопровождала дорогих гостей дворничиха.

Не забрали тебя, Дарья Свиридовна, за связь с врагом народа и фашистом Иберией, так забрали за то же, только с другим фашистом, Лозининым. Чему быть, того не миновать. В обоих случаях за дело. Разве Иберия не враг своего народа? А Лозинин — разве он не фашистский холуй? Об этом сообщалось в объяснительной записке, которую он сам держал в руках. Составление записок от лица жертв имело добрую традицию: «Ich nehme als Judenjunge immer nur deutsche Mädchen mit aufs Zimmer!» («Еврей, немецкую я девочку всегда укладываю в коечку» — написано на груди у пойманного с поличным еще в тридцать пятом году); на груди у каждого из восемнадцати повешенных на Крещатике было написано большими буквами: «Я в ответе за брата своего». Лозинин, когда его нашли, был гол как сокол: сработал трофейный «сэкэнд хэнд». Зато содержание записки в его твердокаменных пальцах понуждало гестаповцев засучить рукава: «Я, Лозинин Ванька, фашистский прихлебатель, позор города Киева».

Дарье Свиридовне предъявили ее хозяина, и так как на первых порах кого-то надо же было заподозрить, то ее и заподозрили. А быть заподозрену в условиях «военного часу» — это уже вина (в этом суть чрезвычайного положения — любого). «Свастей бабе поварихе» еще крупно повезло. Когда выяснилось, кто стрелял, ее отпустили. Она даже избежала отправки в Германию как нетрудоустроенная — ее трудоустроил домнер Войку, взяв к себе кашеварить. За время их знакомства Лозинин прирастил его к кавказской кухне.

Театр, конечно, ахнул. И громче всех Полина Петровна, кариатида. Повторялась история Клары Карловны — выносившей горшки за Гошкевичем с тех пор, как за Майнцером их стали выносить другие. Да что там «повторялась» — много хуже: над Полиной Петровной постоянно «временно» воцарилась Василиса Сираго. Обладательницу «локона страсти» дополнительно унизили, так что даже обладать им стало как-то грустно.

Гайдабура единственный, кто знал если и не все, то достаточно, чтобы считать себя очевидцем происшествия. Но он ранее так щедро расходовал золотой запас своего героизма, что внезапно стал банкрот: открыл кошелек — а там пусто. И тогда он впал в панику: а вот всплывет рано или поздно — кто же поверит, что при их с Валею отношениях, которые ни от кого не секрет, включая и Вальку, он ни о чем не подозревал? Эх, если всплыть суждено, то для него спасение в одном: самому же и ускорить всплытие.

Закусил губу. Нет, на такое он не способен — хотя и может многое другое: как певец, например, может запросто лишиться голоса; да и настоящему мужчине порой изменяет мужество. Вот она, парочка не разлей водой: кто он, по собственному представлению, как не первый парень на деревне да не перший писняр на сели? Но никогда, глупец, он не осознавал себя просто приличным человеком, хотя был им в большой степени. А приличие — в природе добра. «Неприлично себя ведете», — сказал он в свое время убитому. Тогда это вырвалось само собой, но задним числом, уже в свете случившегося, хочется сказать: неучтенным предостережением.

А страшно как вдруг стало! Точно из погреба зимним холодом пахнуло. Из того погреба — каждый день он туда носил еду. Тоже всплывет... (Господи, змилуйся та спаси...) Отправить Вальку с Вовкой в Харьков? Так она же все поймет шиворот навыворот и точно никуда не уедет.

А не сменить ли концертмейстера — взять того хлопца? С Валею поскандалить, при всех раскричаться, раскاظризнаться: сажает темпы, заглушает, перестала заниматься... нет, это уже намек, доносом попахивает. Им даже расстаться-то нельзя: благодаря ему она втерлась к немцам в доверие. Она же... она воюет с ними! Кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать! А он-то ей пенял за трусость — что по-бабьи к сильному норовит перебежать, не выносил ее немецкого биттэ-дриттэ. Ни разу не дала почувствовать, даже настолечко.

На следующей репетиции Гайдабура избегал встречаться с ней глазами; он выдавал себя, не она — она держалась как ни в чем не бывало. Прошли «Двойника» с Ан-

сельмом, который сидел, зябко нахохлившись, будто с перепоя. Это после того, как дядя сообщил ему, что нашли... кого нашли на трамвайных путях. «Что», конечно. Тело было брошено на рельсы неподалеку от Аннушкина взвоза, в расчете на посмертное четвертование. А хоть бы вожатая и успела затормозить? Все равно эффекту будет больше, чем если найдут в подворотне.

Ансельм узнал об этом раньше всех в театре.

— Звери — они своего не задержат. А у людей другие правила: бей своих, чтоб чужие боялись. Нам это, заяц, на руку: чужие там, чужие тут... Нам целый мир чужбина, нам фатерланд там, где нас нет.

Над своими шуточками Мюнстер обыкновенно сам же и смеялся — зоологическим смешком. Сегодня он объявил траур.

— Когда вырван зуб, соседнему зубу с непривычки сиrotливо.

Ансельм был так потрясен, что, увидев Петра Степановича, издали кинулся к нему:

— Я ушам своим не верю!

Гайдабура с недоумением на него посмотрел, словно говоря: «Я твоим ушам тоже не верю».

— Как, вы еще ничего не знаете?

Впечатление разорвавшейся бомбы.

Вскоре в театре только об этом и говорили. Влетевшая в третью студию Валя «была в курсе». Вместо обычного приветствия она глубоко вздохнула, возведя *брови* горé, и сокрушенно покачала головой: что же это такое делается, люди.

Но — жизнь продолжается, три клавира бодро выглядывали из сумки.

— «Ворон»? — спросила она, садясь за рояль и ставя одну из тетрадей на ажурный резной пюпитр; из завитков складывалось слово «Bechstein».

— Может быть, лучше «Двойника»? Если Петр Степанович готов... Валентина Степановна, а что *вы* скажете обо всем этом?

Валя осияла Ансельма волшебными лучами своих глаз — по-другому, чем Паня (невольных сравнений здесь не избежать).

— Это была натура художественная, человек, далекий от политики. Когда, не дай Бог, убивают военного, оно, по крайней мере, логично. А тут что, бессмысленная жестокость, такая же дикость, как разрушение лавры. И потом, убить безоружного — гадко.

Петр Степанович отводил взгляд от Вали, как от раны.

— Вы не представляете себе, Валентина Степановна, что значит для меня театр, — сказал Ансельм, — тот же храм. Драматургия — та же литургия. Это принцип Байрейта. Особа жреца священна. На него дерзнет подняться лишь рука святотатца... Поэтому я пребываю сейчас в архаическом ужасе. *Tempor antiquus...* И все же... Вот вы сказали, что, вопреки логике, жертвой стал жрец Мельпомены, а не слугитель другого бога. Это, по крайней мере, спасет от репрессалий множество ни в чем не повинных людей. Утешение слабое, но утешение всегда слабое, сильных не бывает. Или я не прав?

Ансельм был прав: таких последствий, как ноябрьский теракт в «Шато де флер», убийство Лозинина не повлекло за собой. В конце концов, он не имел никакого отношения к армии, даже не был арийцем. Но на допросы тягать — тягали. И панихиду по нем во Владимирском соборе отслужил сам владыка Алексий. А перед тем в театре была дана панихида в лучших традициях гражданской скорби, по церемониалу советского времени: с почетным караулом, покачивающимся по углам гроба (только без красных в черную каемочку повязок на рукавах), с речами, стилистический анахронизм которых был чреват опасными оговорками, с незыблемой, как сама смерть, музыкальной программой. Но о похоронах чуть дальше. Сперва о неприятном — о том, как *тягали*.

Они разместились в нескольких студиях и за два дня допросили всех в театре, от орловского мужика из слесарной до потомственного Гошкевича. Это был пук следователей, русских, под началом немца, по-русски говорившего — а главное, понимавшего — приблизительно, как Майнцер. Допрашивали по формуле «драй ин айнц»: что вы думаете? кого подозреваете? когда в последний раз видели? И включали свой внутренний детектор лжи.

Выйти на след ничего не стоило. Слесарь еще помнил, как врезал новый замок в третьей студии, а все равно вышло по-ейному: Монстир-то, енерал, распорядился ключик выдать — уж как Лозинин орал.

Сам Мюнстер в связи с этим тоже мог поведать немало интересного, mit pikanter Soße par excellence. Оказывается, после той пикантной истории герр интендант следил за герром камер-зенгером, что последнего, по словам его корепетиторин фрау Лиходеевой, страшно напугало. У герра Гайдабуры репутация человека неблагонадежного, его даже прозвали «минером».

О том, что покойный был горячий мужчина, знали — и охотно сей пламень обсуждали — две кариатиды. Галина Павловна не раз слыхала от Полины Петровны: «Мой-то сухостоем горит, а она ни за что. Нет чтоб жар больного сердца остудить». Такое упорство обе объясняли совместными Валечкиными выступлениями с бывшим «заслуженным» Петро Гайдабурой, тоже интересным мужчиной.

Вне стен театра по наводке дворничихи был найден и допрошен владелец ландо с автобусными сиденьями. Уж он-то прекрасно помнил, что, сойдя на Мокром, его благородие расплатился не сразу, сперва переговорил с одной мадамой, которую при okazji можно опознать...

Оставалось только этот «пузель» сложить, и в целом картина становилась — скажем так — спасительной для Дарьи Свиридовны. В метрополии она бы уже давно гуляла на свободе (это такой садик в Берлине), предоставив следователям мучиться и биться с теми, кто по праву мог гордиться содеянным, в отличие от нее. Но окраина рейха проявляла чудовищную несознательность. Не в пример законопослушному племени алеманов, для которых сообщать обо всем вахтмистру почти так же сладостно, как и умереть за отчизну, Украина не понимала своей пользы: того, что помогать полиции — в интересах каждого здравомыслящего человека. Здесь все были как те три обезьяны-инвалида: слепы, глухи и немые. (Вот кабы по советскому образцу немцы создали сеть сексотов... Тоже не понимают своей выгоды, не понимают, что это не Германия, край добровольных блюстителей порядка. На по-

мощь местного населения можно полагаться только в одном случае: когда отлавливают — известно кого.)

Так Кариатида Петровна орошала слезами платочек, но показания давала самые платонические: ни намек на гипотетические сцены между Лозининым и отвергавшей его Лиходеевой — столь горячившие ее воображение.

Извозчик припоминал: да, отвез пана начальника... задумался... навроде как к больнице. А дальше чего? А дальше все, дальше повез в Липки их германское благородие с какой-то дивчиной. Потом еще возил фрау с собакой — вот такая здоровая сука была, немецкой породы.

Слесарь — уроженец Орловщины — на все вопросы ту-по хлопал глазами: «Ентиндант Лозинин... тово... енерал Монстир... тово...»

А может, мы не правы? Мюнстер — и тевтон, и протестант, и зверь. Тем не менее человеческое, слишком человеческое поведение его на встрече с работниками гестапо заставляет задуматься: не пристрастны ли мы к немцам? Люди как люди, ничем не лучше других, просто в процессе решения своего квартирного вопроса, который у них зовется ученым словом «лебенсraum», им постоянно приходится решать поставленные перед ними сверхчеловеческие задачи. В разговоре с высоким гестаповским гостем, происходившим за закрытыми дверями его гээмдэшного кабинета, Мюнстер вел себя как последний скряга: ничем не поделился и все съел сам.

— Прикажете давать им пищу для размышления? Не в коня корм. И я, матушка, знаете, не Отелло. Мюнстер сделал свое дело, Мюнстер может удалиться... гы-ы... у нас так заведено. Это пусть другие от ревности бесятся. Следят, вынюхивают. Сугубо между нами: с Иваном Борисовичем совсем не так уж и ясно...

Она замерла — разговор происходил вечером того же дня на квартире у Мюнстера. Егор Яковлевич легонько оттягивал большими пальцами подтяжки, серебристые, плетеные, точь-в-точь как погоны. И отпускал. Резинка с дразнящим звуком щелкала его по животу. Отвратителен. Теленочек о двух матках. Пивко посасывает. Из глиняной баварской кружки — в виде казацкой головы с чубатой крышечкой.

Валя поставила рюмку кагора на стол: не могла — до того отвратителен.

— Похоже, что он сам себя застрелил. С дальним прицелом... гы-гы... В духе Достоевского. Сам и записку писал. А раздели случайные прохожие. Вот такие пироги, моя милая.

У Вали сердце забилося тридцать вторыми долями такта: она ни при чем! Самоубийство! Однако... до чего они еще докопаются? У сердца есть такая особенность: колотиться и от радости, и от страха. Последние его слова: «Ты теперь во власти...» ну, этих, подпольщиков. А раньше, можно подумать, не была? В их власти каждый, они присваивают ее себе. Да и что ей оставалось? Действительно: что — ей — оставалось? Если так спросить — с вызовом, то помогает. Хотела бы она знать другое: что с Петей? Петю как подменили, нос от нее воротит. Такого еще не бывало. Уж какой подкаблучник. За одну ночь разонравилась?

— Тогда почему всех тягают на допросы? Такие умные, а не понимают, что никто им ничего не скажет, правый, виноватый — все будут запираяться. Это как есть деньги, нет денег — дверь у каждого на крюке. Лучше бы сразу за явили: застрелился — и не трепали бы людям нервы.

— А люди тут же обрадуются и решат, что из-за немцев... гы-гы-гы! Нет уж, позвольте. Пусть одной невинной жертвой на нашей стороне будет больше. Зачем же у пропаганды хлеб отнимать. Пышные похороны, море слез. Еще и с румыном-консулом побеседуют.

— ?

— Он психиатр по образованию. Иван Борисович с ним компанию водил. Возможно, внесет ясность.

«Не внесет, — успокаивала себя Валя. — Ничего он не знает. А и знает — не скажет».

Неверно. Доктору было что порассказать о своем пациенте: в «дочки-матери» втроем, и все такое прочее. Но — что правда, то правда — он свято хранил медицинскую тайну. Мудрость азиатов учит (но не только их — и африканцев, и европейцев, она учит без разбору представителей всех рас), что на нет и суда нет. Это трезвый взгляд, в сравнении с благоглупостями, что, дескать, мое государство — и меня же бережет (посредством неких



там своих органов, наиболее пакостных — даже по независимости от них причинам, лишь в силу их социальных функций).

Из всех опрошенных-допрошенных одна Дарья Искусница не выдержала искуса: доверилась сатане и честно влипла. Едва лишь сидевший по другую сторону стола услыхал, что она искусничала для Нестора Иберии в Тифлисе (и его окрестностях), как ее тут же и вычислили. Арифметика простая: на всех «иберийцах», от уборщицы до личного секретаря Нестора Амбросиевича, стояло чекистское клеймо.

Еще чудо, что ее отпустили, признав в Лозинине самоубийцу (одно с другим не связано). Если рассуждать в категориях чуда, то это — его посмертный подарок ей, «доктор Гаше» был только медиумом. Дарственная надпись проступила на стене камеры: «Искушенной служанке от искусителя-хозяина». Наискосок.

Духу Лозинина было отрадно зреть происходившее на его панихиде — гражданской, потому что в церковь ангелы навряд ли его пустили: это живьем пускают кого хошь, и молиться, и служить.

Зато в театре уж покойник отвел душу. Фотографический портрет с траурным бантом стоял в изголовье, но оскорбленная смертью плоть знать его не желала. Пуля избрала оральный способ снестись с нею и потому зримого следа не оставила. Необезображенный, лежал Лозинин в открытом гробу, утопая в хвое. Это напоминало декорации к третьему акту «Ивана Сусанина» — или елочный базар. Вместо поляков — соответственно, покупателей елок — кругом теснилась киевская общественность. Те же лица, что и на прогоне «Тараса Бульбы».

С некоторыми мы знакомы. Скоробогатов с женой и свояченицей, сотрудницы «Вечернего Киева», не все, но многие. Паня приметил батюшку, который ходит на все культурные мероприятия, рядом с ним — мамину подругу Яновскую, она теперь при церкви.

Украинская интеллигенция сморкалась наравне с русской. Вот несколько «прапорщиц» с платками у глаз, вот Ворковецкий... Редактор «Прапора» предусмотрителен: у него один костюм на все случаи жизни, зато чер-

ный, а Виталию Арсеньевичу пришлось бы шить по фигуре, это дорого. «Правда, в его распоряжении уголок Настасьи Флипповны, — подумала Паня. — Или это только женская мода?»

Никакая тоска-печаль (не забывают, она лично знала Лозинина), никакой страх перед мертвецом не могли унять ее любопытства. Глаза непрерывно стреляли по сторонам.

Поник рыжей шевелюрой Кавалеридзе, супруг Джорджии Аравидзе, личность заметная.

Ба, сам голова!

А вот глава киевской геронтологической школы, по совместительству шахматный гений — насупившийся, с багрово-желтыми, как мозоли, плешками вместо бровей, звать Богатырчук.

Офицеры германской армии, послы иностранных государств, горожане и горожанки. Время действия... (Пане представилась оперная программка.)

Вооруженные силы Великой Германской империи, помимо Егора Яковлевича Мюнстера и Ансельма Сергеевича Тальберга, были представлены офицером, возложившим венок от имени штадткомиссара — и не хвойный, а с дубовыми листьями, в декабре-то! Приколотый к нему имперский триколор символизировал Boden, Blut, ну и, допустим, вечную женственность, хранящуюся где-нибудь под стеклом в Веймаре. (Еще трудней ответить на вопрос, что символизировали двухцветные ленты поверх еловых лап — любовь к родной сборной?)

Пока венок возлагали, офицер стоял, вытянувшись в струнку. Левая рука обнимала за талию снятую с головы фуражку.

От Румынского королевства стоял побитый Войку и вспоминал Дарью...

Музыка вторила речам, речи дополняли музыку. У человечества с первобытных когтей за роль в обрядовом действе шла внутривидовая, внутривидовая, внутрисемейственная борьба. Почетные места на крестинах, свадьбах и поминках служили извечным яблоком раздора. В скорби есть своя иерархия, определяемая местом в похоронной процессии, правом принимать соболезнования и т.п.

Нахождение же в передних рядах гражданской скорби тем приятней, что дается отнюдь не ценой личной утраты. Если стояние в почетном карауле по углам гроба — с неподвижными, под покойника, лицами — можно приравнять, самое большее, к объявлению благодарности; если подставить подбитое ватином плечо под рождественский прах означало поработать на слабосильного дядю по расценкам тягловой силы, то произнести надгробное слово было легко всякому. Этой чести желал в первую голову тот, кто обладал, по собственному мнению, «лица общественным выражением». Выступить же над гробом Лозинина хотелось еще и вот по какой причине: предполагалось, что первым надгробное слово возьмет голова.

После шопена (здесь имя нарицательное) раздалось «мабуть... мабуть». Так, по крайней мере для ушей Мюнстера, звучала речь головы. Церемониймейстером на похоронах была Сираго — сама вдова. Мюнстер был серым кардиналом. Утверждая кандидатуру оратора, в вопросе языка он держался правила «каждой твари по паре», столь мила была идея Ноева ковчега этому убежденному другу четвероногих.

В пандам бургомистру сгодился Прусак: «А як любыв Иван Борисович образну народну мову! Хто не памятае ту його примовку: «Йшов хлопець до ялынки, потрапив у бджолынку?»»

В промежутке Петушок и Курочка Ряба исполнили «Ни слова, о друг мой» — Паня знала от мамы, что они с Петром Степановичем подготовили этот номер.

По-русски тоже выступало двое. Обращаясь к отсутствующему, Скоробогатов постарался открыть ему глаза на весь трагизм его положения отныне — совсем в духе бессмертного: «С Борисом Евгеньевичем случилось несчастье, он умер». Не преминул поведать ему и о его прошлых заслугах и как мог утешил, предрекая благодарную память в будущем.

После шумановских грез — опять же со строчной в виду покойника — заговорил мужчина, которого Паня никогда до того не видела. Похож на ее преподавателя литературы ужасно, она даже подумала в первую секунду, не Лаврентий ли это Германович (а это был Радлов).

Паня слушала и грезилась Парижем. Парижская общественность на днях прощалась с одним из верных своих сыновей, видным политиком, бывшим депутатом Национального собрания, тоже сраженным безжалостной рукой. Это он слышал в кабинете польского посла громкий голос: «Франция будет обесчещена». Небось лежал среди венков и лент в фойе парижской «Гранд-Опера». Профилем в потолок. Работая в газете, трудно не быть в курсе мировых событий.

Паня посмотрела на своего заграничного Ансельма — подзарядила батарейку внутреннего слуха: чтоб острее различить парижскую ноту в грезах Шумана.

Из оперы в храм гроб медленно везли на грузовике, опустив борта кузова. «Жалобна процессия» с венками потянулась по Большой Владимирской. Скоробогатов не поспевал, но шел следом, не сдавался. Настроение было боевое.

— Ну, что я говорил? Знаменье времени. — Он привычно справлялся с одышкой. — К ним не обратились. Ты за «Прапором» наблюдала во время моей речи?

Если лозининскую душу в храм не пустят ангелы, то нас туда не пустят черти. И не надо, пусть сами там и молятся. Служба как служба, унылый гул под свежоотреставрированными сводами:

— Со святыми упокой...

Это Лозинина-то.

Валя не могла успокоиться, как ни уговаривала себя, что все позади. Ничего не позади! Кожей чувствовала опасность — что черные снежные тучи сгущаются, что черные снежные бури только предстоят. Там внизу ревет и стонет Днепр широкий, вздуваясь тяжелыми волнами. Чужден он с провалившимися, как нос сифилитика, мостами. Еще бы, когда лучший венеролог махнул в Москву, презрев своих земляков. Мало того, высмеяв на прощанье — чтоб маялись от неразделенной любви, которой их же и заразил. Кому сказать: богооставленный Киев...

Во мгле, сырой и зимней, татем подкрадывалось Рождество по бесовскому стилю. Все больше превращался Мюнстер в одного из героев картины Кукрыниксов «Конец». (О разводе с читателем по причине убежавшего мо-

лока, сиречь анахронизма, мы уже писали, не будем повторяться.)

Ангел страха грузно спустился ему на грудь — огромный, во все небо, с крыльями, пригнетенными к матери-сырой земле. Еще несколько ночей, и приговор будет приведен в исполнение. При свете люстр, во фраке, в лакированных туфлях взойдет Георгий Яковлевич на капитанский мостик Девятой — некоронованного гимна Европы, имея на борту две сотни душ: певчих и оркестр. Потребуется чудо, чтоб в адажио симфония не дала течь, в престо просто не раскололась и под вопли хора не затонула в финале, но благополучно, приветствуемая аплодисментами встречающих, пристала к берегу.

Крылья обладают свойством расти, в частности — вращать в землю. Предчувствие неизбежной катастрофы при невозможности или даже нежелании ее пережить передается окружающим — не только непосредственным участникам грандиозного заплыва, но и всему театру, бери шире — всему театру военных действий. «Быть или не быть» одной из армий — вот в чем вопрос. Уж полночь близится, и цирковой капельмейстер знает: нет ему спасения.

Когда за день до светопреставления Валя пришла в театр, то на вахте ее дождалось казенное письмо. Дрожащими, по обыкновению, пальцами она надорвала плотный коричневый конверт. Внутри был «зондераусвайс» и к нему под скрепку прижался плацкартный билет: Kiew — Berlin (via Warschau).

Такой же конверт лежал на имя Петра Степановича.

— Вот Паня обрадуется, — сказала Валя Гайдабуре. — А ты не рад, Петушок? У тебя что, семейные сложности? Да что с тобой, наконец? Ты на себя не похож.

Петр Степанович посмотрел на Валу и ничего не сказал, отвернулся.

— Не понимаю, дуешься?

— Я... — Он быстро посмотрел по сторонам: налево, направо — как перебежал через довоенный Крещатик. — Я... — понизил голос до нулевой температуры. — Я знаю, с кем ты на Мокром встречалась... Я, дурак, за тобой следил. Прости меня.

У Вали на глазах выступили слезы.

## XXVIII

Петя! Любит... Одной из аксиом, на которых зиждился Валечкин мир, было совершенно очевидное... настолько очевидное, что излишне об этом и говорить, но когда не понимают...

Любовь это еще один мужской половой признак. Вторичный, если стоять на марксистских позициях. Поэтому любят мужчины — женщины платят дань признательности, то бишь отвечают взаимностью. А то и просто «снисходят». (К вопросу о том, как быть любимой на шара.) Для таких есть короткое словцо, которым их поминают почему-то только в сердцах: считается, что не по делу.

Еще как по делу! Лишь мужским чувством жива женщина. Особенно красивая. Даром что среди смазливых мордашек безбилетниц — каждая вторая. И ведь чем ты красивей, тем больше зависишь от успеха у мужчин — это Валя знала по себе. Взять того же Мюнстера (пытка Мюнстером предстояла ей и сегодня), почему он не мужчина, почему с ним так мерзко? По каким-то там своим, думаете... Да потому что красота и женственность ему нужны как козлу молоко («молоко любви», которого у немок отродясь не бывало», — этим Валя утешалась в своей нищете, в своем бесправии). Паяц! Смейся сколько угодно над разбитой любовью — врешь. Либо любят, либо паясничают. Поэтому паяц не мужчина.

И замечь, Мюнстер никогда не признается в своих чувствах: что взволнован, что элементарно боится. Будет придуриваться до последнего, строить из себя шута горохового. А *шут гороховый* — это оскорбительно для женщины. Которая настоящая женщина, та, конечно, до поры до времени будет проглатывать любые оскорбления, на то она и настоящая. Но забыть — этого она вам не забудет никогда. И никогда не простит.

Наступило двадцать пятое. У Пани над кроватью висел «табел-календарь» со всеми праздниками: Риздво Христове, Стритення, Благовищення, Велькдень, Перше травня, Вознесення Господне, День св. Троици, Духив день, Спас, Успиння Пресвятой Богородици, Риздво Пресвятой Богородици, Воздвиження чесного Хреста Господня, По-

кров, Введения в храм Пресвятой Богородици. У червоночорных визерунках Андриевска церква та памятник Володимиру. В 1942 року двадцять п'яте грудня випадало на п'ятницю — приче́м от Гималаев и до платоновского котлована, от Арктики и до южных морей: всюду п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця... всюду, где живут люди. А следовательно, и в Киеве.

Вечером в театре планировалось что-то важное. Это было ясно любому и каждому — по яростной очистке площади от ледяного наста, по выставленным у всех дверей автоматчикам. Подъезды к опере были перегорожены грузовиками и бронемашинами. На прилегающих к театру улицах, помимо хлопцев в форме, блюло порядок и множество личностей бесформенных — весьма опасных для нарушителей. Число же последних, строго говоря, равнялось числу жителей города.

Куда меньше людей знало другое: несмотря на экстренные меры, вернее, благодаря им — дабы продемонстрировать их бесполезность, планировалось фашистский праздник сорвать. Способ имелся. А что за ценой не постоим, так ведь мы — коммунисты, при коммунизме все равно все будет бесплатно. Нам не жалко, потому мы и непобедимы.

И лишь трое знало: нынче в Киеве в глубокой тайне перед аналоем будет произнесено: «Венчается раб Божий Аггеларий рабе Божией Стефаниде...»

Еще накануне Вале поведала гадалка — с лицом Яновской — что́ день грядущий ей готовит. Стоило примерить эту комическую строку на себя, как сразу перестало быть смешно. Ощущение смертельной банальности сменилось ощущением предсмертной глубины: и самому бывалому лабуху грозит однажды разрыдаться под арию Ленского.

Мюнстер рождественский сочельник провел с Ансельмом. Они отправились в Купеческое собрание, где, словно в старые времена, стояла елка; где пелось со слезами в голосе «*Alle Jahre wieder*» и пилось со слезами на глазах за то, чтобы следующее Рождество встречать дома. Так сидели они на реке Днепр и плакали — каждый о своем городишке.

...Где на стенах взошло множество вифлеемских звезд из разноцветной фольги.

Огромную, до потолка, елку тоже венчала звезда — о, ужас! — красного цвета. Администратор, когда посыпались шуточки, перепугался насмерть. В отличие от Вали, он не знал, что день грядущий ему готовит, и надеялся на лучшее. Обидно было бы из-за какой-то глупости... Но его успокоили: «Вы что, шуток не понимаете?»

На сей раз в «Купчихе» обошлось без обмороков.

Валя вернулась домой «до первой звезды». Редчайший случай: заповедь комендантского часа была ею соблюдена. Она устала — она вообще устала, но сегодня можно было отдалиться этому чувству без оглядки. Ей едва удалось остудить воспоминания о пережитом, как Петя... со своими разоблачениями. Зато любит! Думает: подвиг. Просит прощения за то, что не достоин ее.

Она вспоминала об этом в трамвае. А на коленях сумка, а в сумке коричневый конверт, а в конверте том повесть о двух городах, больше, о трех: Kiew — Berlin (via Warschau). «Я это заслужила», — скажет она Пане.

И не сказала, даже поздороваться и то забыла — при виде Яновской.

— Не ждала? А я мимоходом. Дай, думаю, на огонек. Красавица твоя: нет, говорит, мамы так рано не бывает.

— Я думала...

— Оправдываться, знаешь, где будешь? — перебила Паню Яновская. — Уж тебе стыдно, с солдатом ходишь и не знаешь, что сегодня Рождество по-ихнему. Я ей: шабаш, говорю, сегодня у немцев, в театре пусто, увидишь, мать вот-вот будет. Ну, кто прав, кто виноват?

Пане было неприятно: Яновская уже несколько раз заговаривала об Ансельме, а тут при маме. Ну, как ремешком по голому телу.

— Тетя Рая...

— Я уже сорок тетя Рая.

А как Вале это было неприятно.

— Все чистая правда, — сказала она. — Сегодня у немцев «хайлигер абенд». Ну, а раз у них — то и у нас.

— Валь, я ведь проститься, если правду. Только тебя все нет, а мне пора. Еще на Подол надо слетать, — и нагло подмигнула. — Не посадишь меня на трамвай?

— А ты чего, Ян, уезжать надумала?



— Непокойно здесь, в деревне отсижусь.

— Я мигом, — сказала мама Пани, и Паня, как маленькая, обрадовалась: давно она этого не слыхала — от мамы: «я мигом».

— Ты чего, серьезно? — спросила Валя вполголоса, обдавая Яновскую в темноте зимним паром.

— Да нет, это для твоей красавицы. Пусть думает. На всякий случай.

— Не понимаю... — Неправда, уже все поняла. У Вали ум легкий, скоростной, маленький. На мелководе, на коротких дистанциях незаменим.

— Сейчас все поймешь. Спрячь.

Это был завернутый в тряпку предмет, страшной которого, ненавистней которого, противоестественней которого нет ничего на свете.

— Тот же самый. Завтра из него в Ансельми. Понятно? Кроме тебя некому. Кто говорил, что его хорошо знает. Уж не сомневаюсь, у немцев губа не дура. Дивчину твою тут же переправят в надежное место — крест святой. Сумеешь — беги, нет — смоешь кровью... Что товарищ Волк мне приказал, то я и передаю. Он вообще хотел твою Паню заложницей взять. Скажи мне спасибо, поручилась за тебя. «Ладно, — говорит, — у нас руки длинные, если что — доберемся». Тебе судьба такая: быть в эту войну героиней. Некому кроме тебя.

Что — ей — оставалось?

— Да, все хотела спросить: он у тебя тогда сам стрелялся? Под гипнозом, что ли?

...Валечка стояла, не чувствуя мороза, ничего больше не слыша, не замечая, что Яновской и след простыл. Специально — накануне сказали, чтоб опомниться не успела. Могли б, сказали за час. Так и надо: с размаху, не давая опомниться. Сказано — сделано. «Обдуманно» — лишнее здесь. В девяноста случаях из ста обдумывают запасной вариант. А тут уже подумали за тебя. Соппротивление бесполезно. (И что ты к этому выводу придешь — тоже про считали.)

Валя вернулась и впрямь мигом и незамедлительно — мигрень — легла лицом к стене. Но для Пани, с ее радостями скупого рыцаря, даже сознания, что мама под боком,

а не где-то, было довольно. Большого даже не требовалось. Ангельская внешность притупляет вкус ко всем видам обладания.

Паня еще какое-то время помечтала — вопреки совету Февра, без карандаша в руке — и тоже уснула. Ранняя пташка. К тому же завтрашний день требовал много сил. «Что день грядущий мне готовит?» — пело сердце в таком вопиющем мажоре, за которым возможен только сон... не знающий стыда сон...

В мире ниспосланных нам испытаний замечательно то, что сознание не переходит за грань сна, наркоза — вероятно, следует сказать, и так далее... ладно, за ту последнюю грань, по преступлении которой осознать тебя дано лишь другим. Даже не то, что не переходит — не дотягивается. Искушенный в бессоннице Лозинин — счастливчик. Нам бы позволено было вот так, с глотком пули, шутя, уйти из жизни! Нет, нам — заповедано. Невольники во всем, мы должны сперва мучиться, черпая силы в последней покорности без тебя тебя создавшему. Что ж, значит, почерпнем. Что — тебе — остается?

А наутро Паня сиротливо (для невесты) собиралась — тихонько, чтоб не разбудить маму. Так-то настроение было хоть куда, просто никто не голосил ей вослед — отправлявшейся тайно под венец.

Она с удивлением обнаружила, что мама спала не раздеваясь. «Свалилась, не хватило даже сил раздеться». Улыбнулась. Интересно, а можно в верхней одежде? Или это неприлично — венчаться в пальто? Не хотелось с утра выражаться: начнутся расспросы, подковырки. Язвы такие, что только держись. Особенно Ансельм покоя им не дает. И платья жаль: просидев день в редакции, мудрено не перемазаться и не насажать пятен.

Она все упаковала и ушла с узелком, как будто съезжала.

— С манатками-то чего, а, Пань?

«Цикавая». Славка Нечипуренко поджидала ее у булочной, с недавнего времени ставшей ателье мод «Шикь модернь» (и буквы как на старинных почтовых карточках). А в простенках нарисованы дама в широкополой шляпе с тремя тонкими длинными перьями, опускавши-

мися книзу, и мужчина в цилиндре, с закрученными усами. Оба изображения подверглись обстрелу снежками, оставившими на них оледенелые следы.

— А это маме кабанчика из деревни прислали, хочу наших угостить.

— А-а... У нас в «Прапоре» кто ж тебя пригостит... Ну, приятного аппетита.

Поднявшись, как всегда первая, Паня спрятала узелок под свой стул, обернув для неприметности в старую газету. Кому придет в голову, что там ее подвенечное платье?

Европа казнит на рассвете по соображениям какой-то нравственной энергетики, гигиены, требующей утренней свежести для всех участников этого нечестивейшего из нечестий. Если б вгоняли казнимых в смерть как в сон — с вечера, то на вопрос, бодрствуют ли осужденные в «ночь перед Рождеством», можно было бы ответить: они под утро сваливаются, не имея даже сил раздеться. В последний раз природа берет «свое», перед тем как это «ее» у нее отнимут.

Валя открыла глаза. Часы!.. Без двадцати пяти одиннадцать. Вспомнила все — включая и перепробованные в уме комбинации: одну, другую... десятую... Если для черных укрыть Паню еще куда ни шло, то белым ни при каких обстоятельствах доверять ее нельзя. НИ ПРИ КАКИХ. Белые чернее черных. Единственное решение этюда — пожертвовать ферзем ради спасения короля, поскольку обратное, спасти ферзя ценою жизни короля, не допускалось правилами игры.

Чувство — как в день предстоящего вечером выступления, коих на Валечкином веку было немало, еще с детских пор. Артистическое волнение, сценическая лихорадка, мандраж — то, что германский гений, несравненный в своей организованности, обозначает одним-единственным словом, знакомым также с детских пор: «лямпенфибр», — и все это сгонялось в одно место, хоть под лай собак, хоть под крики автоматчиков, и окружалось колючей проволокой. А внешнему миру строго-настрого наказывалось: никаких контактов! Не то: та-та-та-там! Жизнь

продолжается, все идет своим чередом. Разводится огонь в плите, ставится вода. Пани нет, некому на голову полить. Ничего, сами с усами. Она возвращается после пяти, так что еще увидимся. В запасе будет целый час — Гейнц явится только в половине седьмого.

Пусть ярким факелом грудь у меня горит,  
Пусть опалит взгляд заснеженные нивы,  
Пусть поясом могил мой будет стан обвит.  
В кровосмешении и смерти стать красивой  
Хочу я для того, кто должен быть убит.

Чем не подпись под картинкой с изображением Валиных сборов?

(Пройдет четверть века, прежде чем положенное на музыку это прозвучит в зале бывш. Купеческого собрания. И попасть на концерт будет трудней, чем верблюду пролезть в игольное ушко. Петр Степанович — лицо терракотовое, оправленное в серебро, тупые углы с годами окончательно затупились, став еще респектабельней, — Петр Степанович навряд ли сообразил, от чьего имени это могло петься, даже красное концертное платье певицы не навело... Сегодня они вдвоем, баритон и сопрано, будут рупором неслыханной демонстрации. Накрахмаленной грудью держа оборону, он пропоет в недышащий от восторга зал: «Ты Варава страшнее в сто раз, с Вельзевулом живешь по соседству... — и дальше по возрастающей, — знай, свой шабаш ты справишь без нас!» Киевская премьера Четырнадцатой Шостаковича. Назад!.. Назад!.. В другое царство!..)

Может быть, впервые Валечка собиралась без спешки, осознанно входя во все подробности туалета. Обыкновенно это делалось на ходу, на лету — даже невозможно передать, каким видом транспорта, поскольку безвоздушному пространству нет соответствия во времени. Теперь не то: взгляд сросся с зеркалом. Вся в алом, по-вечернему накрашенная, благоухавшая львовскими духами «Вус тозе», она не могла оторвать от себя глаз. Потом спохватилась: а что как Паня застанет ее с браунингом в руке? Поскорее спрятала его в сумочку. Такими сумочками, в чешуе ракушек, на черноморских курортах промышляли кустари.

Позднее такие же в Центральном универмаге именовались «театральный ридикуль “Нептун”».

Но ни в пять, ни в полшестого, ни в шесть Паня не появилась. Огонь сбивают огнем: новый страх оттеснил уже бушевавший, ничего, сейчас они сольются. У Вали перед игрой всегда дрожали пальцы. Когда еще Феодора Гореславовна подарила ей вязанные перчатки, сказав, что это — из особой тибетской шерсти. Если надеть их за несколько часов перед выступлением — помогает. Они так и хранились: как талисман, как тибетское средство унять дрожь. А еще от волнения ладони стыли, делаясь влажными, хотелось тепла... Сейчас, вот только запечется лак.

Надежды увидеть Панечку не оставалось: Гейнц был услужлив, пунктуален, неумолим — воплощенное немецкое воинство, с пузом в пол земного шара. И даже поэтичен: вот-вот раздастся клопфшток в дверь.

Она все поняла! «Святой крест» Яновской в действии: Панечка надежно укрыта. Эти укрываться умеют, целый город спалили. Может, оно и к лучшему... но что «оно»? Что не пришла Паня? Что спалили целый город? Или еще что-то...

Перебило ход мысли знакомое четырехкратное «та-та-та-там!» — так судьба стучится в дверь. (Ритмическая фигура мотива, благодаря «Веселым ребятам» известного всей стране: на конвульсии оркестра под управлением пастуха зал отвечал конвульсиями смеха.) «So klopft das Schicksal an der Tür», — было сказано предком Гейнца, тоже небось с одними неумолимым, с другими услужливым и одинаково пунктуальным — со всеми.

— Та-та-та-там!

Валя накинула шубейку. При свете ночи линялый кролик поверх вечернего платья преобразился в драгоценные меха. На дом свой она даже не оглянулась — еще, возможно, и потому, что высматривала в темноте Паню. Все такое привычное: машина, дорога, перерезанный складкою затылок шофера. Пора отвыкать.

В генерал-музик-директорской квартире был в полном разгаре сеанс черной магии. К Валечкиному приходу Мюнстер, вероятно, уже достиг высшей ступени мистического прозрения: уставившись в разверстую пасть кар-

манной партитуры, он совершенно явственно видел в ней фигу. Созерцание оной сопровождалось полнейшим столбняком.

А время между тем продолжало бесчувственно себя пожирать, публичная казнь через выступление неотвратимо близилась. Ну, что там еще? За ним пришли?

— Дядя Юра, очнись. Здравствуйте, Валентина Степановна.

Ансельм бросился снимать с нее кроличью шкурку.

— Какое платье! Вы им всех убьете.

«Им»...

Это не была прежняя Валя. Где влажный русский взгляд, ну страшно теплый — так от свечи туманится стекло, за которым метет не одно уже тысячелетие. Сегодня он был отрешен, огромен — как на иконах. В нем торжество Страшного суда. Грядет минута, когда под вопли хора и грохот литавр, в полном звуковом хаосе цирковой капельмейстер провалится в тартарары. Он предвидел это, капитан доблестных вооруженных сил великогерманской империи Георг Мюнстер.

Его племянник, наоборот, в Валечкином преображении ощущал близость иного торжества, ожиданием которого был переполнен. Так устроен мир: под одну и ту же песню, одного и того же Шуберта, плачут и Ансельм и Ансельми.

«Дядя Юра» очнулся, выбрал золотую цепочку из проруби фрачного кармана и скосил глаза на водонепроницаемое ведро циферблата.

— Гладиаторы, на выход, — объявил он.

Гейнц, на этой войне безмолвный статист в роли денщика, с надлежащим подобострастием помог облачиться ему в меховое пальто с неправдоподобно-пышным воротником: что твои бакенбарды. Еще недавно Жермон-отец появлялся в нем на сцене и, обливаясь потом, пел: «Ты был край милый свой, бросил ты Прованс родной...»

На Фундуклеевской машину остановили. Но тут же пропустили. Люди доверчивы в меру своей честности, а немец честен, как зверь, — результат налицо. Кого б другого еще так надули! А уж на звуки родной речи вовсе полагается как на самого себя. Одного слова Ансельма было

достаточно, не пришлось даже предъявлять партитуру Девятой и дирижерскую палочку. Если б ею можно было продирижировать сейчас «Марш Радецкого» или «Выход гладиаторов»... о, если б...

И столь же беспрепятственно, шикарно, можно сказать, вошли они в театр с директорского подъезда. В последний раз скинула Валя шкурку и навсегда обернулась Валентиной Степановной Лиходеевой, ослепительной как меч Немезиды. Затем Мюнстер удалился в камеру смертников. На прощальное Ансельмово «той-той-той» (немецкое «ни пуха ни пера») он ответил: «Звери, я любил вас, — и всхлипнул: — Гы...»

Через служебную дверь, занавешенную плюшевой портьерой, Валентина Степановна и Ансельм вышли в фойе. На том месте, где еще недавно стоял гроб, вытянулись столы — пустынным оснеженным хребтом. Яства и вина произрастут позднее, незримо для гостей, которые тем временем будут слушать — нет, еще не брукнеровские, еще бетховенские, но вполне уже с ампутированным нутром — первую часть (пятнадцать минут), вторую часть — ту же первую, только пущенную на семьдесят восемь оборотов в минуту; при звуках третьей пробежит знакомая поэмка, предвестием того, что они здесь, собственно, высиживают... и наконец долгожданный мотивчик, сперва в оркестре, на цыпочках, подхваченный хором, солистами и именуемый «Девятой Бетховена». Все счастливы: сверхчеловеческая музыка! Недолго, правда, играла. Очередная «смена деклараций» — и так до конца. Бою литавр на сцене — оглушительная артиллерийская поддержка в виде оваций. Такому произведению звон посуды в фойе что слону дробина — то же, что само оно было оглохшему автору. Пускай за стенкой носятся официанты, пускай себе гремят подносами.

Публики прибавлялось: мундиры, между которыми нет-нет да и вспыхивали разноцветные искорки платьев. Ансельм несколько раз резким движением придавал своему телу истуканью неподвижность — когда тот или иной обладатель погон оказывался ему знаком. Чтобы этого избежать, следовало поменьше глазеть по сторонам. Но когда разговор не клеится... Панечкину маму словно подме-

нили: снежная королева с неподвижным взором. Да и у самого мысли носились далеко, главная из них: как улизнуть. Взглянул на часы: до начала оставалось четверть часа — хотя без Ансельми все равно не начнут, но он явится в последнюю минуту. Музыки на час с четвертью — итого полтора, с этого момента начиная. Аплодисменты — максимум десять минут. За кулисы к дяде... Все займет ровно два часа. И делалось страшно, и сердце билось, и как в старину, как в пушкинские дали, теснило грудь.

— Дядя волнуется, — сказал он. — Лихорадка, охватывающая артиста перед выходом, мучительна. Вы тоже волнуетесь, когда выступаете?

— А как же.

— Дядя всегда шутит, но не от бесстрашия, поверьте. Это род самозащиты. Ему было от кого и от чего в жизни обороняться. Я не понимаю, отчего его здесь считают монстром. Капитан Монстр. А вы, Валентина Степановна, вы можете мне это объяснить?

Она молчала, она не слушала.

— Молчите? Скажите, не бойтесь.

— Что?.. Я не боюсь, с чего вы взяли? Я просто устала.

— В таком случае, не лучше ли нам пойти спать?

— Нет-нет.

Они стояли спиной к широкому полукружью ступеней, касаясь перил. Лицом к фойе, но и одновременно наблюдая в зеркале всходивших по лестнице — как выходивших из вод на берег — басурманских витязей. Вот отражение им по плечи, а вот уже по пояс, и все мельче и все ближе... и вдруг перед тобой выскобленные удаляющиеся затылки.

Ансельм снова нетерпеливо посмотрел на часы: без семи семь.

— Все равно без Ансельми не начнут, — повторил он вслух.

— Пока что никакого Ансельми я не вижу. А вы уверены, что он пройдет здесь?

— Абсолютно уверен. Штадткомиссар Киева, как царский министр: прошествует с парадного подъезда.

Валентина Степановна порылась в смешной своей сумочке, зачем-то вынула белый с кружевом платочек, по-



мяла в пальцах; пианистки — обезьяны без кармана, только фразного — оставляют такой платочек на черной полированной щечке справа от хохочущих клавиш: чтобы мять его в перерывах между частями сонаты.

Исполнитель — тот же Спарафучиль: что укажут, то и сыграет, никакой личной ненависти к жертве. Это со стороны кажется: раз убивает, то ненавидит.

Она раньше Ансельма уловила движение — ту поземку, что предвещает появление долгожданного мотивчика: важного лица. Царского министра, немецкого генерала... И как-то сразу все стихло, вытянулось, застыло, символически привстало на цыпочки в ожидании, пока мимо проследует короткошей, похожий на корневище человек — Лютерова замеса, сказали бы иные — в небесно-серой форме, местами залитой красным, с парой хорошеньких золотистых виньеток на красном воротнике.

Ансельми шел, ни на кого не глядя, в сопровождении адъютанта — но «не глядящие ни на кого» на самом деле всегда всех замечают. Он опередил Валентину Степановну: неожиданно сам направился к ней.

Ансельм сделал «в каблуки» и умертвил плоть своего лица. Дружелюбие генерала распространилось и на него:

— Это он занимается с певцами? Смотрите, вас ждет Берлин, мадам.

— Я не знаю, господин генерал-майор, как мне отблагодарить вас, — не знает, а у самой рука нырнула в сумочку — расплатиться.

Сейчас мы выстрелим, сейчас... бывают мгновения, вернее, зазоры между мгновениями, в которые можно впихнуть целую жизнь, не то что мимолетное рассуждение об индивидуальном терроре. Рассуждение вот какое: в отношении к теракту наглядней всего дает себя знать наша двойная бухгалтерия. Застрелить точно такого же немецкого генерала, с такими же крестами, лампасами и, вероятно, мозгами, в том же самом Киеве четверть века назад — с какой радостью мы бы выбили пистолет из рук убийцы! Теперь же мы на его стороне, теперь паркет киевской оперы обогрится желанной нам кровью. А ежели и с оговоркой, то потому лишь, что знаем: убийство Гейдриха обернулось Лидице, Доргеля — тремястами висе-

лицами, чиновника в парижском посольстве — Хрустальной ночью, Урицкого — военным коммунизмом. Но Гитлер в судорогах, с осколком в горле девятого ноября 1939 года — когда б Иоганну Эльзеру его покушение удалось, — этому зрелищу нет никаких но. Оправдаемся. «Непоследовательность души», тем паче ее «безнравственность», тут ни при чем. Убийство Гитлера было бы *политическим убийством с целью устранения*, а не игрой в политический бильярд, когда в лузу загоняется не тот шар, по которому били, — последнее практикуется сплошь и рядом.

Ансельми видел, что рука этой женщины, не иначе как в знак признательности, направляет на него пистолет — крошечный, и не различишь.

Ансельм, наш студиозус, даже удивился: Валентина Степановна подносит собеседнику зажигалку, а тот без сигары. Похоже на сон — от которого Ансельма пробудил сухой короткий выстрел. И почти одновременно, не понимая еще, что делает, он навалился всем телом на державшую пистолет руку — так что вторая пуля уже путалась где-то под ногами.

Тогда как у Ансельми из-под погона забил огненный гейзер.

Отшвырнув ногой пистолет, Ансельм большим пальцем зажал фонтанировавшую брешь в беззащитной дряблосее. Подоспела рука с платком — рука женская, востроклювая.

— Держите... скорей...

Из бисквитно-кремового платок мгновенно сделался пунцовым.

— Нет-нет, чистый не нужен... лучше с кровью... — сказал кому-то Ансельм.

Все больше рук тянулось помочь, все больше теснилось вокруг народу. Вот и первая медицинская ласточка в черных сапогах: деловито опустился на одно колено, придав себе форму свастики.

Ансельму помогли подняться, дали смоченную водой салфетку, просто дали воды. Его колотило. Усадили. И когда он немного успокоился, отдышался, а главное, отдал себе отчет в происшедшем, то в ужасе сдал голову рука-

ми — знакомый кадр, не правда ли? Немецкий солдат у разбитого корыта. Называется «Прозрение».

А что же она — террористка, партизанка, убийца, героиня (как ни называй, всяко вмастишь, этакий джокер, уже теперь отыгранный), что она, где? Ее хватились, но, не схватив сразу, задались тем же самым вопросом: что она, где?

Успев дважды выстрелить — и на том спасибо — она, никем не удерживаемая, пульей вылетела из фойе. Два выстрела — три пули, как в «Волшебном стрелке». Дверь позади плюшевой занавеси, к счастью, оставалась не запертой.

Наперегонки с сердцем застучали каблучки по тускло освещенному коридору. Площадка. Заметалась: неужели спасется? Туалет для охраны и рядом вешалка, на ней пальто. Прямо — дверь в директорский вестибюль.

Ей-богу не думала, что так будет легко! Остается пройти в тысячный раз вахту, на полицейав ноль внимания. На виду у солдат уверенно направляешься к машине. Никакой спешки — покуда не села. Гейнц вздрогнет от неожиданности — ей так явственно представились эти бесцветные рачьи глаза, круто повернутые вправо. И уж тут, пожалуйста, изобрази цейтнот: «Хайнц, шнель нах хаузе! Забыли ноты на... на...» Где они могут быть? На крышке рояля всегда что-то... «Ауф дем клави́р фергесен».

Гениально! А назад? «Мигрэ́нэ»? Нет-нет, подозрительно. У него на глазах подвернуть ногу. (Мюзетта: «Ах... нога!») Не могу ступить... По лестнице не спуститься... Поезжайте один, времени в обрез!

А самой к Янке? Врала небось про деревню. Нет, все равно к ней нельзя — к ним нельзя. Калейдоскоп лиц... на кого выпадет? Русская рулетка. Явиться к Вальке: прячь, дура! А Петушок придет... не расстреляют же их прямо в театре.

Все промелькнуло в одно мгновение — уместилось в щели между мгновениями... да, право, не снится ли ей это? Откроет глаза, а кровати пусты, в сочельник все спят по домам, одна она не спит, на чьей-то шкуре сидит, чью-то шерсть прядет, чье-то мясо варит... громко ревет Ансельми — липовая нога... все громче... все ближе...

Она присела в глубоком реверансе. Пробежало несколько человек. Должно быть, на проходную, предупредить. И на все выходы, конечно, уже дали знать. Сейчас воротятся... Нет, к Мюнстеру сунулись, думают, у него прячется. Так он тебе и спрячет... жди... («Жди, пожди да погоди, будешь королем, поди».)

В голову ломились какие-то оперные обрывки... чудовищами... голосами певцов... то с петушьей головой... а то... а вот череп, вертится на шее, повязанной пионерским галстуком... медведь с протезом... Лозинин хватает длинный нож... О, не видь сих страшных снов!

Да нет, что она, не знала, что день грядущий ей готовит? Теперь не до жиру. Главное, живой чтоб не взяли, чтоб не в «Берлин». Может, попробовать во двор?

Ошибалась: у Мюнстера ее никак не рассчитывали найти. Зато Мюнстер решил, что его приглашают на эшафот (была книжка с похожим названием). Так скоро! То ли дело в демократических странах, там людей держат в камере смертников по целым десятилетиям. А на правах подручного палача адъютант Ансельми... гы-ы! А фон Браухич в роли директора тюрьмы, что ли?

— Свершено покушение на штатткомиссара. — Голос, мимика, взгляд лишь в малой степени передавали чувства этого профессионального убийцы в двадцать пятом поколении. Но чего полуторабровый полковник не скрывал, так это своего восхищения племянником Мюнстера.

— Жена говорит, не окажись он рядом, штатткомиссара бы уже не было в живых.

— Значит, концерт все же состоится?

— Какой концерт, дорогой мой! Генерал-майор чуть не истек кровью. Уже связались с Доргелем, можете не сомневаться, сейчас мы им покажем. И знаете, кто стрелял? — Глаза фон Браухича ядовито сощурились. — Ваша пианистка.

— Пианистка? — прошептал Мюнстер.

В том, что *сейчас они им покажут*, никто не сомневался. «Им» — это нам. Озлившись, пришлое чудовище разинуло пасть: кого хочет — того проглотит, сколько хочет — столько проглотит. И нет спасения от его хотения. Ему любо, чтоб полгорода болталось.

Голова, помня про голову предыдущего и ни от чего не зарекаясь, прямо в театре развил бешеную деятельность по своему спасению. Он лично принял на себя командование взводом полицейских, демонстративно наорав на дядьку ихнего в присутствии подчиненных (утерся дяденька: когда такое случается, в СС жаловаться не побежишь).

А владыка Алексей, как только весть об ужасном злодеянии достигла его святых ушей, распорядился отслужить во всех храмах молебен за здоровье германского военачальника.

Спасались кто как мог — порой спасая других, не обязательно топя. И кляня, кляня, кляня стрелявшую. Ей, что ли, отмщение? Сколько по ее милости людей замучают! Она же в них стреляла!

«Во двор...» — а вместо этого, держа в руке туфли, Лиходеева поднималась по лестнице, останавливаясь, прислушиваясь, и в зависимости от того, что слышала, либо бежала, либо кралась. Под одной ступенькой (она точно помнила, под какой) прижимавший дорожку металлический прут отошел. Выдернула его из кольца и с этим первобытным орудием — труда? войны? все равно не угадаете — поспешила в заветное свое убежище.

Третья студия была рядом. Упала на диван... но быстро встала и заложила ручку двери ножкой стула. Как бы включила сигнализацию. Прошлась по комнате, легонько постучав железной тростью по китайской вазе — а могла бы и разбить (то же, что напоследок поехать «против движения»). Вместо этого бережно высыпала в нее содержимое своей сумочки: часики, губной карандаш, пудреницу, почти пустой флакончик «Быть может». Сама сумочка не пролезала, у вазы горлышко было как у динозавра — узенькое, змеиное, по сравнению со вздувшейся утробой, разрисованной снаружи картинками сказочного огнедышащего мезозоя.

Затем стала смотреть в окно. То есть на себя в черном стекле, уже нереальную, призрачную, в вихре живых настоящих снежинок. Когда они входили в театр, снег не шел. Теперь мело. Два высоких окна с двойными законопаченными на зиму рамами и фигурными шпингалетами,

весьма условно воспроизведившими безголовую Нику, выходили во двор — там, поверженный навзничь, лежал истукан — еще недавно он пересчитывал пальцем прохожих, нынче переключился на звезды.

Страха не было, ничего не было. Совершенно не было Пани: она еще не родилась. Паня была еще *им*. Он тоже: последнее, что видел перед собою, это окно. Послышался лай чужой речи. Не дожидаясь, когда установленная ею сигнализация сработает, Валентина Степановна пронзила медным прутом свое отражение.

Составила компанию истукану во дворе, да и только! Что это меняет для них, поющих-играющих? Их тоже могут расстрелять на месте. Могут вывести и расстрелять. Могут и вовсе не расстреливать — а повесить на Думской, как это было после взрыва в «Шато де флер». Почему нет? — с истерическим смешком. Все могут! Все! — совершенно уж в телячьем восторге.

Только бы вернуться домой — это предел мечтаний для оркестрантов и хористов. Все ушло в страх — а еще в острейшее чувство жалости: к Ване, Мане, Сане, Ане... У, Лиходеева!

У Прусака от ярости лицо перекручено чулком. Когда он ворвался к Петру Степановичу, тот еще ничего не знал, и первой мыслью его было: началось... Представились конники Буденного, ворошиловские стрелки, сталинские соколы, сметающие на своем пути гитлеров-освободителей.

Прусак повис на шелку его лацканов.

— Доигрались! Мало вам Киева! Мало вам лавры! Мало вам крови! Берите! До последней капли!

Он кричал по-русски. Он шипел, сипел, лопался с отчаяния и шел новыми и новыми пузырями, словно брошенный на сковороду. Русский был для него языком пыточной камеры, тогда как украинский — песнью небесной. А блаженство, в отличие от страдания, процесс осознанный.

По этой же причине с Гайдабурой вышло наоборот. Понимание сопровождалось отслоением казалось бы уже навсегда присохшего русского речевого грима. Как под

облупившейся штукатуркой проступало то, что в человеке, покуда он жив, истреблению не подлежит, то единственное, что есть в нас богоподобного: слово, которое было вначале.

— Нет... как... невозможно... стрибнула та розбилася... Валю! Шо ж ты наробыла... любов моя! Доку ж вони будут лютовати! У моему доми! Уууу...

## XXIX

— Ну, последние дни, можно сказать, доживаем. Там будет совсем иной коленкор. Ты чего, Панюша?

— А мне жалко, — сказала Паня. — Сколько времени сюда ходили. И вид какой из окна открывается. Я люблю, когда высоко, обзор больше, интересней.

— А воду таскать тоже любишь? — спросил кто-то, не больно-то к Пане расположенный.

Она промолчала, чего с ними говорить. Ей действительно было немножко грустно: начинать новую жизнь на новом месте. И из окна не высунешься, вниз не посмотришь. Она привыкла к крышам, к синей в золотую звездочку фиге Макара Скот... «Молчи!» — испуганно перебила сама себя, словно мысли ее читались. «Молчи, скрывайся и тай».

Она как раз перепечатала заметку «Сердце в опасности»: «“Herz in Gefahr”». Венгерский фильм по сценарию Иштвана Сценпали. Молодая жена пожилого мужа случайно во время грозы попадает в рабочий домик знаменитого пианиста-композитора. Вспыхнувшая страсть в конце концов побеждает чувство долга, в чем героине усиленно помогает ее падчерица и сыщик ревнивого мужа. Отметим игру молодой Валерии Хидвеги. Хороши снимки грозы». *||снимки — так||*

— Панечка, что-то вы сегодня как в воду опущенная.

— Это вам кажется, Виталий Арсеньевич.

— На Банковскую переезжать не хочет. Знакомые у нас здесь, у церкви встречаться близко. А там новыми обзаводиться — хлопотно.

Это было прямое свинство. Скоробогатов покачал головой и ушел к себе. Рывками. Вступись он, ее же в глупое положение бы поставил.

Паня, чтобы сдержаться (здесь лучший отпор — сдержанность), принялась крутить полученную от Февра почтовую карточку: «Вид Одессы в лунную ночь» по картине Айвазовского. Пришла открытка на имя Виталия Арсеньевича. Николай Николаевич писал, что «днями» отбывает из «гостеприимной Одессы в суровую Тавриду», а оттуда «в Вечный город Берлин, где бьется сердце нашего дела». Как хочешь, так и понимай.

Сперва Скоробогатов внимательно прочел открытку про себя, потом дважды сделал это вслух: зачитал двум Филипповнам и позднее в их же присутствии — чете Богатырчук, а в довершение еще отнес в редакцию, где положил на видное место, поскольку кончалась открытка «персональным приветом всем сотрудникам “Вечернего Киева”».

Паня подумала, что «персональных приветов всем» не бывает, не иначе как Февр имеет в виду ее. Только утаил. И слава Богу. А то Скоробогатов, видите ли, в нее влюблен, мама, видите ли, работает в опере — крила огня и пламы зависти. Да еще Ансельм. Отлично понимают, что это не немец... который немец.

«Машинное отделение» на сегодня отбарабанило свое: вслед за Лакиевич машинистки стягивали с себя нарукавники и расходились с мыслью, что завтра — суббота. А вот Паня не уложились с материалом. Двери хлопали, а она все продолжала стучать.

«На конкурсе стенографистов в Байрейте достигнут новый рекорд. Георг Паукер, получивший первый приз, записывал в течение десяти минут 400 слогов в минуту. Интересно, что при более кратких сроках он успевал записать еще больше. Так, в течение пяти минут он записывал по 440 слогов в минуту, при трехминутной работе 480 слогов».

Что ж, она не Георг Паукер — так быстро не может.

Все шло строго по плану. Вскоре Паня осталась одна. Попробовала читать — не смогла: смысл прочитанного собирался снаружи пеной, как перед засорившимся сточ-



ным отверстием. Через час она заперлась на два оборота и из предосторожности выключила свет. Ничто больше не мешало переодеться, причесаться. Чтобы не делать это в кромешной тьме, она прилепила огарок свечи к полочке под зеркалом в прихожей: с улицы не видно, а романтично необычайно.

Язычок пламени неподвижно желтел на переднем плане, за ним из мрака выступало ее лицо, пробуждая в душе воспетую поэтом *тайную робость*. Она как никогда ощущала сродство душ, свое и Светланы. У Февра Светлана делает то же самое: поставив свечи перед зеркалом, зрит в нем скорее златоволосый призрак, нежели самое себя. В раздвоившемся зыбком свете фантазия разыгрывается. Страшно взглянуть назад: Бог весть, что там за ее спиной. Вот... легохонько замком кто-то стукнул. Светлана чуть жива: видит, как в темном зеркале блестят чьи-то яркие глаза. И тихий легкий шепот:

— Я с тобой, моя краса...

Обернулась — Иван Борисович к ней протягивает руки:

— Радость, свет моих очей, огонь моих чресел... Едем, поп уже в церкви ждет.

А на улице вьюга, снег бьет хлопьями в глаза, пушит ресницы. Кругом ни души, город как вымер. Луна в радужном тумане, ее зеленоватый свет чуть блестит на неживом челе Ивана Борисовича. Светлане от этого еще страшней.

Церковь... Вихрь распахнул дверь, и в ярком свете, тускнеющем в клубах ладана, как в парильне, виден черный гроб.

— Буди взят могилой, — протяжно возглашает поп.

Потом окажется, что Светлане это только приснилось. О, Февр неистощим на выдумки!

Нет, Пανε не хотелось, чтоб все обернулось сном. Чтоб затрепавший будильник был привычно схвачен в кулак — прыг в шлепанцы!.. И неслышно, боясь разбудить маму, пробираешься в кухню. А уходя, украдкой поворачиваешь ключ в замочной скважине.

Да нет, какой тут сон, когда мерзнуть стала — в легохоньком-то платье, «выпускном». Попробовала растереть ладонями плечи, покрывшиеся «огуречной кожей».

Наконец сняла пальто с вешалки... тоже жалко: на Дубенской у них порядок, против каждого крючка имя, и отделения для уличной обуви именные, а переедут — начнется чехарда. Незнакомое чувство: утопать голыми до подмышек руками в толстых, ватином проложенных рукавах. «Бальное».

Придвинула к печке шелудивое скоробогатовское кресло, огромное, мягкое — в котором некогда читала роман об Иване Борисовиче и его огненном ангеле. Тогда тоже забралась с ногами... (А в это самое время, как в магнетическом обмороке, кто-то позировал перед зеркалом с пистолетом в руке.)

Без четырех минут семь из генеральской артерии брызнуло — что отлилось всем жителям Киева. Уже менее чем через час их швыряло в грузовики, заталкивало в душегубки, отлавливало бреднем — нанесение кому ни попадя телесных повреждений вплоть до умерщвления требует, по крайней мере семантически, безлично-бесполый формы, тем самым оное явление как бы уже переходит в разряд стихийных бедствий. И не важно, что оному явлению есть множество наименований, которые бумага терпит. Вообще, все зависит от духа времени и декларируемых целей: «предпринятые меры безопасности» (как правило, эффективны), «устроенные облавы» (наоборот, ничего не дают), «акции по выявлению и обезвреживанию» (этим занимаются наши доблестные), «карательные операции» (фашики — их удел «неминуемая расплата», «справедливое возмездие»), а вот что касается «проводящихся зачисток», то здесь попадаешь в новый век: бесстыдству честных, а не безумству храбрых поем мы песню в новом веке. По-старому фальшиво.

Действия оккупационных властей в Киеве диктовались нетерпением сердца, если не сладострастием — столько совершалось опрометчивого. Это напоминало процедуру выдавливания прыщей. За краткий миг блаженства при виде выползающего из своей норы гноя нетерпеливый платит тем, что прыщ становится только сочнее, только обильней начинен. Так же и базары, которые приятно выдавливать всякий раз стальными ногтями и глядеть, как полезло наружу. Даром что себе дороже потом, для сладо-

страстников нет «потом». Базары в первую очередь, они — источник неиссякаемый: и на отправку в Германию хватит и еще останется на Храм Воздуха пожертвовать (народное название передвижных газовых камер).

А теперь радости садистам прибавилось: двести душ в театре дожидались расправы. И дождались. Все, кроме одного. Так крепостных артистов отправляли на конюшню, как этих вталкивали в грузовики, прямо в концертной одежде, — когда вдруг Гена Квазимодо, несмотря на свой малый рост, отпихнул конвоира с такой силой, что тот упал. Обладатель же колокольчика, коим сзывал оркестрантов к их пюпитрам, он засеменял прочь со спринтерской скоростью. Мгновение — и оперный звонарь рассосался в темноте. И не по кому стрелять.

В действительности уродец закатился в какую-то щель между фундаментом и асфальтом со стороны сквера, зная о которой было привилегией избранных.

(— Ты шо?

— Не напирай, не в трамвае.

— А ты местов не покупал. — Гена не ожидал встречи. — Ты, хлопец, не смотри, шо я такой малый. Бачь, — и колокольчик, зажатый в ладони, короткопалой и широкой — как клавиатура — на глазах у Кирпатого превратился в шарик обыкновенной фольги. — Бачив? Мни вин вже нэ трэба. — Гена вздохнул.

— Ты из цирка?

— Сам ты з цирка. З оперы. У нас сейчас нимця главного вбыла одна баба.

— Расскажи, Расскажи!.. Как, насмерть?

— Та вроде.

— Слушай, будь человеком, Расскажи.

— А шо рассказывать, усим теперь крышка, я убег. И шо ей, заразе, погано було — нимци на машине каталы...

— Вот и докатались. А сама?

— Сама погибла. С крыши сиганула.

— Это хорошо. «Прощай», сказала, сама погибла...» Знакомая под баян поет. Красиво. Не слыхал? — продолжает напевать: — «...Туда, где плывут корабли, упала в воду, и все затихло, нашла притулище собі».

— Тихо, шо обрадовался-то? Шо ж хорошего? Тепер иншим за нее видуваться.

— Хорошо, потому что никого не выдаст, лох. Пойду доложу командиру отряда.

— Стривай, так ты...

— А ты как думал.

— Стривай, хлопец. Слухай, визьми мене з собою.

— В другой раз, богатырь. Завтра в пять на Горке.

— Не хорошо на Горке...

А кругом горе, слезы, черные снежинки косяком — в свете фар.

И патрули, патрули, патрули.)

Только Кирпатому они нипочем, нипочем, нипочем. Он нюхал воздух, как легава, и, унюхав опасность, из легавой вмиг становился зайцем. А еще был как оценившаяся сука — с налитыми сосцами. Во что бы то ни стало отсосите, сцедите, выпустите из него распиравшую его новость. Где искать теперь Немоляку? Только завтра в пять будет Немоляка на Горке, а до завтра, до пяти... Кирпатый же с ума сойдет. К Волку бы! Да где волчье логово, где майор отлеживается? Дорого бы дал Кирпатый, чтоб знать это, дороже гестапы — жизни б не пожалел! И остается Яновская, все пути ведут к Янке, ух, она его прибьет когда-нибудь своим баяном.

У Кирпатого вдавленное маленькое лицо, худая белокожая шея, на которой сбоку, когда он психанет, выступает противная толстая жила («Сволочи, хуже фашистов, гады... ну, возьмите меня... ну, что вам стоит-то... Немоляка... что я виноват был...»). Губы синие, жила синяя — так и видится лежащим на столе у патологоанатома, объясняющего что-то замерзшим оголодавшим студентам в каком-нибудь Богом проклятом году.

Но если Кирпатому выдать ватник и ушанку со склада, сунуть в руки ПППШ, а на ватник еще нацепить орден Боевого Красного Знамени — то хоть бери и снимай для «Правды».

«...А рядом в церкви может быть Сычиха, — рассуждал Кирпатый, — а она швыдкая бабка». Хотелось жрать, привычное желание. «Волка ноги кормят, а человека —

голод», — учила его другая «швыдка бабка», уже покойница.

На Дубенскую Кирпатый добрался без приключений — ежели как для себя. Потому что другому кому этого бы хватило на целую жизнь: то воображать себя скачущим на добром коне, то вдруг петлять дворами, то, размазавшись тоненько по стеночке, замереть... И тогда в целом мире нет ничего, кроме них, в шаге от тебя, сейчас тебя убьющих, да собственного дыхания.

*Вот и наш посад.* Кирпатый стучит в дверь, долго, под конец уже как молотом по наковальне. Дверь открывается, и то лишь на цепочку. В расселине чужое бабье лицо. Кирпатый узнает Лизаветину племянницу.

— Чего стучишь?

— К Райке мне.

— Уехала в деревню.

Дверь захлопнулась. Чугунно бухает крюк и слышен не очень-то лестный отзыв — не то о нем, не то о съехавшей жиличке. Теперь уж все равно.

Кирпатый зажмурился (темней не стало) и в непередаваемой досаде и обиде принялся колошматить себя по коленям, сыпая проклятиями и хлюпая носом:

— Сволочи! Гады! Сами драпу, а меня бросили, да? — видеть не видим, но гарантируем подкожного червя на шее длиною с Днепр.

Мы оставили Ансельма в фойе оперы на диванчике — руками сжимавшего голову. Разобраться, что происходит сейчас в этой голове — если такое вообще возможно, — значит, задаться вопросом, что думал он о национал-социализме. Скажем прямо: может, даже и ничего хорошего — но совсем не то, что мы. Вина за войну лежала на Англии. Так считали все, и он не видел причин это оспаривать. Аншлюс — законный брак по обоюдному согласию. Так считали все, и он опять же не видел причин с этим не соглашаться: Австрия и Германия между собой гораздо теснее, чем Украина с Россией, — одна культура, одна душа. Чехословакия же — дочернее предприятие Австрии. Недаром уже за Дрезденом, «славным Дрезденом, чьи белые башни поднимались смело и гордо, за золотистыми волнами пре-

красной Эльбы, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии». Нет, Австрия не касается никого. Польша, вот камень преткновения! Русский душой, немец духом, Ансельм без зазрения совести был готов согласиться с молотовским определением: да, уродливое детище Версальского мира. Да, сто раз да: пасмурная война за освобождение малых народностей (он уже забыл, кто это сказал, Риббентроп или Пастернак, — про Первую мировую). А разве не так? Разве не «по праву победы» Европа была наводнена карликовыми республиками, заведомо неспособными за себя постоять и обреченными быть марионетками других? Общее правило: о большевиках либо плохо, либо очень плохо — слуга покорный! Кто помешает ему соглашаться с ними, когда они говорят правду. Невозможно все замазать черным цветом. Народ в России во многом с ними заодно — и наоборот. Одним террором не объяснишь появление шедевров революционного искусства. В конце концов, если б Германия сама не пожелала увидеть в Гитлере своего фюрера, никто никакими силами не смог бы ее к этому принудить. В России культура и власть впервые в лице друг друга обрели союзников. В подтверждение этому на память без труда приходит созвездие имен: Икс, Игрек, Зет. Чистки, гэнэу — кто спорит. Взять Рейхваргера, к примеру. Но для Ансельма созданное им куда важнее обстоятельств его гибели, к тому же до конца не выясненных. В последнее время Ансельм сделался решительным противником войны на востоке: ее ошибочность, неоправданность подтверждались уже самими методами ее ведения. Какими бы чудовищами ни были большевики — допустим! он далек от мысли держать их за ангелов — немцы не смеют, да-да, не смеют им уподобляться. Был еще один достаточно щекотливый вопрос, уходить от ответа на который становилось все сложнее и сложнее: участь того же Рейхваргера, живи он в Германии... Ансельм рос в среде, весьма не одобрявшей евреев, но не настолько же.

Это было отступление — чтоб разбежаться... и с разбегу... И еще. Согласимся, только в таком виде — в пароксизме отчаяния — немецкий солдат, желательно молоденький, нравственно легитимен: прозрение!.. Смеющийся или, упаси Боже, распеваящий что-то веселое, с пивною

кружкою, он заслуживает пули. Если же не из чего стрелять, то можно и обухом по голове, из-за угла. А уже схватившийся за голову, он, глядишь, и пробудит к себе жалость, даже не сочувствие — именно жалость, которая, как известно, унизительна.

...Страшнее всего не то, что стреляла, — Шарлотта Корде тоже стреляла (не исправляем). Обман! Все по отношению к нему было обманом, и как далеко этот обман простирается, где проходит граница... Сидишь, обхватив голову руками, и не понимаешь ни-че-го. Золотисто-зеленая змейка оказалась змеей подколодною. Как вкрадчиво лгали два желто-зеленых глаза. Кем надо быть, чтобы так лицемерить, — и за какое ничтожество держать его при этом! Паня... тот же тающий взгляд. Дочь. Знает обо всем?

Le Ciel a-t-il formé cet amas Merveilles  
Pour la demeure d'un Serpent?

(Марион Штейнер, он был на ее спектакле в театре «Монмартр».) Нет, отвечай: Паня — тоже ложь?!

А если она — такая же жертва обмана? Вот уж действительно прозрение. Преданная матерью, преданная им. Этот шквал репрессий, который не замедлит обрушиться на Киев, он сметет ее. Ужас! Ужас! Ужас! Только и слышишь: «Мама — то, мама — се». Да и кто у нее есть, кроме матери... и кроме него. Теперь можно сказать только: кроме него.

Острая щемящая жалость — кому она унизительна, тот никогда не будет любим. «Панночка...» Представил себе, как ждет его — ночью, в метель, в войну. И голос попа, протяжно возглашающий: «Венчается раб Божий Аггеларий рабе Божией Стефаниде».

В совершенном отчаянии стоял Кирпатый под сказочным небом, которое сколько ни сыпало посверкивающим серебром, все не могло промотаться. Бутафор был несметно богат.

Он чувствовал себя преданным: сами-то смотали удочки... о себе-то заблаговременно позаботились (шморгал он носом), а на него плевать хотели, да? Знали, что после покушения начнется.

Подло обманутый, томившийся от неразделенного знания, он в какой-то момент поймал себя на том, что как бы вчуже следит за перемещениями неясного пятна, постепенно становящегося человеческой фигурой... и даже не человеческой — а фигурой немца (на таком расстоянии Кирпатый уже не мог ошибиться). Немец скорее бежал, чем шел, скользя, оступаясь.

«А может, пьяный?»

Это меняло ситуацию в корне. На ногах не стоит. Один. Так убей же хоть одного! И завет исполнишь, и трофеев не оберешься. Часы — это точно, а может, пистолет? Деньги, само собой... зажигалка... Но главное, иметь свой пистолет. Так, Кирпатый, убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!

Он пошарил рукой у себя за спиной. От стенки могли отставать крупнокалиберные куски штукатурки, одним таким вдарить сзади по затылку, острием... Но тут Кирпатый приметил под ногами, ну, совсем то, что доктор прописал: кусок железной арматуры. Черепушку расколоть таким — одно удовольствие. Уж в нем-то Кирпатый себе не откажет, иначе будет последний лох.

А почему, собственно, это должен был быть Ансельм, а не кто-нибудь другой — в такой же фрицевской шапке, по-чужеземному нелепо нахлобученной на манер ушанки, в серой шучьей шинели под названием «прощай радость и жизнь моя», обмотанный бабьим платком (с первого же взгляда видно, что лежать ему без сапог в русской земле). Почему, спрашивается, это должен был быть Ансельм? Мало их, что ли, ищет приключений на свою голову: кто бежит возвратить знакомой одолженный шарфик, а кто вбежит вот-вот в незнакомую квартиру (хорошо было летом, через окно) — схватить первое попавшееся, ковров-то уж небось не осталось. Увы и ах, таких совпадений не бывает, конечно же, это был Ансельм — жених, грядущий со страшной вестью. И как он ей об этом скажет? И вообще как быть дальше?

Пропустив его вперед, Кирпатый подбежал и со спины нанес удар. Кажется, неплохой ударчик. Но немец, вместо того, чтобы вмиг очокуриться, обернулся — живучий, гад!



От ужаса, что сейчас он стрельнет, Кирпатый пустился бежать как сумасшедший.

Ансельм понимал, что что-то случилось, для него непоправимое. Еще он шел, как-то пытался идти, сперва по стенке, затем пополз. Надо позвонить, позвать на помощь. Его охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня, умертви меня!» — хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль сразу оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание.

Страх, охвативший Кирпатого, был страхом человека живого, здорового, во всю мощь своего инстинкта желавшего и далее оставаться таким же. Это лишь кажется, что на инстинктивном уровне железная воля к жизни превращается в свою противоположность. (То, что зовется стремлением к смерти, включая отважное хулиганство иных жизнелюбов, не больше, чем пряная приправа ради пущего обострения вкуса к жизни. Или сознательное кокетство — с той же целью.) Но Кирпатому изменила обычная его зоркость. Ведь Волк как учил: «Первое в нашем деле — увидеть врага раньше, чем он увидит тебя. А дальше действуешь по ситуации: либо ты драпу, либо ему не давай унести ноги». Кирпатый нарвался на полицейский патруль сам — как на гвоздь наступил. Рванул в обратную сторону. За ним никто не угонится, кроме пули. А пока за кобуру схватятся...

Нет, окрик «стой!» опередил выстрел лишь на какую-то долю секунды, так молния опережает гром. Но и этой доли секунды ему хватило, чтоб добежать до угла. За углом церковь. В церкви был огонь, дверь была открыта — только его и ждали. Вошел. Поп и впрямь спешил ему навстречу. В слабо освещенном, двумя или тремя свечами, помещении трудно было что-то разглядеть. Вроде бы

за помостом дверь... Бросился туда, не говоря ни слова — а крики слышались уже совсем близко. Значит, успели заметить. Снова выстрел. Будто в церкви, аж вверху отдавалось.

— Никак попа вбив...

— А чего вин под пули лизе...

— Сюда гляди! Посвети там фонариком.

Запрыгал свет, замелькали тени: две, три...

— Эй, да вон он, держи!

Мимо кто-то прошмыгнул, близёнько-близёнько, будто это ты сам был. И выбежал в распахнутую на мороз дверь. В погоню? В суматохе растерялись. А тут еще чертов поп! (Как верный слуга, до последнего вздоха охранявший хозяйское добро, распростерся он при входе в дом Божий.) Чуть не споткнулся о его чертову башку!.. Пяткой скользнул, как по маслу — со ступеньки-то. Шею себе едва не сломал.

Нет, далеко он не убежал, но что: обернулся на бегу, увидели его лицо — оказалось, что это-то и есть поп.

— Куролап, пальни!

Выстрел. Продолжает бежать.

— Нечиста сила! Поп раздвоился...

В лунном сиянии, к тому же сквозь белый тюль, наполнявший воздух, он выглядел неправдоподобно огромным, от встречного ветра борода и волосы нимбом окружали голову. Он даже не бежал, а низко тяжело летел, размахивая руками. Расстояние сокращалось.

— Санчук, заходь сбоку!

— Ну, попался, батько...

— Погодь!

Выстрел. Еще один.

— Куды? У ту дверь?

Вбежав в дом, они услышали топот ног на лестнице.

— Теперь уже точно не уйдет.

Куролапов, светя вверх фонариком, взбежал следом, перешагивая сразу через несколько ступенек. Последний этаж. Санчук и Панько, отставшие от Куролапова на полмарша, видели, как он поднял руку с пистолетом и прицелился.

В этот момент Паня открыла дверь. Стрельба и громкие голоса под окнами ее разбудили. Спросонок не сразу вспомнила, где она и почему спит в пальто на кресле; так спала она на вокзале, когда однажды их класс ездил с Лаврентием Германовичем не то к шефам, не то к подшефным, уже забыла... куда, тоже забыла. Вспомнила зато, почему ночует не дома, а на работе.

От свечи перед зеркалом в прихожей осталась лишь застывшая стеариновая лужица. Пошлепав ладонью по обоям, Паня с третьей попытки поймала выключатель. Артель «Напрасный труд»: после десяти электричество отключали.

Уже больше десяти! Где Ансельм? Могла она проспать и не услышать? В ответ на лестнице раздались шаги ко-мандора — топает, как слон, командор... На радостях, что не проспала, Паня очертя голову кинулась отпирать дверь, смахнув с полочки зеркало, которое с плачем раз-билось.

Луч фонарика ослепил, но его почти сразу же затмило лицо священника — во весь экран. Почему он здесь — почему не Ансельм? Волосы и борода спутаны. Не испуг, да-же не страх написан на этом лице. То был *terror antiquus*, древний ужас. Причины его объяснялись просто: Паня видит, как из темноты тянется рука с пистолетом. Но это не все. Разгадав одно, ты стоишь перед тайною куда более великой: выстрела не последовало — из человека с писто-летом во все стороны ударили струи пламени. Он юлой за-вертелся внутри их, словно пытался выпорхнуть из огнен-ного кокона. Взлетел — и рухнул в лестничный пролет, оставляя полосу яркого света.

Миф о Фаэтоне заставил Паню позабыть обо всем ос-тальном. И не только ее. Видавшие своими глазами это чудо самовозгорания человека, Панько с Санчуком опро-метью выскочили на улицу, перепрыгнув через догорав-шие останки, подобно сердцу Данко еще долго освещав-шие лестницу.

Паня не могла бы припомнить, что происходило с ней дальше, детально, по порядку — это то же, что пытаться размотать иллюзию протяженности, бутафорию мотка. Поди знай, как очутилась она на заснеженной Дубенской,

в тапочках, в нарядном платье, без платка, хорошо еще, что в пальто. Шок. (Другие ложились на пол, прятались под кровати при звуках ружейных выстрелов, цепенели, когда перед домом останавливался грузовик и улицы оглашал знакомый лай. Но Паня же дурочка, костер ее манил. «Любопытная как сорока», — сказал Скоробогатов. Ну, экран и погас...)

Немцы немедленно оцепили район вокзала. Дубенская между Телятинским и Безаковской была перетянута, как жгутом, с двух сторон.

...Машина затормозила, но Паня не шелохнулась, стояла матерью-родиной: он лежал у ее ног. Тело уже давно обсыпало снежком, триллионами льдистых звездочек, которые и не думали таять. Удивительно, что сомнамбулой она набрела на него — не иначе как звездная пыль обладает свойством лунного света.

Украина! Заколдованные панночки, вылетающая в трубу нежить, раздваивающиеся попы... И веками кровь на снегу. Бесчувственные пальцы согнуты и концами чуть касаются ладони — линии жизни, шея обмотана пуховым платком, который милая старушка вязала у окна, рот его по-детски приоткрыт: как у ребенка, втягивающего во сне слюну.

Полиции, те бы сразу все поняли. По иронии судьбы в их мозгах зазвучало бы под гитару да под водочку:

Как по улицам Киева-Вия  
Ищет мужа не знаю чья жинка...

Но это были немцы, чей врожденный горб мысли к тому времени уже исправлен миллионом немецких могил. И с прямою, что подстать их честности, двое солдат, скажем, Фриц и Ганс, решают: злодейка схвачена на месте преступления. А иначе откуда взялся этот железный кусок арматуры. Все очень просто, и аналогий не счесть: от Юдифи до Пышки.

— Мертв?

— Дышит.

Дождались санитарной машины и поехали дальше. Таких, как Паня, был полный грузовик. Их отвезли в большой пакгауз у памятной многим «остам» станции «Киев-

Сортировочная». Сегодня ночью туда свозили сотнями со всего города — и сортировали. Разбраковщики больше не говорили друг другу: «Это научит их стрелять в немецких генералов». Можно отныне не оправдываться — строгий, но справедливый учитель взял этот труд на себя. Пафос их деятельности состоял в том, чтобы следовать не ими заведенному порядку наилучшим образом. Точка.

Старое кирпичное строение складского типа, превращенное в чистилище, оледеневшее, давно без стекол, идеально отвечало своему теперешнему назначению. Откуда отплывать ладьям Харона, как не отсюда? Еще по-земному одетые, пассажиры порой терпят нужду в ином судне (имелось ограниченное число параш смешанного пользования — пусть привыкают, на том свете не будет мужчин и женщин), но в угасшем взоре уже прочитываются другие берега. Толпа, отрешенная от своего вчера и к чужому завтра не имеющая отношения... или все же? Каждый сам по себе? Жуткая смесь общей безучастности и напряженного личного ожидания. Жуткая смесь статистики и трагедии. В сопровождении одинокого бабьего плача.

Панину партию подняли первой, велели построиться попарно и повели. В дверях вышла какая-то заминка. Тем временем солдат рядом с ней, посмотрев на нее пристально, сказал:

— Иди, дефка, сюда... А ты тшего сталь? Los, los... — и толкнул на ее место дядьку с бегающими глазами.

Она не поняла того, что спасена.

### XXX

Ставка Верховного Командования Германскими Силами сообщает:

«Борьба за Сталинград окончена. Шестая армия под достойным командованием генерал-фельдмаршала Паулюса осталась верна своей присяге до конца. Беспримерное по героизму сопротивление было преодолено численно превосходившими силами врага и неблагоприятными условиями борьбы. Дивизия зенитной артиллерии авиационных частей, две румынские дивизии и хорватский полк — их

верные братья по оружию — исполнили свой долг до последнего и разделили судьбу германских войск.

Еще не наступило время дать описание хода операций, приведших к такому исходу. Но уже сейчас можно сказать, что жертва не была напрасной. В течение многих недель германская армия, как оплот исторической европейской миссии, отражала натиск шести советских армий. Окруженная со всех сторон в течение предыдущих недель тяжелых боев, терпя жесточайшие лишения, она связывала крупные силы врага. Шестая армия дала, таким образом, германскому командованию время и возможность провести мероприятия, от осуществления которых зависела судьба всего фронта.

Получив это задание, шестая армия исполнила его, несмотря на то что по мере развития операций и завершения окружения, германская авиация, понеся тяжелые потери, не была уже в состоянии обеспечить наземные части снабжением по воздуху. Возможность поддержки армии была сведена, в конце концов, на нет. Два раза повторенное противником предложение о сдаче было с достоинством отклонено. Последний бой происходил под сенью флага со свастикой, воодруженного на самой высокой руине Сталинграда. Генералы, офицеры, унтер-офицеры и солдаты сражались плечом к плечу до последнего патрона. Они умерли, чтобы Германия могла жить. Вопреки лживой большевистской пропаганде, их подвиг будет служить примером для грядущих поколений. Дивизии шестой армии формируются в настоящее время в новом составе».

Из сотен тысяч батарей  
За слезы наших матерей,  
За нашу Родину — огонь.

## XXXI

Город Клаасашерн (Передняя Померания) ощущал под ногой твердую немецкую почву: в нем Германия видела самое себя не меньше, чем в Майнце или Мюнстере. Так было и в 1542-м, и в 1742-м, и 1942-м. Город был горд. Горд был город. Вообще горд. Чем, не имеет значения.

Важнее — почему. Потому что был зауряден и как раз этим утверждал себя. То есть принадлежностью к ряду, который почитал превыше всего. *Über alles*. В таком случае предметом гордости может быть все что угодно, причем разом, в одном предложении, хотя бы речь шла о явлениях или обстоятельствах взаимоотталкивания. (А шо, клянутся же в мемориальном домике на Володимирском взвозе своим Мастером, но и при этом своей незалежностью.)

Итак, город Клаасашерн — чем и горд. Предоставим слово гидше в фольклорном наряде. Да будет нам известно, что на территории аббатства с X\*\*\* века существовал госпиталь Всех Святых. Эта старейшая в дистрикте больница, оснащенная новейшим медицинским оборудованием... — нас подводят к чопорной фотографии давно уже не существующего богоугодного заведения; фотоэкспозиция «*Das Pommern, das wir verloren haben*» («Померания, которую мы потеряли») — а гидша в вышитом переднике чешет свое: ...славилась известностью далеко за пределами края (дистрикта? гау?), многие больные, считавшиеся неизлечимыми, находили здесь...

Ну что может найти неизлечимо больной в больнице? Смерть свою. Один такой соискатель лежал под сводами, достигавшими в зените пятиметровой высоты, при том что стены не превышали двух метров. Когда всё му́ка, то и это му́ка. При коротеньких ножках такой рост. Бесовское отродье! И с этой чудовищной двусмысленностью, как если б ты обретался внутри ихтиозавра, с этой вопиющей несоразмерностью приходится мириться. Днем и ночью, днем и ночью. Почему не может быть так: заканчивается рабочий день, и больные вместе со всеми уходят домой. (Режиссер: «На сегодня все».)

Имя больного вставлено в рамочку, намертво прикрепленную к больничному ложу, — записки с именами обновляются, рамочки остаются. Выведенное готическими буквами «Юлиус Майнцер» не меняется уже несколько месяцев. Пользуют оберста по категории «А» (правда, «фуссноте цвай», неоднокоечная палата). Из тусклой череды соседей Майнцеру посчастливилось пережить двоих. Один — древний старик в полном маразме. В возрасте

Майнцера, должно быть, и не помышлял болеть. Но лет двадцать как этот заслуженный ветеран франко-прусской войны впал даже не в детство, а в скотство. Утешало то, что при окончательных расчетах эти годы вычитывались как бы с процентами. Майнцер, правда, не знал процентной ставки, курс ее колебался в зависимости от его собственной «положительной динамики», вернее, от иллюзий на сей счет: чем оптимистичней представлялись ему виды на будущее, тем легче засчитывал он коллеге лишний годик жизни. И наоборот.

Другой почивший в Бозе (или лучше сказать по-немецки: в Böse) был активистом местной дружины — «фольксштурма», только создававшегося в качестве одной из разновидностей известных своей эффективностью припарок. У него было исхудавшее покойничье лицо с мировоззренческими усиками. Эту посмертную маску с клочком щетины под заострившимся носом он ежедневно в пять тридцать утра принимался драить электрической бритвой, дополнительным треском отмечавшей единоборство с колючками. Майнцер терпеливо ждал. Звук был такой, словно бритва работала на бензине — мотоциклетный. В одиннадцать к ополченцу приходила жена, ровно в пять поднималась и уходила. Не считая скупого приветствия, которым супруги обменивались при рукопожатии, все остальное время они молчали. Вечером, погасив у себя свет, Майнцер внимательно наблюдал, как сосед подолгу сидит на кровати, не решаясь лечь: приступ удушья все равно не даст ему уснуть, будет продолжаться ночь напролет. Самого Майнцера тогда еще не опоясывало по двадцать четыре часа в сутки каленым железом, и он размышлял о преимуществах своего состояния, а еще о том, каково встречать свой конец экипажу подлодки.

Однажды на исходе ночи соседа увезли. Провожая глазами кровать, преображенную смертью в катафалк, Майнцер не испытал облегчения. Его перестанет будить сенокосилка, зато с появлением новенького роли поменияются, это совершенно ясно. (Давно уже обеденным столом Майнцеру служил штатив, на котором вниз головою висело несколько флажков, и взгляд неотступно сле-



дил за тем, как в стеклянных суставах тонкого резинового шланга что-то постоянно двигалось. Если движение прекращалось, рука, ставшая совсем чужою, спичечной, тянулась к кнопке звонка.) В первый же день новый сосед, судя по цветущему виду, симулянт и дезертир, приступая к обеду, спросил у Майнцера: «Нет аппетита?» («Kein Appetit?»)

Вставая по надобности, он толкал перед собой роликовый штатив, в чем тоже была чудовищная двусмысленность: не то опирается на посох, не то обречен влачить повсюду за собой собственный орган, выведенный наружу. (Когда всё мұка...) Дверь в туалет помещалась в метровой нише. Как-то раз глубокой ночью из этой ниши он наблюдал странную картину. Процедурная сестра, разогнавшись на запятках пустого инвалидного кресла, неслась по коридору, как будто на боевой колеснице в гущу сражения — с закушенной губой, с безумным взглядом, только что не потрясая над головой копьем.

Верная Хайди примчалась в Клаасашерн и поселилась в крестьянском доме. Все рассказывала, как хозяева на завтрак закармливают ее яйцами, маслом — продуктами, которые в Мюнстере давно ратионируются. Майнцер молча слушал. Хайди привезла фотографию Пеца, и Майнцер поставил ее на тумбочку. С ее приездом вокруг койки сделалось уютно: всегда стояли цветы, рядом лежала черешневая трубка и томик стихов. Зубная щетка из оловянного походного стакана, он же больничный, перебралась в эмалированную полоскательницу с надписью: «Здоровые зубы — долгая жизнь» (немецкая версия иван-ильичевского «мemento мори»).

Майнцер читал когда-то «Смерть Ивана Ильича». Смешно сказать, даже пытался делать это по-русски. А кто такой Иоахим Цимсен — не знал: знание немецкой литературы, в отличие от русской, оно как бы не в службу, а дружбу, Майнцер же фатерланду служил. Адресатом дружеских чувств был исключительно Пец.

Из Киева пришла открытка с пожеланием скорейшего выздоровления — от Клары Карловны. И письмо от одного зануды армейского врача с описанием подробностей случившегося в опере. Хайди читала, он слушал.

Врач был не просто очевидцем — даже оказал Ансельми первую помощь.

Слушать про Kiev-Großer Майнцеру было в тягость. В болезни человек втягивается сам в себя и там отсиживается, отлеживается. Этот город наслал на него пагубу. Торт во французской кондиторай — вот что его погубило. «Frühlingsstimmen», «весени голос». Да, да, это все торт! Той же ночью все и началось. Он ненавидел само слово «Киев». Но нельзя же об этом сказать вслух.

А потом за Майнцером стали выносить горшки, и он узнал, что нет другого счастья, кроме выражающегося словом: *отходит... отошло...* — когда душа не узнает тело, когда вдруг становится возможным спать с болью в обнимку. Тогда будто клюешь носом на посту: на какую-то долю секунды в уме складывается что-то далекое... Выскокить из боли! Бросить ее здесь, и пусть корчится! Давай! Какого дьявола оплакивать свою боль? Скорей прочь из нее! Пиши: поручать себе постоянно опутывать себя малыми делами: то поправить подушку, то пододвинуть стакан, то пропустить между колен одеяло, словно после этого *отойдет*. Какое волшебное слово, какое несбыточное слово: *отходит... отошло...* Нет? Почему нет? Невозможно? Ты весь накачан ею? *Боль, я тебя знаю*. Насылающий Боль, Имя Тебе. Так ведь не отпустит, Собака. Есть время, идущее быстро, есть время, идущее медленно, и есть время, пронзенное Болью. Ожидание и ежесекундная надежда, что отойдет. Как беснуется-то. Внутри Боли возникает еще особая спазма.

О да! Я — сущность Ее! Ты — мое Я! Пошады...

И не было пошады.

Полковничья форма оказалась на него огромной. Черешневая трубка, вместо того, чтобы быть положенной на гроб, укатила в Мюнстер. В свое время, когда Володя Гурьян был маленький, его пушкинская бабушка, указывая на такую же, хранившуюся в буфете, говорила что-то ужасно тривиальное — что уж там все бабушки говорят: завтрак съешь сам, обед съешь тоже сам и ужином ни с кем не делись. Еще пожалеешь, что кормил врага ужинами.

Как знать... как знать... Не в пример тюремщику, Провидение изобретательней узника.

## XXXII (Огненный ангел. Эпилог)

Господь совершил для него тайное  
чудо...

*Х. Л. Борхес*

Да, я лежу в земле...

*О. Мандельштам*

Земля везде тверда...

*И. Бродский*

Читателю известен этот способ тянуть жребий: спички, снизу неровно обломленные, зажимать между указательным и большим пальцами, сравнивая головками. Кому-то достается спичка подлинней, кому-то покороче, недаром говорится, все в руке Божией. Жизнь большинства героев этой книги ее страницами не ограничивается. Какой же жребий их ожидает?

Петер Ансельми был судим тем же судом, каким судил других: «машина приехала и уехала, а он остался». (Хотя мы не уверены, что с ним это производилось посредством грузовика: есть кадры показательной экзекуции в Ростове, где снятые в контражуре виселицы на холме очень даже смущают своим сходством с традиционным изображением Голгофы. Во всяком случае, накануне казни Ансельми пытался вскрыть себе вены, и вешали его с перебинтованными руками. В описании же очевидца бинты превратились в белые перчатки со следами крови от проволоки. Может, и так. А может, «фантазия воспоминаний».)

Богатырчуки, как и Скоробогатовы с сестрицей Настасьей Филипповной («Тюпой»), уйдут с немцами. Богатырчук оставит книгу воспоминаний «Мой жизненный путь к генералу Власову», из которой следует, помимо прочего, что его геронтологические исследования пользовались признанием среди зарубежных коллег.

Скоробогатов прожил большую часть жизни в эмиграции, его перо служило — верой, но не правдой — НТС. (При переименовании этой организации после войны из «национально-трудовой» в «народно-трудовую» сохрани-

лась прежняя аббревиатура. И не только аббревиатура.) С концом СССР, горько им оплаканным, Скоробогатов, многолетний автор «Посева» и «Граней», перебирается из Франкфурта в Москву, до самой своей смерти сотрудничает в газетах и журналах «евразийского» направления. Один из примеров этого сотрудничества описан нами в романе «Прайс».

А вот Февр до развала совдепии не дожил. По нашим сведениям, он умер в Аргентине еще в пятидесятые годы при невыясненных обстоятельствах (советская разведка, как и всякая, сурово карает двойных агентов). Там же, в Буэнос-Айресе, вышло в свет последнее издание его книги «Солнце восходит на западе», которую мы довольно широко цитировали, в чем читатель сможет убедиться, прочитав ее — при условии, если, конечно, отыщет. Опасаемся, что сделать это будет нелегко.

Румынский консул д-р Войку связал себя узами законного брака с Дарьей Свиридовой. До недавнего времени они держали в Марбелье ресторанчик «Колхида», видимо, хороший: на открытии грандиозного монумента, переданного великим Церетели в дар этому новомодному испанскому курорту, престарелый «д-р Гаше» с супругой были почетными гостями.

Печальна судьба киевских подпольщиков. Раиса Яновская спилась, ходила по вагонам с баяном и вскоре после войны, как антисоциальный элемент, вместе с калеками и бродягами очутилась там, куда Макар телят не ганивал. Кирпатого еще раньше настигнет немецкая пуля — правда, не в Киеве, а в бою под городком Класовице, в Польше. Он будет похоронен в братской могиле в виду дымящейся руины какого-то старинного аббатства.

Киевская опера в эту войну дважды чудесным образом уцелела: когда взлетел на воздух Крещатик и, во второй раз, когда давался «Лоэнгрин». Последний случай до нас дошел в следующем описании. Не успел Глушко пропеть «Mein lieber Schwan» — «О, лебедь мой», что к тому же можно перевести как «ё-мое!», все зависит от интонации, которая в этот момент у Глушко была соответствующей, — «как в зале раздался странный звук, словно оборвалась киноплёнка на кадре, запечатлевшем взрыв тяже-

лой бомбы. Что-то промелькнуло в проходе между сценой и партером, треснул паркет, обнажились доски обтянутого бархатом барьера, облако каменной пыли осело на первых рядах. Зал недоумевающе ахнул. Люди встали со своих мест. Из оркестровой ямы, увенчанной суфлерской будкой, торчал конус в человеческий рост». Но недаром пословица гласит: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет» — Ансельми только остолбенело смотрел на снаряд, непонятно откуда взявшийся, но, главное, так и не разорвавшийся.

Всем, кто пел, плясал и на дуде играл при немцах («для немцев»), досталось на орехи. Наименьшим отделался Гайдабур: вернувшийся удельный князек приберег его для своего двора, которому этот тщеславный пустомеля пытался придать столичный блеск. Другим пришлось хлебнуть лиха в лагерях, как Прусаку (нет смысла скрывать его настоящую фамилию: Тараканов). Некоторые опередили ход событий, поспешив на вновь открывшиеся призывные пункты. Так было с замечательным флейтистом Бидой — впоследствии пожизненно «невыездным». Так же поступил и Гриня Казлатырский. С ним вышло совсем удивительно: в начале сорок четвертого он попал в плен и конец войны встретил в лагере для перемещенных лиц. Скитания по миру, без которых невозможно представить себе жизнь «ди пи», привели его в одну из беднейших и живописнейших стран западного полушария — в город огромных бабочек, лиловых негров, сахарных голов, чужих манто и чужой хрустальной мечты. Можете себе представить, что испытал Казлатырский, когда, пересекая праса да Либердада, увидел идущего ему навстречу Гурьяна.

Мюнстер оставил пост ГМД киевской оперы весной сорок третьего по причине, которой даже, кажется, гордился. То, что не удалось большевикам с помощью бомбы, ему удалось с помощью дирижерской палочки, гы-ы. Во втором акте «Поэнгрина» он неожиданно для самого себя, не говоря уж об оркестре, стал дирижировать «на два» вместо четырех — звучащий монолит качнулся, треснул, все посыпалось и вскоре стихло, похоронив под собою дирижерскую карьеру циркового тамбурмажора. В зале при-

существовал Легар, по личному приглашению Ансельми приехавший в Киев — оценить киевскую «Веселую вдову». Это было так стыдно, что Мюнстеру не помогли даже родственные связи: штатткомиссар, надо сказать, питал к его племяннику признательность, сравнимую с той, которую Голландия питала к мальчику, заткнувшему пальцем дырочку в плотине.

Читатель видит, что, начав с второстепенных персонажей, мы подбираемся к главным героям. В таком порядке по завершении спектакля на апплодисменты выходят исполнители: первым — безголосый кучер, последней — оперная дива.

Ансельм выздоровел, получил медаль за ранение, которое у всех каким-то образом связывалось с покушением на Ансельми. Его, под шлемом бинтов прятавшего уши, регулярно навещала красавица фон Браухич, она помнила, *«как это было»*. Не отставал от жены и фон Браухич, более из соображений политеса: адъютант штатткомиссара дважды побывал у стрелка Тальберга, для фон Браухича этого было достаточно.

Когда Скоробогатов пришел проведать Ансельма, тот еще лежал совершеннейшим водолазом: ни слышать, ни разговаривать не мог, только смотрел — через иллюминатор. Но взгляд, обращенный на редактора «Вечернего Киева», был красноречивей всяких слов. Скоробогатов отвернулся. Подумал, написал на листке бумаги три слова и поднес к глазам раненого. Потом разорвал написанное на мелкие клочки и выбросил в мусорную корзину. Всего три слова: «Забудьте о ней».

Насколько это было возможно — забыть о ней? Время проходит, и все проходит, что-то безвозвратно. Бесследно — точно ничего. Но три года не такой уж великий срок, а как раз в рождественский сочельник, по счету тысяча девятьсот сорок пятый, то есть когда ангелы измышляют для наших историй самые невероятные сюжеты, в квартире дома по Антиох-Епифанштрассе раздался звонок. Во всем квартале этот дом единственный уцелел — кругом груды кирпича, даже стены пали, а он стоял (пилот Джон Рэхер отвлекся, что ли, воспоминанием о своей невесте и о своем родном Ковентри).

В такой день и в такой час все за семейным столом. Ансельм пошел отворять дверь. На пороге стояла Паня с младенцем на руках. Читатель, мы умолкаем... Хороший конец — великое дело, но хорошее начало... а это было еще только начало. То, что ему предшествовало, оба предпочли бы позабыть. Поскольку наша память избирательна, это не так уж и невозможно (вот вам и ответ: насколько это было возможно, забыть ее). Однажды Ансельм, листая какую-то монографию, посвященную советскому театру, позвал жену:

— Узнаешь? Ты помнишь эту фотографию?

— Да... у нас в альбоме.

— Твоя мать была с ним знакома, на обороте было что-то написано.

— Да? Не помню.

О Вале они говорили редко и только «в контексте», стараясь не касаться событий того рокового дня. Если б позволительно было купить полное забвение, то они за ценой бы не постояли.

Оккупацию Киева никто не любит вспоминать: и страх, и стыд, и позор. Лиходееву так и не включают в пионерский синодик. Поздней, когда выпадут идеологические зубы, подобных ей, по разным причинам оставшихся в тени, примутся откапывать. На иных даже будет мода, на таких, как Зорге. Что Валя в сравнении с этой Кассандрой? Хотя в шестидесятые годы именем Лиходеевой что-то назвали, какой-то скверик. Если доморощенному советскому многобожию подыскивать соответствия в великих языческих культах, то Вале далеко даже до богини высохшего ручейка или нимфы из придорожного кустарника.

Об отце Лаврентии Словнике памяти и на скверик не хватило, только на деревце. Да и растет оно далеко, в тридевятом царстве, тридесятом государстве. На дощечке что-то написано — диковинными буквами. Что — спросить неловко, а вдруг «по газонам не ходить».

И в заключение о главном действующем лице. Незримо я всегда присутствовал на этих страницах. Я прятался. Я показывался на какой-то миг — один раз даже со скрипкой в руках — и снова прятался. И так два года, покуда писался этот текст. «Да, я лежу в земле, губами шевеля» —

это про меня. Кто скорчился в ледяной яме, без света, без воздуха? Кто летел в лунном тумане над мертвым городом — дыбом волосы, руки как крылья? И за мной гнались века — гайдамаками, петлюровцами, полицаями, немецкими псами. По чистой случайности мое имя на сей раз Авигдор, могло быть любое другое. Любое другое имя. Те, кто дал мне его, звали меня Витэк. Мы из Львова, мой старший брат был пианистом, я занимался с известным немецким «гайгелерером» Лекгером. Через несколько лет я лишусь половины пальцев.

Кто мог знать! Когда во Львов приезжал Жаботинский и был вечер в его честь, мы с братом играли дуэт Шуберта. После выступления Жаботинский подозвал нас и сказал: «Губерман создал в Палестине филармонию. Когда-нибудь это будет лучшая в мире филармония, там будут играть лучшие в мире музыканты. Уезжайте туда. Уезжайте, пока не поздно». А вы говорите, кто мог знать... Я был скрипичный вундеркинд, взгляните на мою руку. Но карандаш — не смычок, его я могу держать. На прощание Жаботинский надписал мне свою книгу, кажется, это были «Пятеро» в польском переводе.

Я из тех, у кого все погибли. У всех все погибли, согласен. Вспоминаешь о брате, о сестрах, о папе с мамой — обо всех родственниках, тогда были большие семьи. Говоришь себе: смерти нет, собственную смерть констатировать невозможно, а свидетельствуя чужую, сам продолжаешь жить. Убийцы есть, а смерти нет. Парадокс, который утешает. И конечно, музыка. Слушать музыку! Даже не писать — чем я занимаюсь уже столько десятилетий. Когда я прятался в церкви, то иногда священник ставил пластинки и мы их слушали. Странно было слышать в православном храме: «Бог всеильный! Бог любви! За сестру Тебя молю...» Еще у него была сцена из «Аиды», весь финал второго акта «Кармен», начиная с арии Хозе, и, что совсем уже удивительно, на двух больших пластинках «Послеполуденный отдых фавна» — этот остров ослепительного счастья в слепящей тьме. Но драгоценней, бесценней всего была одна песня, которую с тех пор я никогда больше не слышал по-русски. Не объяснить, что значила для меня эта песня о липе. Все это время я спа-



саяся Шубертом, не потому что с Шубертом не страшно умирать — хотя это тоже. Но с ним не страшно жить. Даже когда жизнь чернее смерти. Львовское гетто. Мой зимний путь. Киев-убийца. Последние дни я плохо помню: подвал, заложенные кирпичом окна. Все содрогалось, вот-вот рухнет. Взрывы прямо над головой. И так пять дней, пять ночей. Вдруг — тишина. Надолго. Я выполз и понимаю: немцев больше нет. Какой-то военный... поначалу я даже не сообразил, что это за армия: погоны золотые, как при царе. Я уже много дней ничего не ел. Хочу встать, не могу. Хочу его позвать. Тут он мне говорит: «Ты еврей?» — на украинском идише — «ди бист аид?».

...Но всего страшней было, когда ворвались в церковь. Священник что-то закричал, потом началась стрельба. Я со всех ног кинулся на улицу, они догоняют, стреляют, не целясь, знают: не уйду. Я вбежал в какой-то дом и наверх по лестнице. Один погнался за мной. Все, конец — фонарик навел, в руке пистолет. Я ищу, куда спрятаться. Под ногой неожиданно что-то круглое, гладкое. Покатилось. И крыла огня встали между нами. Каким чудом это могло случиться? Откуда там взялась «водка Молотова»?

Моя жизнь «после» — это затянувшееся послесловие, которое пишешь — и пишешь — и пишешь (кажется, оно подходит к концу). Географически? Земля везде тверда. Знаете, это великая ошибка: думать, что Бог хранит безоружных.

*Март 2000 — 7 февраля 2002*

## ПРИМЕЧАНИЯ

Ситуация, которую, наверное, хоть раз в жизни испытал каждый: заслышав незнакомое слово, ты стесняешься спросить, что оно означает. Твой собеседник тактично этого «не замечает». Твое недомыслие для него предпочтительней возможной неловкости.

Однако с читателем разговор ведется заочно, без риска для его реноме. И если под обложкой не скрывается «голый король», если автор не стремится замести следы, то он кровно заинтересован в максимуме читательского понимания. На свою беду автор связан правилами игры и не может взять на себя роль комментатора, обнажающего некий подспудный смысловой пласт. Право на такой комментарий произведение должно заслужить — пережив автора. Тогда комментарий к тексту выглядел бы так:

*С. 327. Странно было слышать в стенах православного храма: «Бог всеильный! Бог любви! За сестру Тебя молю...» Еще у него была сцена из «Аиды», весь финал второго акта «Кармен»... и... «Послеполуденный отдых фавна»... Но драгоценней, бесценней всего была одна песня... Не объяснить, что значила для меня эта песня о липе... с Шубертом не страшно умирать... — Родной город Булгакова заслушивался «Фаустом» Гуно — оперой, задающей камертон всему булгаковскому творчеству. Отец Лаврентий слушает те же пластинки, что и обитатели давосского санатория «Берггоф»: Верди, Гуно, Дебюсси, но главное — шубертовскую «Липу». По поводу последней читаем у Т. Манна — заметим, у Манна, не у штатткомиссара Ансельми: «Разве не стоило умереть за нее, за эту волшебную песню!» Так вот почему в «Волшебной горе» атака на русские позиции сопровож-*

дается пением этой песни — самой пронзительной из всех, созданных Шубертом. В связи с чем нелишне вспомнить мандельштамовское «Нам с Шубертом-голубую не страшно умереть».

В качестве авторского комментария представить себе это трудно. Загадка — та же матрешка: брюхата чередой загадок. Но разрешится она не раньше, повторяем, чем текст «осиротеет». Малоприятная перспектива для автора: толковать себя, будучи вызванным в ходе спиритического сеанса. В противном случае ему обеспечена роль Козьмы Пруtkова: сам пишу, сам рецензирую, сам комментирую.

Слукавим: дескать, комментируем только тогда, когда читатель действительно понимает — что *не понимает*. Скажете, порог понимания у каждого свой? То-то и оно! Это-то и предоставит нам свободу самим решать, о чем говорить, о чем — нет.

Теперь из серии «считаю своим приятным долгом...» — слова благодарности. Всякий раз, когда на страницах книги звучала украинская речь, у нас появлялись соавторы в лице Людмилы Леонтиенко и Якова Ланды. Большое им русское спасибо — от нас и от читателей. Нужен ли последним обратный перевод? Мы начали с того, что стесняешься спрашивать о значении незнакомых слов — значит, не нужен.

Так случилось, что три дня, проведенные в Киеве, были для нас подобны трем ночам Хомы Брута. Но именно тогда жизнь побаловала нас знакомством с замечательным русским украинцем, выдающимся знатоком булгаковского Киева Мироном Петровским.

Целым рядом сведений обязаны мы Габриэлю Суперфину. Его познания намного превосходили наши скромные запросы, любой другой на нашем месте сумел бы воспользоваться ими полней, научней. А вообще я хочу сказать: Гарик, дружба с Вами — предмет моей особой гордости. Если б каждый из нас, как Вы, столь же бесстрашно вступал в единоборство с чудовищами, у этой книги был бы совсем другой сюжет.

С. 7. *Учитель Мори* — «Мори» на иврите означает «мой учитель». Так в 70-е годы назывался тайно распространяемый в СССР самоучитель языка иврит.

*Точно так же погибла мать знаменитого русского актера В.Давыдова... Это было в Аккермане, близ Одессы... Та же судьба постигнет и жену одного фармацевта в соседнем с Аккерманом Овидиополе...* — В романе В.Жаботинского «Пятеро» от лица Маруси Мильгром рассказывается, как она, в замужестве провизорша Козодой, заживо сгорает на балконе своего дома. Давыдов в «Рассказе о прошлом» описывает гибель матери. Этот случай наделал в Одессе много шума. Возможно, Жаботинский вспомнил о нем, когда писал роман «Пятеро» — уже в 30-е годы, в Америке. Одесский роман «Пятеро» звучит у нас контрапунктом киевскому роману «Белая гвардия».

*Ковентри... превратилась в горстку пепла, вальсируя с курсантом Джоном Рэхером...* — Здесь от немецкого «Rache», по-немецки «Racher» значит «мститель».

С. 8. *«Шато де флер», кондитерская, та, что на углу Левашовской и Шуваловского переулка.* — Что называется, язык до Киева доведет — причем кого угодно, даже пригородную электричку, направляющуюся с Финляндского вокзала в сторону Рощина. «Шувалово, следующая Левашово». Вот там, между Шуваловом и Левашовом, и ищите «Шато де Флер». А ведь найдут. Чем черт не шутит. Когда первые главы этого романа уже были написаны, мы очутились в Киеве. Поселившись на углу Прорезной и Крещатика, к великому своему изумлению, мы обнаружили в том же доме кафе под таким названием. За то время, что эта книга писалась, с нами вообще случалось много неожиданного.

*...Летят на город со звонницы Успенского собора «Коль славен»...* — «Коль славен наш Господь в Сионе, не в силах изъяснить язык», вызванивали куранты Кремля. Этот некоронованный гимн России, замечательный образчик российского классицизма, творение Бортнянского и Хераскова, впоследствии лег в основу песни Д.Шостаковича «Родина слышит».

*...Для Пани Лиходеевой Киев начинался со звонка будильника... команда «подъем!» не подкреплялась угрозой расстре-*

ла. — С учетом всенародного знания прозы Михаила Булгакова, никакие отсылки в его адрес не принимаются и приниматься не будут — за двумя исключениями.

С. 12. *«Так диво ль, что в память союза святого со Знаменем русским и русское Слово...»* — В кровавую бурю, сквозь бранное пламя, // Предтеча спасенья — русское знамя // К бессмертной победе тебя повело. // Так диво ль, что в память союза святого // За знаменем русским и русское Слово // К тебе, как родное к родному, пришло? Ф.Тютчев. Знамя и слово. Стихотворение обращено к Карлу Августу Фарнгагену фон Энзе, сражавшемуся в русской армии против Наполеона. Позднее — «в память союза святого» — Фарнгаген фон Энзе становится пропагандистом и переводчиком русской литературы. Его жена Рахиль собирает вокруг себя цвет литературного Берлина и Германии, покровительствует молодому Гейне, посвятившему ей одно из своих «Интермеццо» (кстати сказать, Рахиль Фарнгаген фон Энзе пишет совершеннейшую чушь о Паганини: тот, бесспорно, долгое время обладал скрипкой об одной струне, что подтверждает слух о его пребывании в тюрьме). Если Тютчев адресовался к мужу, своему старшему современнику, то другой русский поэт, М.Кузмин, в своих «Нездешних вечерах» обращался к жене — почти на целый век назад: Вас зовут фрейлейн Ревекка, // А может быть, фрау Рахиль. // Про вас говорили от века // Песни, картина ль, стихи ль.

С. 14. *«Несмотря на раннюю осень, вечера над Городом стоят совсем летние... И старинные каштаны станут такими же оголенными и неприятными, как Город».* — Книга Н.Февра «Солнце восходит на западе» (Буэнос-Айрес, 1950 г.) цитируется достаточно вольно — по независящим от нас причинам.

С. 15. *...С заслуженным артистом Украинской ССР Петро Гайдабурой...* — Гайдабура — фамилия на Украине нередкая. В телефонной книге Киева есть целых три Гайдабуры. Однако в нашей книге появление ее — отнюдь не случайность. Один из трех упомянутых в телефонном справочнике Гайдабур, Валерий Михайлович, автор монографии «Театр, захований в архівах». В муках продирались мы сквозь неведомую нам украинську мову, а про-

дравшись и переведа дух, позволили себе в знак благодарности «присвоить» имя Валерия Михайловича одному из наиболее симпатичных нам персонажей.

С. 16. *На сцене... сумасшедший дом! В нем под видом больных... держат политических. Флорестан — в отдельной палате для буйнопомешанных, на нем смиренная рубашка. Дон Пизарро — главврач, Рокко — завхоз...* — Если бы Лозинину удалось осуществить эту постановку «Фиделио», Ганноверский оперный театр был бы вправе обвинить его в плагиате.

С. 19. *Выдающаяся украинская поэтесса Лидвода...* — В газете «Українське слово», выходившей с первых дней «визволення», сотрудничала вернувшаяся из эмиграции поэтесса Олеся Телига — молодая, красивая, судя по фотографиям (впоследствии, как активная «самостийница», расстреляна в Бабьем Яру; тогда же газета была переименована в «Нове українське слово»).

С. 21. «— *Прощай, Светлана, — безутешно шептали губы Ивана Борисовича... — Прощай, грех мой, душа моя...*» — У нас сразу два Ивана Борисовича, из которых один — персонаж романа Февра. Оба они — бесы сладострастия, охотники до зеленого винограда. По случайному совпадению их тезка, герой набоковского шедевра — Иван Борисович Щеголев, — тоже облизывается на строптивую падчерицу. Пройдет целых двадцать лет, прежде чем та из Зины превратится в Ло, а простое слюноотделение при мысли о падчерице (у Щеголева) выльется в острейшее педофильское переживание (у Гумберта Гумберта).

С. 23. *Да, он жестоко обманулся в своих надеждах — встретить одетых в непрístupную броню Марбург и Иену.* — Марбург — «не пустой для сердца звук». Вот Пастернаку впервые открывается вид на Марбург: «Я стоял, заломив голову и задыхаясь... Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые... Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же нежданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвижение. Как и тогда, при Ломоносове, рас-

сыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, замороженную на живом слете к сменной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц». Иенский университет знаменит своими романтиками. Иенская романтическая школа, возникшая на рубеже XVIII—XIX вв., возрождала культ средневекового рыцарства. Для тех, кто, подобно Мережковскому, видел в Гитлере спасителя России от большевизма, немецкая армия была воплощением этого рыцарства, закованными в броню Марбургом и Иеной. Как теперь говорят, «добром с кулаками».

*Еще недавно, замороженный, смотрел Лозинин, как переговариваются в «вохеншау» города:*

*«...Кто ты?» — «Я Майнц, я Гутенберга печать, я слава двух рек, а кто ты?» — «Кенигсберг, гордый прахом великим, хранит его мой собор». — «Привет передай стенам священным от кельнского брата, что над светлым простором царит. А кто ты будешь, брат?» — «Я Мюнстер мятежный, а ты?» — «Аахен, весельем торжественным шумный».*

*И догадал же меня черт...*

— «Вохеншау» (Wochenschau) — «Еженедельное обозрение», нацистский аналог киножурнала «Новости дня». Майнц — родина печатного станка, расположен на левом берегу Рейна против устья Майна. Кенигсберг — могила Канта единственное, что осталось сегодня от семисотлетнего Кенигсберга, где когда-то короновались прусские короли. *Привет... от кельнского брата, что над светлым простором царит.* — «Над Рейна светлым простором» (в переводе В.Левика «Поднявшись над зеркалом Рейна»), начальная строка стихотворения Гейне из цикла «Интермеццо». Положено на музыку Шуманом, входит в его вокальный цикл «Любовь поэта». Ср. у Мандельштама: ...Но в старом Кельне тоже есть собор... // Он потрясен чудовищным набатом, // И в грозный час, когда густеет мгла, // Немецкие поют колокола: // «Что сотворили вы над Реймским братом!» Мюнстер мятежный — Мюнстер, немецкий Чевенгур, там в 1534 году анабаптист Иоанн Лейденский провозгласил себя «царем нового Израиля», упразднил собственность, «обобществил» жен. Это продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока отчаянно

оборонявшийся город не был взят войсками епископа Мюнстерского. Аахен — столица империи Карла Великого. «Весельем торжественным Ахен объят», читаем у Жуковского, «побежденного учителя», чей «победитель ученик» скажет свое знаменитое: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом».

С. 24. ...*Мастера расписывать, что ели да как. Слушаешь — прямо Гарольд в Италии.* — Откуда бы ни взялся Гарольд в Италии, из поэмы Байрона или из симфонии Берлиоза, гастрономического туризма там не было и помину. Допустим, что шутливое выражение «Essen wie Gott in Frankreich» («Есть, как Бог во Франции») наложилось у Лозинина на какие-то смутные воспоминания о детском ассоциативном ряде: «гарольд», «герольд», «ллойд», «лорд» — они и так-то питаются деликатесами, а еще и попав в Италию...

*Из отборных полтавских черешен... Серова не было рядом!* — Серов уместен, неуместна черешня — взамен персиков, не то прышущих, не то в прыщиках. (Впрочем, Набоков вряд ли помнил картину, висящую в Третьяковской галерее.)

С. 25. ...*Была проложена матвеевскими снеточками, дух от которых, как дух Лауры.* — «Как дух Лауры», романс Ф.Листа на слова виконта В.-М. Гюго. Что касается матвеевских снетков, то какой дух исходит от них — неизвестно. Никто их никогда не пробовал. На наш взгляд, скупым перечислением блюд достигается больший «вкусовой» эффект, нежели подробным их описанием, когда в изобилие эпитеты, метафоры. Последними даже рискуешь отбить аппетит, например сравнивая розовую форель с телом девушки, а борщ — с вином (интересно, что сравнивать вино с борщом, кажется, еще никому в голову не приходило). Довольно одного имени, одного названия, все остальное уже дело нашего воображения, наших представлений. «Имена местностей: имя» (Пруст). «Я открываю для себя Киев-город, постоянно накладывая его на Киев-слово» (Февр). И там же: «Произносящий в разговоре «ваша матушка» знает: родимые черты его собеседник дорисует мысленно».



...Застывшего как Даная в ожидании Зевса — на сей раз в образе помидоров, риса, перца, лука и увенчанного лавровым листом... созданного фантазией Арчимбольди. — Джузеппе Арчимбольди (1527—1593), жил в Милане, позднее в Праге. «Протосюрреалист», писал в манере «огуречик, огуречик, вот и вышел человечек» — декоративно выписанные фрукты и овощи компоновал так, что из огурчиков выходили человечки, по преимуществу божества огородного происхождения. У Арчимбольди Зевс проник бы к Данае не под видом золотого дождя, а в кошелке зеленщика. Наиболее известен его «плодово-овощной» портрет Рудольфа II в образе римского бога Вестры.

С. 26. ...*Глупые мордастые подсолнухи.* — «...Щедрой рукой сеялись семена цветка счастья, солнца, свободы... Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок». (В.Набоков, «Дар».) От себя заметим, что подсолнух сохранил как свою идейную, так и свою партийную значимость.

...*Когда в перспективе у него Дарница.* — Дачная местность под Киевом, где в обе войны располагался лагерь для пленных. В Первую мировую — для австрийцев (какое-то время там провел Ярослав Гашек), в сорок первом же — сорок третьем годах немецкое командование в дарницком лагере уморило голодом до семидесяти тысяч красноармейцев.

С. 27. *Штиглиц, Акимов, Рындин, Добужинский.* — Представиться выпускником «Штиглица», а не ВХУТЕИНа, как с 1923 года называлось «Центральное училище технического рисования бар. Штиглица», предпочесть эмигранта-нафталищика Добужинского советским авангардистам Акимову и Рындину означало по тем временам незаурядную творческую амбициозность. *Сладко пахнет белый нафталин.* — Аллюзия к мандельштамовскому «Мы с тобой на кухне посидим, // Сладко пахнет белый керосин».

С. 28. ...*Две пансионерки, того и гляди, запоют: «Уж вечер...»* — Дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы».

С. 29. ...*По примеру французского повара, у которого что-то подгорело.* — Придворный повар принца Конде в

отчаянии наложил на себя руки, когда у него не удалось блюдо, предназначенное для короля Франции.

С. 30. ...*Обошелся в десять марок, а фасону было бы на триста рублей...* — Соотношение рубля и оккупационной марки колебалось в зависимости от положения на фронте.

С. 31. *Аусвайс* — удостоверение личности (Ausweis).

...*По клинышку... в plombированный немецким золотом рот...* — Устойчивый ассоциативный ряд: борода клинышком, plombированный вагон, немецкое золото — Ленин возвращается в Россию.

*Вохенэнде* — конец недели (Wochenende). *Кунстхониг* — эрзац меда (Kunsthonig).

*В господские Липки ходил настоящий трамвай: с передней площадки вход для господ оккупантов...* — «Пахнут смертью господские Липки» (О.Мандельштам). См. также прим. к с. 315.

*Тулуз-Лотрека сюда бы тоже не пустили.* — Калека от рождения, Тулуз-Лотрек был завсегдатаем парижских кабаре, что отражено в его творчестве.

С. 32. ...*Наши «нэпэже»...* — Аббревиатура ППЖ (походно-полевая жена) состоит в фонетической связи с аббревиатурой ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), другими словами: «Наши жены пушки заряжены».

*Пец* — ябеда (Petze). В прошлом почему-то часто встречались собаки с такой кличкой.

*Фервальтунгс-директор* — технический директор (Verwaltungsdirektor).

С. 33. *Белое в голубой горошек платье («аргус»)*... — По легенде, у стоокого великана-стража Аргуса были голубые глаза. Отсюда и одно из его имен: Главокофталм (Синеокий).

— *Успенски-Катедрале... О, дас вар вундербар!* — Успенский собор... О, это было чудесно! (Uspenski-Kathedrale... Oh, das war wunderbar!) К этому времени лавра уже давно была взорвана. Ее постигла участь Крещатика.

— *Дизэр анблик, дизэр флюс...* — Этот вид, эта река... (Dieser Anblick, dieser Fluß...)

...*Повторяла... как заведенная — словно была детищем гениального Спаланцани.* — В рассказе Э.Т.А.Гофмана «Пе-

сочный человек» профессор Спаланцани выдает куклу-автомат за свою дочь Олимпию. Ему это удастся благодаря волшебным очкам, которыми торгует таинственный механик Коппелиус, фигура зловещая. Заводная кукла покоряет сердце восторженного юноши Натанаэля. Сказка эта с грустным концом: Олимпия сломана не поделившись с ней Спаланцани и Коппелиусом. Охваченный безумием Натанаэль гибнет.

...*Мать городов... Мутер эрбэ... эрдэ...* — Гурьян хотел сказать «mater urbium», а получилась какая-то галиматья: «эрбэ»... «эрдэ»... («наследие»... «земля»...).

С. 34. *Сигаретен-шайны* — талоны на сигареты (Zigaretzenscheine).

С. 35. *Großer Preis der Berliner Kunstkammer* — Большая премия Берлинской художественной палаты.

*Typisch* — типично, характерно.

...*Немецким ломберным сукном*. — Немецкие мундиры времен Второй мировой войны отличались зеленоватым оттенком, хотя материал, из которого они изготовлялись, по-прежнему назывался «фельдграу».

С. 36. «*Фрюлингс-штиммен*» — «Весенние голоса» (Frühlingsstimmen), известный вальс Иоганна Штрауса послужил названием торту.

С. 38. *Уже сменивший «хальстух» на галстук...* — «Хальстух» (Halstuch), дословно «шейный платок».

*Оплешник кокарды* — по Ремизову, «оплешник» — от слова «оплетать», а не от слова «плешь». Но ведь, говоря так, он мог и наплести с три короба, на то он и Ремизов, председатель Обезьяньей Великой и Вольной Палаты. Как бы там ни было, в издательстве «Оплешник» выходили его книги.

*Живете, как Христос за пазухой*, — заметил он *Ивану Борисовичу*. — «“...Будете жить, как Христос за пазухой”, — и Шеголев сочно рассмеялся». (В. Набоков, «Дар».)

С. 39. *У Бандеры в Берлине рука, а у Коха в Ровно клыки*. — В Ровно находилась резиденция гауляйтера Эриха Коха. Там же печатались и деньги, имевшие хождение на территории Украины: своим достоинством купюры четко соответствовали социальной иерархии изображенных на них трудящихся: «селянка» — «десять карбованців»,

«гірнік» — «пятьдесят карбованців», «шкіпер» — «сто карбованців», «хімік» — «пятьсот карбованців».

С. 41. — *Генерал-мужик-директор!* — покатывался со смеху Мюнстер, воскрешая каламбур еще времен Направника. — Э. Направник, известный дирижер, в 1869—1916 годах первый капельмейстер Мариинского театра. Родом из Чехии, как и подобало капельмейстерам.

С. 43. *К нему вполне применимо сказанное Томасом Манном об Иоахиме Цимсене: «Изучал русский язык, предполагая, что знание русского ему пригодится на службе».* — Герой романа «Волшебная гора», мечтавший о карьере офицера, Цимсен умирает «штатской» смертью — в туберкулезном санатории в канун Первой мировой войны.

*Гитлер... не мог отречься от немецких территорий на востоке, для чего был вынужден пойти на создание генерал-губернаторства...* — Т. е. пойти на захват Польши, большая часть которой не была включена в состав рейха, а имела статус генерал-губернаторства. Разрубить роковую цепь предопределенностей возможно лишь волевым усилием, наподобие имевшего место девятого ноября тридцать девятого года. В этот день столяр Иоганн Эльзер совершил неудачное покушение на Гитлера, опоздав со взрывом на семь минут. Об этом покушении вспоминают гораздо реже, чем о знаменитом генеральском заговоре 1944 года, когда спасали честь мундира. И по сей день родной городок Эльзера Кенигсборн неофициально именуется «Убийцеградом» (Attetentatsweiler). Девятый день месяца ноября притягивает к себе судьбоносные моменты новейшей немецкой истории. 9 ноября 1918 года — провозглашение республики, 9 ноября 1923 года — мюнхенский «Пивной путч», 9 ноября 1938 год — «Хрустальная ночь», 9 ноября 1989 год — падение Берлинской стены. Все эти события словно приурочены одно к другому.

С. 44. *У работавших в цирке Кроне был такой «виц».* — Анекдот, шутка (Witz). Так, не разобрав сложного имени, полицейский в романе Набокова «Дар» кричит на Годунова-Чердынцева: «Перестаньте делать вицы...» — тот, Годунов-Чердынцев, шел по берлинской улице в одних купальных трусиках, поскольку во время купанья у него украли одежду. (А вот цирк Кроне не берлинский, а мюн-

хенский, и в нем впервые Геббельс вместе с многотысячной ревущей толпой — это было спустя несколько дней после убийства Вальтера Ратенау — приветствовал Адольфа Гитлера, в которого на всю жизнь влюбился.)

*Взамен стражи на Рейне, несущего стражу на Волге...* — «Стража на Рейне» (*Wacht am Rhein*), романтико-патриотическая песня объединения Германии. Написанная в 1854 году хормейстером К.-В. Вильгельмом на слова М.Шнекенбургера, она овладевает сердцами немцев в год победы над Францией (1871). Если читатель помнит «войну гимнов» в фильме «Касабланка» (см. прим. к с. 106), то немецкая сторона там представлена именно «Стражей на Рейне», которая, как и все немецкие песни, замечательна и, как все они, безнадежно скомпрометирована.

С. 46. ...*Сталин всех своих сородичей в Грузии — пэнг! пэнг! пэнг!* — Немецкое междометие «пэнг!» соответствует русскому «пиф-паф!».

С. 47. *От верблюда, которому в Бердичеве стригут яйца.* — Анекдот времен Большого террора. Рабинович едет в Бердичев. Ему говорят: «Что вы делаете? Там же верблюдам отрезают яйца». — «Но я же не верблюд». — «А вы докажите».

С. 50. *«Итальянские генералы Страделла, Галуппи, Гретри и Корелли награждены высокими итальянскими знаками отличия...»* — Вышепоименованные генералы являются генералами от музыки и служили при дворе его величества Барокко.

*Филипп Анрио* — видный французский коллаборационист, был убит, или, как говорили, «казнен», участниками Сопротивления.

*Известный русский оперный артист... Н. К. Печковский... дал ряд концертов в Риге, Таллине, Нарве и других городах Остланда.* — Первый Германн довоенного Ленинграда, после войны Печковский получил срок. Отсидел свое и упоминающийся в романе Сергей Радлов, главный режиссер театра им. Ленсовета, вместе с женой Анной накрытый немецкой волной аж в Пятигорске. Анна Радлова так в лагере и умерла. В этом смысле несказанно повезло «спивавшему перед фашистами» Борису Гмыре: «вернувшийся удельный князек приберег его для своего двора —

которому этот тщеславный пустомеля пытался придать столичный блеск».

С. 52. — *Ну что, дивчата, выпить нема?* — шутили ручные наборщицы *Кóмар* и *Макарéнко*. Помимо профессии, их спаивало еще и то, что у обеих мужья были на флоте. — «— Я ее вон туда шамальну, — сказал Макаров и показал куда-то в мутные юго-восточные сумерки. — Ясное дело, — сказал Комаров, — не в людей же шамальть». (В. Аксенов, «Остров Крым».)

С. 53. ...«*Немецкая радость*» («*кюнстлихе лимонаде мит кюнстлихем зюс*»). — Искусственный лимонад на сахари-не (*künstliche Limonade mit künstlichem Süß*).

...*Делегация от них ежедневно направлялась с судками на «Молдаванку» — как в сороковом окрестили Бессарабку.* — Т.е. когда в соответствии с пактом Риббентропа—Молотова румынская Бессарабия превратилась в советскую Молдавию.

С. 54. ...*За восемьдесят девятым годом рано или поздно наступает год девяносто третий.* — Конечно же, мы имеем в виду события Великой французской революции.

...*Немцев мама вспоминала как «образчик корректности и порядочности».* — Не одна она. Сколько евреев, помня 1918 год, осталось. Не верили.

*Гурьян, тот бы сразу припомнил зеленоватый рефлекс на подбородке: «Кружок «Зеленая Лампа» Ван-Донгена».* — Кто бывал в Эрмитаже, тому хорошо знаком этот портрет работы Кес ван Донгена — а кто же не бывал в Эрмитаже! Следовательно, вообразить себе Валечку труда не составит ни для кого.

С. 55. *Думкорф* — дурак (*Dummkopf*).

С. 56. ...*Управа размещалась на Бибиковском бульваре, стенка в стенку с гестапо.*

*Будешь помнить здание  
Возле горуправы... —*

*писала Оксана Пидвода. Когда предыдущего городского голову вводили в гестапо, то выглядело это, как если б его препровождали из Вестминстера в Тауэр на сцене шекспировского театра (и, надо сказать, бедняга Охримюк исполнил роль герцога Кларенса до конца).* — Боже нас упаси, равнять

Третье отделение с гестапо. (Будешь помнить здание // У цепного моста. Н. Некрасов.) Как уже читатель, верно, заметил, большинство исторических имен в тексте заменено, но не вымышленными, а тоже историческими — только из других историй. Охримюк, конечно, бедняга, но сложил он голову в афганском плену, откуда посылал душераздирающие письма своему старому другу Брежневу. Ведавший геологическими изысканиями, Е. Охримюк был похищен моджахедами среди бела дня в Кабуле.

*Он представил себе, как левой рукой приподымает шляпу, правой касается пальцев Богатырчукчихи, почтительно склоняясь над ними, при этом с жонглерской ловкостью, одним лишь вращательным движением носка, удерживает трость в вертикальном положении — на языке циркачей это называлось «замешкать у гардероба».* — «Долинин подошел к гардеробу и, предъявив номерок (переделано: «оба номерка»)... Неловко, неловко замешкать у гардероба... Писание было для Ильи Борисовича неравной борьбой с предметами... готовясь наделить героя тростью, Илья Борисович... не предчувствовал, какой к нему иск предъявит эта дорогая трость... когда Долинин... будет переносить Ирину через весенний ручей». (В. Набоков, «Уста к устам».)

С. 57. *Дон Пизарро был одет «желтым фазаном», со свастикой на рукаве.* — «Желтые фазаны», или «золотые фазаны», — прозвище нацистских партийных функционеров, которым они были обязаны цвету своей униформы.

С. 58. *Анна Радлова, большой русский поэт и большая моя подруга, любила повторять: у нас украли мир... встретились две России, и одна взглянула в глаза другой... упомянул своего друга, прекрасную петербургскую поэтессу Анну Радлову. Я вспоминаю строки другого петербургского поэта, тоже Анны — Анны Ахматовой:*

*Он не знал, на каком пороге  
Он стоит и какой дороги  
Перед ним откроется вид...*

Назвать «Анну всяя Руси» «другой Анной», в связи с Радловой — это еще и перевести ее из цеха «поэтов» в цех «поэтесс». Скоробогатов запутался, где мужской род, где

женский. Политкорректность навыворот — та же политкорректность, язык мстит. «Поэт, дочь поэта» — читаем про Ариадну Эфрон. «Друг Цветаевой Андреева» — это нормально. (Подруга — это Софья Парнок.) Здесь все очень запутано, а правила неписаны. К тому же слова Ахматовой («встретятся две России, глянут друг другу в глаза...») Скоробогатов частично присваивает, частично приписывает Анне Радловой. И при этом цитирует «Поэму без героя», до которой человечество тогда еще не дожило.

*Навряд ли многие из нас до известных событий могли похвастаться тем, что слышали имя Николая Николаевича, не говоря уж о том, что в условиях строжайшей маскировки читали его произведения. Единицы. Меньше единицы. Между тем как Николай Николаевич по праву занимает выдающееся место в литературе русского зарубежья, наряду с Мережковским, Гиппиус, Ильиным, Шмелевым.* — В 70-е годы в эмиграции под одной обложкой выходили повести Ю.Алешковского «Николай Николаевич» и «Маскировка». «Меньше единицы» — так называется эссе Бродского, давшее название сборнику его прозы («Less than one»). Скоробогатов перечисляет имена литераторов, более или менее коллаборировавших с нацистами. Чемпионом был Мережковский, публично сравнивший в 1941 году Гитлера с Жанной д'Арк.

С. 59. *Беруфсфербот* — запрет на профессиональную деятельность, работу по специальности (Berufsverbot).

*Если героев Фабра увеличить до размеров зубра, то получится Февр.* — Ж.А.Фабр (1823—1915), французский энтомолог-любитель, автор книги «Нравы насекомых».

С. 60. *Пятнадцатилетним воспитанником мичманской школы покинул я Одессу...* — Подробнее о мичманской школе в Одессе — у Аркадия Гайдара в «Судьбе барабанщика».

*Хауптзахэ* — «главное», в значении вводного слова (Hauptsache).

*Последний тому пример: проживающий в Эстотии русский поэт написал цикл стихов «Эстотийский дивертисмент» и посвятил его местному поэту Томасу Минцлова. О, кто б слышал рык одинокого Февра! Это не по-русски: следует писать «Томасу Минцлове».* — Критик журнала «Рус-



ское зарубежье», представлявшего эмиграцию второй волны, в свое время за то же выговаривал Бродскому, который в «Литовском ноктюрне» обращается к «Томасу Венцлова». Эстотия — русскоговорящая провинция Канады, возникающая в результате географических трансплантаций, произведенных В.Набоковым в романе «Ада».

С. 63. *Так, по авторитетнейшему свидетельству, сто тысяч горожан не различало между правой и левой рукой.* — «Мне ли не пожалеть Ниневи, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множества скота?» (Иона IV, 11).

С. 64. *Ибо не верю в месть нибелунгов.* — В тетралогии «Кольцо нибелунга» Р.Вагнера карлики-нибелунги олицетворяют мировое еврейство.

С. 65. *Ici et maintenant* — здесь и сейчас. По-немецки: hier und jetzt.

*Скоробогатов подошел, вихля торсом («фригийский король»), к Февру...* — См.: Л.Гиршович. Суббота навсегда. СПб., 2001.

С. 66. *Я только хотел бы внести одно маленькое уточнение... не было нужды продираться к Днепру Крещатитским Яром...* — «Уточнение» представляет собою по большей части нагромождение нелепостей.

С. 67. *Знаете, как они себя называют в шутку? Осси. От слова «ост».* — «Осси» — жители бывшей ГДР, прозвище само по себе достаточно презрительное. Но рабсила с востока — «осты». Если б не явный анахронизм, это означало бы капнуть правдой на кучу целенаправленного вранья.

С. 68. *...Вспоминает ту древнерусскую песню: «Крила ея, крила огня...»* — Т.е. «стрелы ее стрелы огненные...» (Песнь песней, VIII, 6).

С. 69. *Во время войны спрос на мужчин в тылу возрастает.* — Из книги И.Померанцева «Почему стрекозы?».

С. 70. *Уже разработан препарат «Фрейя»* — так звалась богиня молодости у древних германцев.

*Философия общего места* — по аналогии с «Философией общего дела» Н.Федорова.

С. 74. *...Глаза... жестокие, с некошерной кровинкой в белке.* — Правила кошерности категорически запрещают

употребление в пищу крови животных и птиц. Кровинка, обнаруженная в яйце, делает яйцо непригодным в пищу.

*Te Deum* — начало католической молитвы, славящей Бога («*Te Deum laudamus*» — «Тебя, Бога, хвалим»).

С. 76. — *А что, Николай Николаевич, если только я не ослышался, ваша газета будет скоро переименована: из «Нового слова» в «Новое русское слово»?* — «Новое слово», издававшееся в Берлине с 1934 по 1945 год под редакцией В.Деспотули — газета, отвечавшая всем требованиям нацистской идеологии. «Новое русское слово», основанное в Нью-Йорке в 1910 году В.Шимкиным (с 1923 по 1973 год редактировалось М.Вейнбаумом), традиционно считается рупором русско-еврейской эмиграции.

С. 77. — *Почему бы украинцам не перейти на латиницу?* — Попытка заменить употреблявшуюся русинами кириллицу и гражданку (петровскую азбуку) латинским шрифтом родилась в Галиции в 1835 году и умерла — там же и тогда же. Хотя, казалось бы, идея «славянской взаимности», питавшая этот проект, должна была иметь успех. В свете польских событий симпатии всех тогда были на стороне поляков.

С. 82. *«Хаймвэз»* — Тоска по дому (Heimweh).

С. 83. ...*Мы покажем «Семью Тараса»... Тьфу ты, «Бульбу». Так вот ляпнешь...* — «Семья Тараса», опера Д.Кабалевского по повести Б.Горбатова «Непокоренные» (1943).

«*Бехштейн*» — знаменитая немецкая фирма по производству роялей. В результате воздушных бомбардировок фабрики «Бехштейн» были полностью уничтожены — говорят, «штурманом» при этом была американская фирма «Стейнвей».

С. 85. *Второй куплет какой-то песни начинался словами: «Но если сокровище ценишь мое»...* — Ф.Шуберт, «Охотник». Из цикла «Прекрасная мельничиха» на стихи В.Мюллера (русский перевод И.Тюменева).

*Ему повстречался армейский патруль: три каски, три каски, три каски... Хор киевской оперы мог бы дружно грянуть «Броня крепка...»* — Германовское наваждение («три карты, три карты, три карты...») встречает краснознаменный отклик.

...В квартире, сверху донизу завешенной и заставленной свидетельствами гротескных триумфов хозяина... — Триумфы эти были столь впечатляющи, что Михаил Ботвинник позднее выразит готовность своими руками повесить Богатырчука на площади. Зависть...

С. 89. — *Herr Galtschuk, was besuchen Sie gerne? ... Kleine — was? ... «айне кляйне нахтлокаль»*. — Господин Гальчук, что вы с удовольствием посещаете? ...Маленькое — что? ... «маленькое ночное кафе».

С. 93. ...*Нема яйки, нема суп — до свидання, Кременчуг...* — Пример редкостного «эха». Работа над романом шла полным ходом. Автор, отведав полтавской черешни в Киеве, уже несколько месяцев как не расставался с капельницей, заменявшей ему еду и питье. Это был опыт писания романа в полубредовом состоянии. Вдруг, не успела рука с иглою в вене написать на листке слово «Кременчуг», чей-то голос ни с того ни с сего сказал: «Нема яйки, нема суп, до свидання, Кременчуг». Это растерявший последние остатки разума сосед-ветеран выдал врагу месторасположение своей части. Прежде эту «пораженческую» частушку нам приходилось слышать в другом варианте: «Нема яйки, нема вина, до свидання, Украина».

С. 96. ...*Обеими ногами стоял в Аскольдовой могиле, видя в ней малую Валгаллу — отсюда и выбор места для кладбища павшим воинам: близ языческих святынь, над... Днепром*. — Валгалла, дворец мертвых, в нем пируют павшие воины, озаряемые, вместо светильников, блеском собственного оружия.

С.97. ...*Как бы рыцарственно-суров ни был хор пилигримов...* — Хор из оперы Р.Вагнера «Тангейзер».

С. 98.                    *Их тебя чекала,  
Варум ты не прийшов?  
Я не така фразу,  
Щоб ждати драй часов!  
Нах хауз я тикала,  
Бо з неба вассер йшов, —*

*это поет маленькая девочка...* — Образ девочки, в оккупацию поющей на базарах, навеян воспоминаниями Л.Гурченко. Пример народного творчества на украинско-немецком суржике взят из фотоальбома «Киев 1941—1943».

С. 99. *На углу Крещатика и Прорезной петлюровец хотел ударить тесаком нищего.* — Сейчас на этом месте установлен памятник — не то Паниковскому в исполнении Герда, не то Герду в роли Паниковского.

— *Офицер, хир, хир...* — «Фэнам» Булгакова, даже если они по-немецки не знают ни слова, и так все понятно. Прочим никакой немецкий не поможет, скорее наоборот. Поэтому лучше всего снять с полки «Белую гвардию» и перечитать диалог, происходивший между раненым Турбиным и Юлией Рейсс — его «реттерин».

С. 103. *А потом по Крещатику как пролетит канарейка с парюю громкоговорителей на крыше: «Принять вправо, остановиться! Принять вправо, остановиться!»* — и за нею одиннадцать чаек... *Все в прошлом...* — Все это, конечно, привет из будущего, иначе говоря, анахронизм.

С. 104. *«Как пери спящая в гробу...»* — романс, который он исполнял с нею много раз. — Должно быть: «Как пери спящая мила, она в гробу своем лежала» — при условии, что такой романс, на стихи из «Демона», вообще существует.

С. 105. *Стимфалийские птицы выют пулеметные гнезда.* — Птицы с бронзовым оперением. Пожирали людей, гнездились в окрестностях аркадского города Стимфала. Были перебиты Гераклом (третий подвиг).

С. 106. *...Явились в белых смокингах — украденных из «Касабланки»...* — Т.е. из голливудского фильма 1942 года «Касабланка» (ему А.Зегерс, похоже, обязана сюжетом романа «Транзит»). Действие происходит в подконтрольном маршалу Петену французском Марокко. Шикарный танец на вулкане под песенку «As time goes by»: казино, белые смокинги, черный рынок, любовь, Резистанс. В ролях Хемфри Богарт, Ингрид Бергман, джазовый певец Дули Уилсон. В одной из ролей второго плана, как всегда, не подражаем Петер Лорре.

«...Кто говорит «убийца»? Убийцы нет...» — И дальше, шалашинским оперным шепотом: «Жив, жив малютка...»

С. 108. *...Позабыл Олоферн, на свою голову, первейшую заповедь ассирийского воина: «расенишанде».* — «Расовый позор» (Rassenschande). В 1935 году в Нюрнберге в законодательном порядке были сформулированы предписания «расовой гигиены» — о последствиях ее несоблюдения на-

поминают полотна старых мастеров, изображающие Юдифь с головой Олоферна.

Супэ — ужин (souper).

Войку крикнул...: «У вас руки феи!» — опрокинув заодно чужой стакан. (В иных обстоятельствах это могло бы стать пострашней ненароком вырвавшегося «sorry». Однако немцы книжек не читают...) — Отсылка к роману Пруста «Германт», где слова «у вас руки феи» в самый неподходящий момент произносит Блок — «всем евреям еврей»; а также к кинокомедии «Большая прогулка», где сбитый над Францией английский летчик выдает себя случайным «soggy» (в главных ролях Бурвиль и Луи де Фюнес).

С. 109. ...Сделает вам такой выговор, что все решат: ганноверанер. — С XVI века язык саксонского чиновничества, сложившийся под влиянием лютеровского перевода Библии, становится в Ганновере общеупотребительным и полностью вытесняет местный диалект. Ганноверцы — признанные носители орфоэпической нормы, так называемого «хох дейч».

С. 110. Официант — обер-официантский чин... — Обращение к официанту: «Герр обер».

С. 111. «Колеса тоже не стоят»... — Из «Прекрасной мельничихи» Шуберта, песня «В путь».

В каждой душе... живет воспоминание... о романтике порывов (а не парадов под липами)... о холодке спрятанного на груди пистолета, живет Паульскирхе со старинной цветной литографии, над которой развевается флаг не с мертвенно-белой полосой, а золотой, солнечной, радостной — и этот флаг не под силу склевать никакому обуглившемуся орлу. — Черный орел (Reichsadler) — герб Германской империи. Черно-желто-красный триколор, в отличие от черно-бело-красного, олицетворял сопротивление прусской экспансии, под этим флагом в 1848 году во Франкфурте, в Паульскирхе, проходило заседание первого немецкого парламента.

Парады под липами — центральная берлинская улица Унтер ден Линден, что означает «под липами», служила местом проведения военных парадов.

С. 112. ...Требуется лишь в нужное время нажимать нужные клавиши... аттанде, цитата. Впрочем, ее источник

не может быть указан. — Известное высказывание Антона Рубинштейна. — Как сохранит свою анонимность и спетое затем Гайдабурой по-русски «Поднявшись над зеркалом Рейна» (наш ответ «Страже на Рейне»). — При исполнении песен на стихи Гейне имя поэта не упоминалось. В концертах их пели иногда по-французски.

Дающий женщине право смеяться «смехом Кундри». — У Вагнера «полумонахиня-полублудница» Кундри («Парсифаль») раздражается диким хохотом, услышав от волшебника Клингзора, что он себя оскотил в попытке достичь целомудрия.

«*Summa in Novatianum*» — «Против Новациана». Римский богослов III в. Новациан славился своим ригоризмом, называл церковь «собором святых», а прихожан — «обществом чистых». Это привело к так называемому «новацианскому расколу».

С. 121. Бабушка пела в церковном хоре... Геронтофилия не подпадала ни под какую статью... а что как и в самом деле Петр Степанович — оперный Герман, которому бланманже — полын. — Имеется в виду рандеву со старухой графиней в ее опочивальне. Только в этом смысле баритон Гайдабура может быть сочтен «оперным Германом»: партию Германа поет тенор.

С. 123. ...Если читатель по причине допущенного автором анахронизма (убежавшего молока, подгоревшего супа и т.д.) желает с ним развестись, то развести их не просто можно, но даже необходимо, согласно рабби Акиве. — Рабби Акива, один из зачинателей раввинистического иудаизма (конец первого, начало второго века). Ему принадлежит высказывание: если подгоревший суп становится аргументом в пользу развода, то супругов следует развести.

С. 124. Унзере бэфрайер — наши освободители (unsere Befreier).

«*Ecrasez l'infame*» — «раздавить гадину».

С. 133. ...Стрелок Тальберг... — «Стрелок» (Schutze) — рядовой второго класса. С конца 1942 г. их стали называть «гренадерами», в духе «Старого Фрица» — Фридриха II.

С. 135. «Как негасимый фитилек водогрея»... — Далее в несколько измененном виде воспроизводится фрагмент авторского послесловия к «Лолите».

С. 136. — *Schluß damit!* — С этим покончено!

...*Der Mensch ist was er ißt. — Das Biest ist was es ißt... Aber Scheiße bleibt Scheiße. Stimmt's, Heinz?..* — Человек есть то, что он ест... — Зверь есть то, что он ест... А дерьмо остается дерьмом. Верно, Гейнц?

— *Jawohl, Herr Hauptmann.* — Так точно, господин капитан.

С. 137. *Хабен зи дурст, ди геррен?* — Господа желают пить? (*Haben Sie Durst, die Herrn?*)

«*Варштайнер*» — сорт пива. *Эрбсензуппе* — гороховый суп.

С. 139. *Сергей Иванович уже четверть века, как пытается одолеть «Самоучитель немецкого языка для начинающих» Игнаца Перпиллуса.* — И самым ревностным поклонникам «Белой гвардии», пожалуй, не придет на память «тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге, книжонка: “Игнатий Перпилло — Украинская грамматика”».

С. 144. *Вилли Фереро* — знаменитый дирижер-вундеркинд, семилетним выступал в России (1913).

С. 150. «*Их грролле нихт*». — «Я не сержусь» («*Ich grolle nicht*»).

С. 152. ...*Все эти персоны уже сгнули, по пословице: в ту же могилу, что рыли другим — буквально...* — Олена Телига была не единственной из украинских националистов, кто нашел свой конец «у Бабином Яру».

С. 154. — *Слушать «Ой, Галина, ой, дивчина...»?* — «Галька» — опера польского композитора Станислава Монюшко.

С. 161. ...*Со словами: «Надоело... грае, грае, воропае...» Паня встает и быстро уходит...* — Как невозможно представить себе киевского хвата, равнодушного к опере «Фауст», так же нельзя представить себе киевской барышни, не читавшей Тургенева. Открываем вторую главу «Рудина»: «...Написать наверху «Дума»; потом... грае, грае, воропае... Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет...» У Лескова тоже есть — в «Импровизаторах» — «граю и воропаю», но Лескова, надо думать, Паня не читала.

С. 162. ...*Две семьи подрались из-за одной угриной головки, и в результате она досталась кошке.* — Мораль: для

Гадкого Утенка из сказки Андерсена страшнее кошки звяря нет.

*По мосту через Южный Буг прохаживался румын-часовой, каска на нем удлинялась к затылку реактивным снарядам, а вот в ряду плоских медных пуговиц, кажется, одной не хватало — знать, сделалась чьим-то трофеем.* — Сравнением с реактивным снарядами румынская каска обязана не столько своей форме, сколько утверждению одесситов, что «румыны прикрывали ими свои реактивные задницы» — с такой скоростью они уносили ноги. А что касается медной пуговицы, то она осталась в кулаке у Остапа Бендера.

С. 163. *«Wo das Leben so spielt!»* — «Вот где жизнь играет!»

С. 164 ...*Они оказались возле каменной диадемы одесского оперного театра (на открытие которого Овсяннико-Куликовский написал симфонию — «выдающийся образец раннего укр. симфонизма», обернувшийся столь же выдающимся конфузом).* — В кавычках — цитата из Энциклопедического словаря БСЭ. Известная мистификация начала 50-х, когда в архиве Одесской «держоперы» была найдена симфония украинского композитора Николая Димитриевича Овсяннико-Куликовского (1787—1846), предвосхищавшая многие достижения западноевропейской музыки. Честь находки принадлежала композитору и скрипачу Михаилу Гольдштейну, который, будучи позднее арестован по подозрению в краже рукописи, признался, что симфонию сочинил он сам.

С. 167. ...*«Отвертительный монтрейльский напиток, преисполняющий ужасом людей с тонким вкусом»...* — Им мэтр Кокнар за обедом угощал Портоса.

С. 169. *Du lieber Gott!* — Ах ты, Господи!

*Альталена* — литературный псевдоним Жаботинского.

*Райзефибр* — предотъездное волнение.

С. 170. *«Материнство и проституция»* — так называется одна из глав в книге Отто Вейнингера (1880 — 1903) «Пол и характер».

*Вот он с собой и не ужился. Зато посмертно удостоился чести стать любимцем фюрера. Лепта жиди.* — По аналогии с «лептой вдовы». («Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты... Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно го-



ворю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Мк 12, XLI — XLIV.) С точки зрения нацистской идеологии еврей и гомосексуалист Вейнингер избрал единственно правильный путь: он застрелился из ненависти к самому себе.

*Керн застрелил Ратенау от чрезмерного восхищения им: не мог допустить, чтобы Германию спас семит. Так, по крайней мере, утверждала в свое время скоропечатня господ Поляковых и К°...* — В книге Л. Полякова «История антисемитизма» действительно высказывается столь парадоксальное суждение. В 1922 году министр иностранных дел Вальтер Ратенау был убит группой «молодчиков» — молодых национал-радикалов.

С. 171 ...*Всем известно, вплоть до последней старушки из Блюменштедта.* — «Блюменштедт» означает «цветочный городок».

С. 172. *«Что это за такая новая страна — Польша», — говорил господин де Мольер, когда крулем польским сделался Валуа.* — Жизнь господина де Мольера прилась на семнадцатый век, тогда как избранный в польские короли французский принц жил веком раньше. Нет, господин де Мольер ничего подобного не говорил, а сказал это совсем другой господин.

С. 173. *Кому было выгодно потопление «Атении»?* — Потопление 3 сентября 1939 года английского пассажирского судна «Атения» подрывало позиции английских пацифистов. В тот же день Англия и Франция объявляют войну Германии.

*Умирать за Данциг.* — Название нашумевшей статьи Деа Марселя, лозунг противников вступления Франции в войну.

С. 174. *«Инститю дэтюд декестьон жюиф», «Центральномузеум дер аусгелёштен юдишен расэ»* — «Институт по изучению еврейского вопроса» (Institut d'études des questions juives), «Центральный музей стертой с лица земли еврейской расы» (Zentralmuseum der ausgeloschten jüdischen Rasse).

*Never, never, never.* — Никогда, никогда, никогда. «Правь, Британия, владычица морей... британец никогда, никогда, никогда не будет рабом».

С. 175. ...*Оросил себе глаза из умывальника, которым его попутчик из русской мещанской вежливости не воспользовался...* — Гигиена и вежливость — две вещи несовместные. «...Бывший советник царя... не спустил воду... русская мещанская вежливость... подвигла доброго полковника... на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью...» (В.Набоков, «Лолита».)

С. 181. ...*День восемнадцатиповешения (числовая символика здесь имела место, но тайная, надругательски-изуверская, аллюзией к совершеннолетию обязанная разве что путевкой в жизнь: ין).* — По-древнееврейски: хай — «живой», корень слова «жить». Отсюда одесское «поднять хай», отсюда тост «лехаим». Числовые выражения букв ה (хет) и י (юд) в сумме дают 18. У евреев это число — или любое кратное ему — символизирует жизнь.

*И Гауди свой был.* — Архитектор В.Городецкий (1863—1930), который, по словам Булгакова, был «одной природы с великими». Объектом киевского патриотизма Городецкий становится лишь в последние годы, его именем названа главная «правительственная» улица, бывшая Николаевская.

С. 182—183. — *И на Эйфелеву башню поднимались? — Да. Как раз в тот день с нее кто-то бросился, какая-то Marianne...* — Франция изображается в образе женщины по имени Марианна.

С. 184. *Павшая смертью оперной героини в лимонном краю самозванка?* — С фальшивым литературным паспортом на имя Маруси Мильгром отправляется Паня в «край, где цветут лимоны» («Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen?» В.Гете), чтобы «увидеть Неаполь и умереть».

С. 185. «*Унтерменш*» — т.е. «недочеловек». Газета с таким названием издавалась ведомством рейхсфюрера СС Гиммлера и своей целью имела — выражаясь предельно мягко — разжигание национальной розни.

С. 186. *CISZA NAGRANIE* — тихо, запись (польск.).

С. 189. «*Amtlich*» — для служебного пользования.

С. 191. — *Фрейде, фрейде! Радость, радость!* — лаял хор, словно ему бросили кость. И не нужна им никакая «Freiheit», собачья бывает радость. — Под давлением цензуры ода «К свободе» (an die Freiheit) превращается у Шиллера в оду «К радости» (an die Freude). Сразу после Шестидневной войны (1967) в Восточном Иерусалиме под управлением Бернштейна состоялось исполнение Девятой Бетховена, причем вместо «Freude» хор пел «Freiheit».

С. 192. *Раз уж «самого Лозинхена» сняли с рейса, шелкунчика нашего, а пригласили какого-то Нускнакера.* — Одно-го шелкунчика заменили другим. «Нускнакер» с немецко-го переводится как «шелкунчик».

...*Трагедия — это когда гибнет хор, а не герой. Но когда гибнет герой, а хор этого даже не замечает — тут уж черная дыра, спектакль попросту отменяется. Кого прикажете укорять? Автора? Его в зале нет.* — Переключка двух цитат, из нобелевской лекции Бродского («В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор») и из «Парижской поэмы» Набокова («В зале автора нет»).

С. 194. ...*Барышня сама, прекрасноликой дичью, спешит на стол к повару.* — Прекрасноликий — дичь, // и только — дичь, // и сам он — дичь, // и рог его единый... // которые способные достичь // его едят... // ну, и само собой — // его в крови приготавливают лебядиной, // но можно в собственной готовить, // в голубой. М.Генделев. Охота на единорога.

С. 199. *Скоробогатов говорил как по-писаному — кем и когда, не важно.* — Действительно, уже не важно. Кто сегодня помнит «Пражский манифест» генерала Власова?

С. 203. ...*Еще с советских времен, когда одиннадцать сестер были просто целочки.* — В тридцатые годы, когда Советский Союз насчитывал одиннадцать республик, пропаганда представляла их в образе одиннадцати сестер: Одиннадцать любимых, // И все как на подбор, // Одиннадцать республик, // Одиннадцать сестер. Песня из кинофильма «Девушка с Камчатки».

С. 206. *Тайна трех* — название трилогии Д. Мережковского.

С. 207 ...*Уезжала на свои «вайнахты»... в Ревель? В Невель? Забыла. Какой-то город на «эн».* — Weinachten —

Рождество. «Город Эн» — роман Л.Добычина, действие которого происходит в Двинске.

С. 208. *Nicht zu machen* — ничего не поделаешь.

С. 212. «*Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне тесаки и каски...*» — Б.Пастернак, «Ох-ранная грамота».

*Я дам тебе мой берлинский адрес, Антиох-Епифанштрассе...* — Сирийский царь Антиох Епифан, чья точка зрения была близка вождям Третьего рейха, как минимум по одному вопросу, не единственный «антик», внесший свой вклад в топонимику Берлина — но при этом исключительно на страницах русской прозы. Мудрено было бы сыскать на плане имперской столицы и Агамемнонштрассе, куда поселил своего Годунова-Чердынцева Набоков, сам проживавший на Несторштрассе: естественно, по части интеллекта царь Пилоса Нестор превосходил царя Аргоса Агамемнона.

С. 215. «*Секвенц, майн зон*» — здесь в шутку: «продолжай». Из комической оперы Лорцинга «Царь и плотник» — реплика, которую невежественный бургомистр Заандама бросает Петру Михайлову, булгаковскому «сардамскому плотнику».

С. 216. ...*Pulchritudine mundus servabitur* — красота спасет мир (мир спасется красотой).

С. 218. *Хронист пишет: «Стихийно стали открываться храмы, монастыри. Почти ежедневно производились рукоположения в священники и диаконы».* — И. Шумилин, «Воспоминание».

С. 220. «*Унесший Россию*» — «Я унес Россию» — так назвал книгу воспоминаний Роман Гуль, как бы наперекор известным словам Дантона: «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог».

*Термйн* — назначаемое время. Слово, употреблявшееся в онемеченном Петербурге.

*Германия wpłyвает в Рождество раньше, чем Украина.* — Пансион «Академия» вместе со // всей Вселенной плывет к Рождеству... И.Бродский. Лагуна.

*Европа лидирует и здесь — запад во всем опережает, на западе даже стрелки часов впереди.* — Вот это как раз нет. Стрелки часов впереди на востоке.

Со времен Бозио опера была частью рождественского антуража. — Весной 1859 года в Петербурге от воспаления легких умирает итальянская певица Анждолина Бозио. «Но напрасно ты кутала в соболя // Соловьиное горло свое». (Н. Некрасов.) Петербургская поэзия долго помнила эту смерть.

С. 221. *You millions, I embrace you... Un baiser au mond entier!..* — Обнимитесь миллионы... В поцелуе слейся свет...

...Уже десять раз готова была сделать своим супостатам типель-тапель. — Это Даниил Хармс «сделал бабе типель-тапель», отчего та «с воем убежала в подворотню».

С. 223. — ...А как с подписью — печатать? — Не надо, все равно псевдоним!.. «Новое слово», Берлин» — все!! — В более полном виде статью «Музыка в Рождество» читатель найдет в одном из декабрьских номеров «Русской мысли» за 1998 год — за подписью автора этой книги.

С. 227. ...Банкир, заколотый апашем. — А я останусь тут лежать, // Банкир, заколотый апашем, — // Руками рану зажимать, // Кричать и биться в мире вашем. В. Ходасевич. Из дневника.

Кому-то понадобилось пианино, чтобы починить дверцу свинарника... — Одному из персонажей Я. Гашека.

С. 229. ...За этим стояла гордыня. Смертный грех последней в виде мельчайших осколков спокон веков сыпался на нас, а это не осенний мелкий дождичек. — Не осенний мелкий дождичек // Брызжет, брызжет сквозь туман, // Слезы горькие льет молодец // На свой бархатный кафтан. А. Дельвиг.

С. 230. «Танжер — город белый»... — Журналистский дебют Жоржа Дюруа. (Г. де Мопассан, «Милый друг».)

С. 231. Как почтительно говорил Остап Бендер, «великая сухопутная нация». — Не верьте, не мог Остап такого сказать.

С. 233. Несколько почерневших грошиков не в счет — они уж точно с картины Николае Григореску «Без кормильца». — Николае Григореску (1838—1907), румынский художник, учился и долгое время жил во Франции.

Ибо потрепанная тетрадь пошлых романсов трогает нас наподобие кладбища. Что за беда, если на могилах безвкусные памятники с надписями — из хранимого ими праха вспорхнут стаи душ, держа в клюве еще не остывшую меч-

ту, в ней радость или слезы здешней жизни... былых дней и утех. — См.: М. Пруст. Утех и дни.

С. 234. *«Двести низеньких барских ступеней, второй такой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть»...* — Но поехал же! Именно то, что помешало Жаботинскому стать значительным явлением русской литературы, сделало его предводителем «еврейского казачества». Но дарование художника будет подороже таланта политика. Поэтому для нас Жаботинский — в первую очередь писатель.

С. 237. *...Скажите часовому фразу, которую в Одессе знает каждый ребенок — если на радость папе с мамой ходит в школу. «Траяску Романиа Маре!»* — Знает он ее и в том случае, если на радость себе читал Ильфа и Петрова.

*Будете спускаться по ступенькам, остановитесь, оглянитесь. И вы увидите человека в тоге. Это каменный Дюк, протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю Плесси де Ришелье, помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город.* — В. Жаботинский, «Пятеро».

*«О таллата!»* — вскричали десять тысяч воинов. — Здесь они вскричали это у Бродского — не у Ксенофонта: Задумав перейти границу, грек... // ...оборотившись, он увидел море. // Оно лежало далеко внизу. // В отличие от животных, человек // уйти способен от того, что любит // (чтоб только отличиться от животных). // Но, как слюна собачья, выдают // Его животную природу слезы: // «О, Талласса!..» // Но в этом скверном мире // нельзя торчать так долго на виду, // на перевале, в лунном свете, если // не хочешь стать мишенью... И. Бродский. *Post aetatem nostram*.

С. 242. *...«Глория Н...» — остальное отсвечивало, как на бескозырке. Надпись закруглялась вместе с кормой (окончание см. на оборотной стороне Луны).* — Названа так в память о потопленном австровенгерцами пассажирском корабле, носившем то же имя. Это был итальянский оперный корабль, сошедший со стапелей Федерико Феллини («E la nave va»).

*Гефангенер* — пленный (Gefangener).

С. 245. *Массенморд* — массовое убийство (Massenmord).

С. 249. *В далеком городе Риме... есть улица Двадцать восьмого августа — виа Вентотто Аугусто. Поставьте эксперимент, порасспросите прохожих, почему она так называется.* — В этот день в 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Англии, Франции и России.

С. 251. *Чудо самовозгорания. «Благодатный огонь» (да-ром что декабрь на дворе)...* — Чудесное схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня происходит на Пасху.

С. 253. *...Герой, русской ложкой деревянной восемь фрицев накормил — а сам, не евши...* — «Русской ложкой деревянной // Восемь фрицев уложил». (А. Твардовский, «Василий Теркин».)

С. 254. *Freude trinken alle Wesen*

*An den Brüsten den Natur...*

*Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur... —*

Радость все уста земные // Из грудей природы пьют. // К ней и добрые и злые // Легким следом притекут. (Пер. М. Лозинского.)

С. 255. — *Муй млodzi брата ест скипкем. Пан Гайдабура може ми вежичь: лепей ниж Витэк никт тэго соло ту не загра. Он ест наджеион цалой роджины, правдживы Бронислав Хуберман.* — Мой младший брат — скрипач. Пан Гайдабура может мне поверить: лучше Витэка этого соло никто здесь не сыграет. Он — надежда всей семьи, настоящий Бронислав Губерман.

*...Бородат, что твой Сарданапал.* — Последний ассирийский царь Сарданапал был женоподобен — белился, румянился, ни о какой бороде не было и речи.

С. 256. *Sondermeldungen* — специальные сообщения («от немецкого информбюро»).

С. 257—258. *Und wer's gekonnt, der stehle*

*Weinend sich aus diesem Bund. —*

Кто не мог, — с тоской во взорах // Пусть отыдет в тишину. *«Alle Menschen werden Brüder», eins, zwei, drei.* — «Каждый в каждом видит брата», раз, два, три.

С. 263. *«Иш мусс нох айн пар блюмен кауфен».* — «Мне еще надо купить пару-другую цветов». (*Ich mu? noch ein paar Blumen kaufen.*)

С. 268. «Пламя Рима», Пьяцца дель Фьори... — На площади Цветов в Риме был сожжен Дж. Бруно.

С. 269. Он специально ездил смотреть «Пиковую» в постановке Рейхваргера... — Известностью пользовалась мейерхольдовская постановка этой оперы в 1935 году в МАЛЕГОТе. Между прочим, некоторые булгаковеды букву «М» на шапочке Мастера считают инициалом Мейерхольда.

С. 272. «А в жабу слабо оборотиться?» — побережем эти милые хитрости для «Золота Рейна». — В опере Р. Вагнера «Золото Рейна», первой из тетралогии «Кольцо нибелунга», нибелунг Альберих может принимать любые обличья. Логе притворно сомневается в его способности «забиться в щелку, где прячется жабий страх». Едва хвастливый Альберих обращается в жабу, как Логе и Вотан его пленяют.

Последние его слова были темны: — Кто есть истина? Отец или мать? Если она война всех вещей? — Соединение Гераклита Темного («война — отец всего») с евангельским «что есть истина?».

Никто даже не заметил его отсутствия на «Пламени Рима», асафьевском балете по мотивам «Тоски» — мотивам как в музыкальном, так и в сюжетном смысле. — Известный музыковед Б. Асафьев — автор балета с похожим названием: «Пламя Парижа». В «Тоске» жандармский начальник Скарпиа домогается знаменитой певицы Флории Тоски, обещая взамен сохранить жизнь ее возлюбленному. Для вида певица соглашается. Но когда шеф жандармов в предвкушении альковных утех заключает ее в свои объятия, Тоска закалывает его.

С. 273. «Еврей, немецкую я девочку всегда укладываю в коечку» — написано на груди у пойманного с поличным еще в тридцать пятом году... — Имеется в виду хрестоматийная фотография: пара, нарушившая нюрнбергский закон от 1935 года о расовой чистоте. На груди у женщины-арийки написано: «Во всей округе первая свинья, к себе пускаю лишь евреев я». (Ich bin am Ort das größte Schwein und laß mich nur mit Juden ein.)

С. 275. «Ворон» — песня Шуберта из цикла «Зимний путь» на слова В. Мюллера. Как мы помним, в дневнике у



Ансельми говорится про «светлое одиночество в смерти, зимний путь солдата», перед которым «меркнет зарево Валгаллы». «Двойник» — песня на слова Г.Гейне.

С. 276. ...*Театр... тот же храм. Драматургия — та же литургия. Это принцип Байрейта. Особа жреца священна. На него дерзнет подняться лишь рука святоотца...* — В Байрейте психически больным Людвигом II Баварским был возведен театр, по существу, храм — Стравинский называл его крематорием — для «отправления» вагнеровских опер. С тех пор Байрейт является меккой вагнерианства. Ежегодные байрейтские фестивали могут вполне считаться вагнеровскими мистериями.

...*Спасет от репрессалий...* — Т.е. от репрессий (по-немецки «Repressalien»).

«*Драй ин айнц*» — «три в одном».

С. 277. ...*Mit pikanter Soße par excellence.* — Под пикантным соусом по преимуществу.

С. 278. «*Лебенсraum*» — «жизненное пространство» (Lebensraum).

С. 281. *Поник рыжей шевелюрой Кавалеридзе, супруг Джорджии Аравидзе, личность заметная.* — Несмотря на кажущуюся гиперболизацию фамилий, Кавалеридзе — лицо историческое: незаурядный ваятель, испытывавший на себе влияние Родена, опальный кинорежиссер. Мнимая самодостаточность Киева обрекает проживающие в нем таланты на безвестность: Городецкий, Кавалеридзе, сегодня — Скуратовский.

С. 282. *После шумановских грез — опять же со строчной в виду покойника...* — «Грезы» Шумана, пьеса для фортепиано, знакомая каждому: в переложении для духового оркестра, наряду с похоронным маршем Шопена, неизменно играется на панихидах.

С. 284. ...*Взойдет Георгий Яковлевич на капитанский мостик Девятой — некоронованного гимна Европы...* — В 1972 году Совет Европы провозглашает финал Девятой симфонии Бетховена гимном Европы.

С. 286. «*Alle Jahre wieder*» — начало старинной рождественской колядки: «Каждый год снова является Христос-младенец...»

С. 287. «*Хайлигер абенд*» — сочельник (heiliger Abend).

С. 290. *«Лямпенфибр»* — сценическое волнение (Lampenfieber — буквально: лихорадка, вызываемая огнями рампы).

С. 291. *«Ты Вараввы страшнее в сто раз, с Вельзевулом живешь по соседству... — и дальше по возрастающей, — знай, свой шабаш ты справишь без нас!»* Киевская премьера *Четырнадцатой Шостаковича*. — В Четырнадцатой симфонии Д. Шостаковича (1969), включающей в себя мужскую и женскую вокальные партии, использованы тексты Лорки, Аполлинера, Дельвига, Рильке. Пронзительно-гуманистический характер этого произведения превращал всякое публичное его исполнение в оппозиционное действие — хотя под Четырнадцатую симфонию, как и под *«Песнь о земле»* Густава Малера, в атаку ни на кого не пойдешь. Это под Шуберта «сладко умереть», под Малера, под Шостаковича можно быть лишь горько оплаканным.

С. 292. *«So klopft das Schicksal an der Tür», — было сказано предком Гейнца...* — Этими словами Бетховен охарактеризовал главную тему своей Пятой симфонии («Так судьба стучится в дверь»).

С. 296. *Исполнитель — тот же Спарафучиль: что укажут, то и сыграет...* — Наемный убийца в опере Верди *«Риголетто»*.

*Застрелить точно такого же немецкого генерала... в том же самом Киеве четверть века назад — с какой радостью мы бы выбили пистолет из рук убийцы!* — В 1918 году в Киеве был убит генерал Эйхгорн — гарант «старого порядка», вслед за этим немецкую армию сменяют «бандформирования» Петлюры. Начинаются погромы.

С. 298. *Два выстрела — три пули, как в «Волшебном стрелке»*. — Тот самый *«Фрейшиц»*, разыгранный «перстами робких учениц». В этой опере-сказке К.М. Вебера охотник Макс без промаха стреляет заколдованными пулями, но одна, по уговору с сатаной, сама выбирает себе мишень.

*Мигрэнэ — мигрень. Мюзетта: «Ах... нога!»* — Второй акт оперы Пуччини *«Богема»*: Мюзетта симулирует — «выставляет» поклонника на ужин для всей честной компании.

С. 299. *«Жди, пожди да погоди, будешь королем, поди»*. — Г.Ибсен, *«Пер Гюнт»*.

...Решил, что его приглашают на эшафот (была книжка с похожим названием). — «Приглашение на казнь» Набокова печаталось в 1935—1936 годах в «Современных записках», в 1938 году вышло отдельной книгой.

С. 302. *«Herz in Gefahr»* — «Сердце в опасности».

С. 308. ...*То воображать себя скачущим на добром коне, то вдруг петлять дворами... Вот и наш посад.* — «Добрый конь в поле пал, я с трудом добежал. Вот и наш посад». Ария Вани из «Жизнь за царя» Глинки. Кирпач — тот же самый Ваня.

С. 308—309. ...*«славным Дрезденом, чьи белые башни поднимались смело и гордо, за золотистыми волнами прекрасной Эльбы, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии».* — Э.Т.А.Гофман, «Золотой горшок». (Пер. В. Соловьева.)

С. 309. ...*Пасмурная война за освобождение малых народностей...* — Б.Пастернак, «Охранная грамота».

С. 310. *Шарлотта Корде тоже стреляла (не исправляем).* — Шарлотта Корде заколола Марата, одновременно принимавшего ванну и гостей.

*Золотисто-зеленая змейка оказалась змеей подколенной.* — Серпентина, змейка, оплетающая своими чарами студента Ансельма. (Э.Т.А.Гофман, «Золотой горшок»).

*Le Ciel a-t-il formé cet amas Merveilles*

*Pour la demeure d'un Serpent? —*

«Неужто небеса, божественное чудо, — всего лишь логово змеи?» Строка из Корнеля, которую П.Валери взял эпиграфом к своей поэме «Молодая парка». (Пер. М. Яснова.)

*Марион Штейнер, он был на ее спектакле в театре «Монмартр».* — Героиня фильма Трюффо «Последнее метро» (ее играет Катрин Денев), знаменитая актриса, которая прячет своего мужа, еврея-режиссера, под сценой театра в продолжение всей оккупации.

С. 311. *Так убей же хоть одного!* — Так убей же хоть одного! // Так убей же его скорей! // Сколько раз увидишь его, // Столько раз и убей! К.Симонов. «Убей его!». В позднейших публикациях: «Если дорог тебе твой дом...».

...*«Прощай радость и жизнь моя»...* — Прощай, радость и жизнь моя, // Слышу, едешь от меня, // Знать, один должен остаться, // Тебя мне больше не видать. (Народная песня).

С. 312. *Его охватил страх и лихорадочную дрожью про-  
шел по всем его членам.* — Отсюда и кончая словами «он  
потерял сознание» — цитата из «Золотого горшка»  
Э.Т.А.Гофмана (вигилия вторая).

С. 315. *Полицаи, те бы сразу все поняли. По иронии судь-  
бы в их мозгах зазвучало бы под гитару да под водочку:*

*Как по улицам Киева-Вия  
Ищет мужа не знаю чья жинка... —*

Про огитаривание, бардование и опопсовывание Мандель-  
штама нам ничего не известно. Даже странно. Потому что с  
Цветаевой это имело место в советском кинематографе, в  
комедии с неудобопроизносимым названием. Мы позво-  
лим себе полностью процитировать стихотворение Ман-  
дельштама, написанное им в воронежской ссылке в 1937 го-  
ду. Как по улицам Киева-Вия // Ищет мужа не знаю чья  
жинка, // И на щеки ее восковые // Ни одна не скатилась  
слезинка. // Не гадают цыганочки кралям, // Не играют в  
купеческом скрипки, // На Крещатике лошади пали, //  
Пахнут смертью господские Липки. // Уходили с послед-  
ним трамваем // Прямо за город красноармейцы, // И ши-  
нель прокричала сырая: // — Мы вернемся еще, разумеете!..

С. 316. *«Это научит их стрелять в немецких генералов».*  
*Можно отныне не оправдываться...* — В 1812 году, по край-  
ней мере, французский солдат еще пытается чем-нибудь  
оправдаться, «утешиться»: *Ca leur apprendra a incendier.*  
(Это научит их поджигать.) «Пьер оглянулся на говорив-  
шего, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что бы-  
ло сделано, но не мог».

С. 317. *Город Клаасашерн.* — Напомним, что главный  
герой томас-манновского «Доктора Фаустуса» Адриан Ле-  
веркюн родился в городе с «говорящим» названием «Кай-  
зерсашерн», т.е. «Пепел кайзера».

С. 318. *Дистрикт, гау* — округ, край. Обозначения,  
принятые при нацизме и возрождавшие старинную tradi-  
цию административного деления государства.

С. 319. *Böse* — зло.

С. 323. *...«как в зале раздался странный звук, словно обо-  
рвалась киноленка на кадре, запечатлевшем взрыв тяжелой  
бомбы... Из оркестровой ямы, увенчанной суфлерской будкой,*

*торчал конус в человеческий рост». — Роман В.Сорокина «Голубое сало» цитируется достаточно вольно по независящим от нас причинам.*

С. 326. *Оккупацию Киева никто не любит вспоминать: и страх, и стыд, и позор.* — Всем памятен «Бабий Яр» А.Кузнецова — книга, чье главное достоинство состоит прежде всего в факте ее написания. А так... Репортажи Н.Февра в «Новом слове», естественно, не в счет. «Повесть кривых лет» Т.Сесенко, печатавшаяся в «Новом русском слове», словно вышла из-под пера слепоглухонемой, к тому же еще и умственно отсталой. По прочтении «книги жизни» гроссмейстера Богатырчука понимаешь, что либо ты умный, либо ты шахматист. Неизданное «Воспоминание» И.Шумилина посвящено исключительно Киево-Печерской лавре в период между двумя войнами.

С. 326. *Об отце Лаврентии Словнике памяти и на скверик не хватило, только на деревце. Да и растет оно далеко, в тридевятом царстве, тридесятом государстве.* — Имеется в виду «Аллея Праведников Мира» в мемориале «Яд Вашем», в Иерусалиме, где в честь киевского священника Алексея Глаголева посажено дерево. Отец Алексей, волею Небес, пережил оккупацию.

С. 322. *Земля везде тверда.* — ...Рождают тот полет, которого душа // как в девках заждалась, готовая озлиться! // А что насчет того, где выйдет приземлиться, // Земля везде тверда; рекомендую США. (Бродский. Классический балет есть замок красоты...)

С. 328. *Знаете, это великая ошибка: думать, что Бог хранит безоружных.* — «Бог да хранит безоружных» — в романе «Прайс» эти слова написал ссыльнопоселенец под выставленной на всеобщее обозрение репродукцией с картины передвижника Ярошенко «Всюду жизнь». Первоначально настоящую книгу предполагалось закончить иначе: «Земля везде тверда. Лично я предпочитаю... скажем так: всем ресторанам я предпочитаю «McDonald's», потому что в нем немыслим пивной путч».



**Гиршович Л.**  
Г51 «Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя /  
Леонид Гиршович; Роман. — М.: Текст, 2005.— 365 с.  
ISBN 5-7516-0446-6

Место действия романа Леонида Гиршовича — оккупированный немцами Киев. Волею новых хозяев здесь создается реальность, в которой идут оперные спектакли, выходят газеты, работают рестораны. Оперный театр, как водится в любые времена, полон интриг. Главный режиссер Лозинин пытается склонить к тройному сожителству мать и дочь Лиходеевых. Повод для шантажа найден — в дочери течет еврейская кровь. Этот повод тем более удачен, что неподалеку, в Бабьем Яре, творятся массовые убийства евреев, о чем никто не говорит, но все, конечно же, знают. И от этого знания не отгородиться прекрасной музыкой.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

серия  
ОТКРЫТАЯ КНИГА

Леонид Гиршович  
«ВИЙ», ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ШУБЕРТА  
НА СЛОВА ГОГОЛЯ  
Роман

Редактор В.В.Петров

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000

Подписано в печать 14.01.05. Формат 84 x 108/32.

Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 20,47.

Тираж 1500 экз. Изд. № 553.

Заказ № 5662.

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (095) 150-04-82

E-mail: [textpubl@mtu-net.ru](mailto:textpubl@mtu-net.ru)

<http://www.mtu-net.ru/textpubl>

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200 г.Можайск, ул. Мира, 93





**КНИГИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА  
«ТЕКСТ»**

**Оптовая и розничная торговля:**  
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1  
Тел./факс: (095) 156-42-02

**Торговый представитель в СПб.**  
ООО «Алан». Тел.: (812) 312-52-63

**В Москве книги «Текста»  
можно купить в магазинах:**

Дом книги «Молодая гвардия»  
Большая Полянка, 28

Московский дом книги  
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»  
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»  
Тверская, 8

«Пушкинист»  
Страстной бульвар, 4, подъезд 10

ООО «Фаланстер»  
Большой Козихинский пер., 10

Книжный магазин «Русское зарубежье»  
Нижняя Радищевская ул., 4

**Продажа книг через интернет:**  
[www.azarov.ru](http://www.azarov.ru)

Второй год немецкой оккупации Киева. В театрах идут спектакли, в кафе подают баварское пиво, на улицах дамы выгуливают собак. Одинаково лояльные к оккупантам украино- и русскоязычные газеты ведут вечный спор, чья мова важнее. Прибывший вслед за немцами знаменитый писатель-эмигрант, автор романа «Солнце восходит на западе», толкует о русском патриотизме. В оперном театре ставится «Лоэнгрин», идет подготовка к одесским гастролям, намечается поездка в Германию и, как водится, плетутся интриги. Главный режиссер Лозинин пытается склонить пианистку Лиходееву к тройному сожителю: третьей должна стать ее семнадцатилетняя дочь Паня. Словом, кипит правдоподобие жизни, а по соседству, в Бабьем Яре, в массовом порядке убивают евреев, но до этого как будто бы никому нет дела.

Леонид Гиршович (1948) — писатель и музыкант. Родился в Ленинграде, с 1980 г. живет в Ганновере. «"Вий", вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» — вторая, после романа «Обмененные головы», его книга, выходящая в издательстве «Текст». В России также опубликованы его романы «Бременские музыканты», «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999 г.), «Суббота навсегда».

ISBN 5-7516-0446-6



9 785751 604462